

Ольга Великанова

КОНСТИТУЦИЯ 1936 ГОДА

библиотека
журнала

АНТРОПОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ИСТОРИЯ

неприкосновенный
запас

и массовая
политическая
культура
сталинизма



Ольга Великанова
**Конституция 1936 года и массовая
политическая культура сталинизма**

Майе и Нилу

First published in English under the title Mass Political Culture Under Stalinism; Popular Discussion of the Soviet Constitution of 1936 by Olga Velikanova, edition 1

Copyright © Olga Velikanova, 2018

This edition has been translated and published under license from Springer Nature Switzerland AG.

Springer Nature Switzerland AG takes no responsibility and shall not be made liable for the accuracy of the translation

От автора

Во время многолетней работы над книгой я получала очень важную поддержку от моих друзей и коллег. Я благодарна архивистам Н. И. Абдулаевой в ГАРФе, И. Н. Селезневой и Г. В. Горской в РГАСПИ, Г. И. Лисовской в ЦГАИПД в Санкт-Петербурге, которые помогали мне в поиске материалов в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Университет Северного Техаса, его исторический факультет и мои коллеги постоянно поддерживали мои исследования, предоставив несколько исследовательских грантов и отпуск для работы в архивах. Я сердечно благодарю коллег за то, что они сделали исторический факультет таким прекрасным местом для работы.

Я благодарна Институту Европейского Университета во Флоренции (Италия), который предоставил мне самые благоприятные условия для написания рукописи. Дискуссии со студентами и коллегами, особенно с Александром Эткингом и Стивеном Смитом, помогли мне выработать аналитический подход к собранным материалам. Я никогда не работала так продуктивно, как в своем кабинете – в бывшей келье средневекового монастыря с видом на холмы Тосканы, которые вдохновляли меня при осмыслении материала и написании первых глав.

Мои размышления о политической культуре советского общества получили дополнительный импульс в беседах и интервью с историками Арсением Рогинским (общество «Мемориал», Москва) и Анатолием Разумовым (центр «Возвращенные имена», Санкт-Петербург). Для меня была большой честью возможность обсуждать самые разные вопросы политики и культуры с Сергеем Адамовичем Ковалевым – первым омбудсменом Российской Федерации и одним из авторов статьи о правах и свободах человека и гражданина в Конституции Российской Федерации. Я представляла некоторые темы этой книги на различных международных конференциях, таких как Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (США); Британская ассоциация славянских и восточноевропейских исследований (Кембридж, Великобритания); 24-я Международная конференция европейстов (Глазго); международные

конференции Алексантери института (Хельсинки) и в нескольких университетах. Беседы и дискуссии с моими коллегами Кириллом Александровым, Клейтоном Блэком, Арчем Гетти, Ларсом Ли, Александром Лившиным, Самантой Лом, Игорем Орловым, Ричардом Саквой, Льюисом Сигельбаумом, Бенно Эннкер, Екатериной Шульман о различных аспектах исследования были крайне полезны и вдохновляющи. Я благодарна анонимным рецензентам, прочитавшим рукопись, за их ценные предложения и критические замечания.

Я хочу выразить также теплую благодарность тем, кто оказал мне дружескую или профессиональную помощь в различные моменты моей работы над книгой, особенно Людмиле Диллон и моему мужу, историку Михаилу Яковлеву, с которым я обсуждала все детали и аргументы исследования и который был первым читателем рукописи. Редакторы издательства были полны терпения и готовы помочь в любой момент.

Эта книга была бы невозможна без поддержки и интеллектуального импульса со стороны этих замечательных людей и институтов.

Автор и издатели благодарят Центральный государственный архив кино-фото-фонодокументов Санкт-Петербурга и Библиотеку Конгресса США за разрешение на воспроизведение архивных фотографий.

Глава 1

Введение

Когда в 1991 году Советский Союз неожиданно распался, весь мир внимательно наблюдал за происходящим, пытаясь угадать, что будет дальше. И внутри страны, и за пределами бывшего СССР многие надеялись, что после десятилетий истощавшего страну социализма вновь созданные государства устремятся к подлинной демократии и свободному рынку. Опросы, проведенные на территории России на заре постсоветской эпохи, давали социологам основания для оптимистичных прогнозов^[1]. В последовавший затем бурный переходный период неоднозначное отношение бывших советских «подданных, вдруг превратившихся в граждан», к политике и выборам вызвало недоумение у наблюдателей и спровоцировало дискуссию о политических и культурных традициях нации и мере освоения ею демократической политической культуры. В 2000-е годы российские граждане выражали горячее одобрение действий своего президента, Владимира Путина, который, хотя и ассоциировался с экономическим ростом страны, проводил все более авторитарную политику, подавляя свободные СМИ и подчиняя себе судебную систему. К разочарованию российских либералов, высокий рейтинг этого бывшего офицера КГБ и его неоднократное переизбрание на пост главы государства указывали на политическую культуру, далекую от идеалов либеральной демократии. Согласно опросам, проведенным исследовательским проектом *New Russia Barometer* («Барометр новой России»), поддержка правящего режима выросла с 36–39 процентов в 1990-е годы до 84 процентов в 2000-е годы, отражая экономический рост, стремление к стабильности и, возможно, согласие с авторитарными тенденциями в политике^[2].

Постепенно стало ясно, что эти противоречивые трансформации – не уникальное российское явление: аналогичные процессы наблюдались и в других странах. Перемены, происходившие в последние десятилетия XX века, открыли дорогу для демократизации, но развитие многих стран, где были заявлены демократические реформы, на практике явно не вписывалось в западную либеральную

модель. И так произошло не только с большинством новых независимых государств постсоветского пространства: Российской Федерацией, Украиной, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Азербайджаном, Узбекистаном и Грузией. Многие другие развивающиеся страны – Венесуэла, Пакистан и большинство государств Африки – превратились в мнимые демократии, где выборы (краеугольный камень демократии) имеют место, но конституционные свободы, которые превозносятся в теории, в реальности попираются. Фарид Закария назвал этот феномен «нелиберальной демократией»; другие определяли его как «номинальный» конституционализм, «управляемую» демократию или состязательный авторитаризм. Да, выборы происходят, но население слишком часто голосует за антилиберальный курс и авторитарных политиков, формирующих режим со слабой законодательной и судебной властью, который постепенно мутирует в диктатуру. Этот тревожный процесс вновь вызвал интерес к вопросу, что определяет поведение граждан и их поддержку авторитарных или нелиберальных режимов.

В различных обстоятельствах человеческое поведение и направление социальных преобразований определяются множеством взаимосвязанных факторов: экономических (как на индивидуальном, так и системном уровне), политических, культурных и демографических («молодежный навес»)^[3]. Люсьен Пай, сторонник теории модернизации, отмечал ее раскрепощающее влияние (результат урбанизации, роста образования и мобильности, развития технологий) как дополнительный фактор, определяющий траекторию перемен на фоне авторитарного режима^[4]. Другие исследователи указывали на то, что скорость, с какой в России произошла модернизация, и катастрофические события XX столетия могли создать неблагоприятные условия для выбора в пользу демократии. Все русские революции – 1905, 1917 и 1991 годов – совершались во имя модернизации и демократии, но складывающиеся в результате режимы упорно тяготели к авторитаризму. Поэтому ученым и образованной публике остается лишь размышлять, существуют ли в России культурные условия для успешной демократизации или ей внутренне присуща склонность к авторитарному режиму. Можно ли сказать, что российская политическая культура по сути своей невосприимчива к демократическим институтам? Или же советский проект

модернизации, даже в его авторитарной форме, не мог не создать условий для демократизации и плюрализма, которые воздействуют и на настроения общества? Приводимый в этой книге исторический анализ мнений советских людей в 1930-е годы, которые характеризуют массовую политическую культуру того времени, призван помочь найти ответы на эти вопросы.

Понятие политической культуры служит здесь инструментом для объяснения политического поведения масс. «Международная энциклопедия социальных наук» определяет политическую культуру как «совокупность мнений, убеждений и настроений, которые придают смысл *политическому* процессу, и формируют предпосылки и правила, обуславливающие поведение в политической системе». О политической культуре партийной элиты, в особенности Сталина, написано немало, прежде всего потому, что подобные исследования имеют практическое применение в международных отношениях и дипломатии, а используемые источники легко доступны (например, публичные заявления)^[5]. Обычно считается, что культура партийной элиты уходила корнями в опыт ее подпольной деятельности и гражданской войны с такими присущими ей чертами, как черно-белая картина мира, догматизм и стремление принимать желаемое за действительное, воинственность и отказ от компромиссов, – это была культура, подточенная страхом и подозрительностью, когда постоянно мерещились внутренние и внешние заговоры и враги^[6]. Теперь же благодаря доступности корпуса новых источников стало возможным изучение *массовой* политической культуры сталинизма – не столько на уровне обобщений, а как конкретной системы взглядов, относящихся к конкретному временному периоду и нашедших отражение в документальных свидетельствах.

Интерес к умонастроениям и политическим предпочтениям советских граждан и предполагаемым трудностям перехода к демократии зародился в 1970-е годы и по понятным причинам возрос в 1990-е. Но этот интерес едва ли можно назвать новым. Маргарет Мид, например, изучала мировоззрение советских граждан в 1950-е годы, опираясь на методы антропологии, и пришла к выводу, что оно соответствует авторитарному строю. С момента выхода ее работы историки разделились на два основных лагеря. Одни полагают, что российская политическая культура в значительной мере тяготеет к

авторитаризму и плохо подготовлена к развитию по демократической и либеральной модели, потому что исторические обстоятельства не дали возможности народу полюбить свободу, коллективное в России принято ставить выше личного, а к частной собственности относятся неприязненно^[7]. Сосредоточившись в основном на политической культуре элиты и правительства, эти сторонники исторического и культурного детерминизма подчеркивали предрасположенность россиян к авторитарному режиму, хотя иногда подобную позицию можно было назвать политически предвзятой.

Приверженцы другой точки зрения указывают на многогранность русской национальной традиции, потенциальную открытость культурной сферы различным влияниям, развенчивая теорию о предопределенности авторитаризма. Ричард Саква, Николай Петро и Джеймс Миллар^[8] полагают, что модернизация сама по себе естественно порождает новые силы и новые настроения, иногда даже в вымирающих социальных слоях, таких как дворянство или крестьянство. Общества развиваются, хотя и неравномерно и с разной скоростью. Даже в реакционные и застойные периоды существует демократический потенциал, как это было, например, в 1840-е годы – «замечательное десятилетие», когда, несмотря на полицейский режим Николая I, возникла русская интеллигенция. Достигнув своего пика в начале XX столетия, неофициальная гражданская культура продолжала жить даже в СССР, выражаясь в сопротивлении режиму, диссидентском движении, религиозном противостоянии, самиздате (нелегальном издании и распространении запрещенной литературы), субкультуре слухов и анекдотов, полуподпольной благотворительности, авторской песне и туристском движении 1970-х годов.

Исследователи указывают на проблему, нередко возникающую при изучении политической культуры, когда из прошлого и культуры отбираются произвольные факты, чтобы прийти к заранее заданным выводам, а специфика конкретного исторического периода игнорируется. Цель данного исследования советской политической культуры – методически проанализировать корпус архивных источников, которые никогда ранее не рассматривались сквозь призму политической культуры, и поместить высказывания и мнения обычных людей о конституции в политический, экономический, культурный и

социальный контекст 1930-х годов. Массовую политическую культуру 1930-х годов теперь можно рассматривать с опорой на документальные источники на новом уровне исторического, культурного и методологического знания.

Авторы исследований, посвященных русско-советскому обществу в конкретные периоды его истории, например, в начале (Файджес и Колоницкий) и в конце (Роуз, Лукин) советской эры, отмечали слабый потенциал для либеральной демократии в политической культуре. Медушевский и Левин придерживаются такой же точки зрения в отношении сталинской эпохи.

Орландо Файджес и Борис Колоницкий, проанализировав политическую символику и риторику рабочих и крестьян в 1917 году, пришли к выводу, что «для либерального понимания демократии в России не была по-настоящему подготовлена культурная или социальная почва, по крайней мере – не в разгар революции». Если либерально настроенная интеллигенция, говоря о демократии, подразумевала конституцию, парламент и власть закона, рабочие и городские обыватели видели в ней скорее синоним власти простого народа. Во время споров в обществе о демократии в 1917 году, в противовес интеграционному смыслу демократии для либералов, массы скорее видели в ней идею исключения – идею классовой борьбы. Авторы полагают, что дискурс исключения и противостояния в обществе, который они исследовали в революционном 1917 году, глубоко укоренен в русской культуре^[9].

Утверждение, что сталинская политическая культура уходила корнями в традиционалистскую культуру русского крестьянства, принимается многими как данность. Моше Левин указывал не только на религиозно-автократические традиции, наложившие отпечаток на отношения между обществом и государством в новой сталинской автократии, но и на влияние деревенской религиозности на государство, каким бы светским и рационалистическим оно себя ни позиционировало. Откликаясь на происходившие вокруг кардинальные изменения, крестьянское большинство преобразовывало и приспособливало инструкции, пропаганду, моду и образы, пропуская их через своеобразные культурные фильтры. Влияние традиционного крестьянского мира, которое Левин называет консервативной силой, сформировало облик государства: «Социальная матрица могла

породить только одно – авторитаризм». Исторические традиции отношений между государством и обществом в сочетании с однородным, замкнутым на общину, безграмотным или полуграмотным крестьянством, а также «откат 1917–1921 годов», ослабивший социальный фундамент (крестьяне вернулись к более архаичному укладу, а рабочий класс потерял «свои наиболее опытные и прогрессивные слои»), создали в России благоприятные для авторитаризма условия. Волны кризисов принесли с собой утрату ориентиров, обезличивание и потерю идентичности; большевистское окультуривание подорвало уже существующую культуру (сужая культурную элиту) и создало культурный «вакуум», когда крестьяне лишились прежних ценностей, но еще не успели приобрести новые^[10]. Недавние работы о Всероссийском крестьянском союзе, движении первой трети XX века, позволяют поспорить с последним утверждением Левина относительно однородности и косности крестьянства: это движение свидетельствовало о политическом и социальном взрослении крестьянства, очевидном среди наиболее предприимчивых его представителей^[11]. На это распространение буржуазных и гражданских ценностей в крестьянской среде нельзя закрывать глаза. Две возникшие в результате политические культуры – традиционная и большевистская, если следовать теории Левина, – теперь представляются более многогранными. Сложное и нелинейное развитие нового самосознания ярко отразилось в дневниках бывших крестьян, ставших рабочими, в частности, Андрея Аржиловского.

Так как политическая культура – продукт одновременно коллективной истории и истории жизни отдельных людей, личный опыт, описанный в дневниках и частной переписке, обогащает наши представления об этой культуре. Споры в литературе о либеральном и нелиберальном субъекте^[12] в СССР привлекли внимание к личному измерению и роли биографического времени в становлении советской политической культуры. Хотя понятие политической культуры подразумевает изучение масс, социальных групп и коллективной идентичности, культурные тенденции современной исторической науки и ставшие доступными многочисленными источниками личного происхождения побуждают к исследованию индивидуальной субъектности. Формирование субъектности (автономной рефлексизирующей личности) и поиск идентичности осуществлялись, с

одной стороны, индивидуумами, с другой – продвигались государственным проектом «нового советского человека». Дневники показывают, как параллельно динамике изменений в культуре и обществе разворачивалась и актуализировалась личность, показывают процесс осмысления и освоения сталинистских ценностей, который иногда приводил к дрейфу либеральной личности к нелиберальному гражданину, как произошло с Николаем Устряловым. В какой-то конкретный момент – например, в дискуссии о конституции, – эти социальные и индивидуальные траектории пересекались и порождали различные мнения. В таких случаях конституция была критерием, с которым люди сверялись и на основе которого выстраивали свою идентичность. Некоторые исследователи, в частности Шейла Фицпатрик, обнаружили в Советском Союзе 1930-х годов либерального советского субъекта – рациональных акторов, хорошо осознающих свои интересы и конкурировавших друг с другом за возможность устроить свою жизнь. Другие, в том числе Йохен Хелльбек и Анна Крылова, полагают, что либеральный дискурс культурно чужд СССР, а социалистический субъект, как правило, антилиберален, не заинтересован в индивидуальной свободе и не уважает частные интересы. Исследования политической культуры и советской субъектности дополняют и обогащают друг друга.

Вызывающая много споров дихотомия советской жизни и двойственность советского субъекта непосредственно связаны с темой этой книги. Эту двойственность отмечали многие авторы: официальная идеология и народные верования, политические освободительные идеалы и действующие на практике дискриминационные нормы, намерения правительства и их воплощение с неожиданными последствиями на практике, демократические элементы политической культуры и авторитарно-патриархальные элементы. Все авторы предлагают разные трактовки. Ценный вклад в эту дискуссию внесли Майкл Дэвид-Фокс и Андрей Медушевский: мы можем лучше понять несоответствия между конституционными нормами и реальностью диктатуры, если рассмотрим их в контексте исторического развития конституционализма в России XX века. Медушевский указывает на неизменность фиктивного характера конституционализма на протяжении всего столетия: в Основном государственном законе 1906

года, советских конституциях 1918, 1924, 1936, 1977 годов и в конституции 1993 года. Вслед за Максом Вебером он говорит о фальшивой природе реформы 1906 года, воплощенной в Государственной думе; иллюзорность реформы Вебер рассматривает скорее как следствие сложных обстоятельств и незаинтересованности социальных акторов в либерализме, чем как признак того, что русский народ «не созрел для конституционного правления»^[13]. Советский конституционализм с его расхождениями между декларацией и практикой был продолжением предшествовавшей ему фиктивной модели. Медушевский определяет советскую демократию как номинальный конституционализм, введенный с целью замаскировать диктатуру пропагандой, а не для укрепления правовых основ. Он объясняет это устоявшейся моделью отношений между обществом и государством, которой внутренне присуще «отрицание закона как такового... для регулирования этих отношений» и давлением со стороны традиционалистской социальной среды. Сосредоточиваясь прежде всего на политических факторах, Медушевский тем не менее признает важную роль культуры с ее переплетением современных и традиционных элементов. Поэтому он определяет сталинизм как «своеобразную форму тоталитаризма, развивающегося и функционирующего в условиях модернизации и основанного на традиционных элементах российской монархической политической культуры»^[14].

Книга Дэвида-Фокса обогащает дискуссию о дихотомии советской жизни с элементами модерности и неотрадиционализма в СССР, выдвигая тезис о соединении в советском строе как современных, так и других элементов: традиционных, специфически российских, или нелиберальных^[15]. После архивной революции, когда открылся доступ к документам с голосами масс, обнаружилась проблема непрямой или искаженной восприятия официальной доктрины в обществе. Вслед за Фицпатрик, Суни и Виолой Дэвид-Фокс подчеркивает необходимость отличать уровень государственных намерений с тенденцией к гиперпланированию от неожиданных последствий и неконтролируемого хаоса на местах, которые возникают при реализации этих намерений. Для моей книги особенно эвристична сформулированная им и Евгением Добренко^[16] концепция обрядового и театрального характера презентации и потребления идеологии, когда

граждане внешне демонстрируют «хорошее поведение», при этом пренебрегая ее смыслом и содержанием, что перекликается со взглядами историков на характер принятия населением христианства на Руси. Алексей Юрчак полагает, что этот разрыв между репрезентацией и содержанием идеологии сильно увеличился в позднем послесталинском социализме^[17]. Тем не менее, как я покажу далее, в 1930-е годы идеологическое послание конституции, помимо ритуальных внешних реакций у многих аплодировавших на митингах, все-таки было усвоено значительной частью участников дискуссии. Это особенно верно в отношении нового советского поколения, которое в силу молодости еще не прошло через циклы обманутых надежд. Многие из советских патриотов, особенно бенефициары, первоначально искренне поверили в конституцию и серьезно обсуждали ее содержание – демократию.

В социологических исследованиях, западных и российских, оценивается отношение российских граждан к демократии в 1990-е и 2000-е годы, которое может служить ориентиром при изучении политической культуры 1930-х годов. В отличие от использованных мною источников и методов их интерпретации, социология оперирует количественными данными. Один из наиболее репрезентативных опросов был начат в 1992 году Ричардом Роузом и его британскими коллегами и продолжался на протяжении двадцати лет. Проект «Барометр новой России» зафиксировал разочарование, вызванное несбывшимися надеждами на демократизацию, и инерцию авторитаризма в постсоветской России. Пример России характерен с точки зрения третьей волны демократизации, когда введение конкурентных выборов в разных странах выливалось в переход к гибридным режимам, которые в разных контекстах и в разное время определялись как номинальная, мнимая, нелиберальная или тоталитарная демократия. Роуз напоминает, что легитимный режим необязательно демократичен. Если же поддержка режима обеспечивается давлением, политическое равновесие между обществом и государством достигается уступками, покорным принятием или показным одобрением, а в перспективе ведет к возрастающему безразличию к политике, недоверию и оппозиционным настроениям. Разумеется, общество может поддерживать демократическую или недемократическую систему. Как

показывают социологические опросы, несмотря на то, что «подавляющее большинство россиян считают демократию идеалом», они выражают все более явное одобрение недемократическим политическим практикам Путина в той же или в большей мере, что европейцы, поддерживающие демократические режимы в Центральной и Восточной Европе^[18]. Вопрос, как широкая публика и российские «демократы»^[19] представляют себе демократию, – тема продолжающихся исследований.

Таким образом, среди исследователей преобладает взгляд, что массовая политическая культура в России недостаточно восприимчива к либеральным ценностям.

В июне 1936 года проект новой советской конституции был опубликован для общественного обсуждения. Он объявил, что СССР приближается к неантагонистическому социалистическому обществу, и, соответственно, снял ограничения на право голоса и ввел всеобщее избирательное право, тайное голосование, разделение властей, открытый судебный процесс и право обвиняемых на защиту. Конституция провозгласила свободу печати, собраний и неприкосновенность личности, жилища и переписки. В связи с прежней приверженностью большевиков к классовой борьбе этот демократический импульс стал неожиданным поворотом в официальной партийной линии, который вызвал различные комментарии в санкционированной государством общенациональной дискуссии, которые составляют главную источниковую базу этой книги. В ней я анализирую и интерпретирую политические ценности и убеждения, выраженные в ходе кампании обсуждения и за ее пределами.

Историки иногда выражают скептицизм по поводу попыток выяснить, что люди «на самом деле» думают в авторитарных режимах, потому что несвободные люди склонны некритично воспринимать официальную правду и боятся выражать оппозиционные взгляды. В данном исследовании полностью признается эта эпистемологическая

проблема. Его главная находка, еще не истолкованная и не объясненная в историографии, – это массовое неприятие обществом демократических принципов сталинской «священной» конституции, которое люди не боялись громко озвучивать. Другая находка – наличие либерального, примирительного дискурса в общественном сознании, несмотря на атмосферу нетерпимости, характерную для сталинской диктатуры. Скептический и проницательный наблюдатель, британский консул в Ленинграде, заявил в 1934 году: «Возможно, общественное мнение стоит поизучать, даже здесь»^[20].

Эту задачу – изучения настроений и мнений населения в 1936 году – я ставлю перед собой в этой книге, тем более что в историографии конституция 1936 года изучалась в основном с точки зрения правительственной и судебной системы – в работах П. Соломона (1996), К. Петроне (2000), Э. Уимберг (1992), А. Гетти (1991) и в советских трудах. Последние основное внимание уделяли политическому процессу и обстоятельствам создания советской конституции: организации комиссии в феврале 1935 года, ее составу из высшего руководства партии и эволюции пяти проектов конституции^[21]. Западные авторы, обсуждая основные причины написания новой конституции, подчеркивают цель создания позитивного имиджа на международной и внутренней арене, то есть «рекламный трюк», а также стремление к централизации. Я же показываю, что традиционное толкование конституции как пропагандистского проекта, в основном для Запада, больше не охватывает весь спектр мотивов правительства. В первой части этой книги рассматриваются правительственные цели принятия новой конституции и всенародной дискуссии, а также мотивы последующего отказа от конкурентных выборов и игнорирования демократических принципов, заложенных в конституции. Новые документы, включая внутреннюю секретную переписку руководства, позволяют предложить здесь новую версию об авторстве реформы, которое прежде единогласно приписывали Сталину. Более того, эти документы, а также последние исторические публикации позволяют мне пересмотреть роль идеологических мотивов, экономический и политический контекст реформы и раскрывают тайну зигзагообразной политики 1936–1937 годов с ее поворотом от умеренности к массовым репрессиям.

Хотя историография уделяет больше внимания политическим обстоятельствам создания конституции, мое исследование фокусируется на реакции общества. В отличие от структурной и институциональной перспектив, книга предлагает культурный подход в дополнение к исторической картине того периода. Некоторые авторы обращались к теме реакции общества на конституцию и рассматривали вопросы общественной поддержки и взаимосвязи между демократией, воплощенной в конституции, и террором^[22].

Однако первопроходцем в изучении темы был Арч Гетти, который проложил путь для дальнейших исследований. Его статья начала 1991 года, опубликованная до открытия архивов и последующего пересмотра советской истории, опиралась на имеющиеся архивные документы. Гетти первым обсуждал цели дискуссионной кампании не в идеологических, а в социально-научных терминах: выборку общественного мнения, стратегию мобилизации и направления общественного недовольства против местных чиновников. Сосредоточившись в основном на политических перипетиях власти, Гетти на четырех страницах сформулировал основные темы реакции общества на конституцию в Ленинграде и Смоленске, сделав вывод о массовом неприятии большинством либеральных новшеств конституции. Вывод Гетти: конституция с самого начала не была демократическим фарсом. Цель государства заключалась в проведении демократической реформы диктатуры на основе широкого участия населения. Однако после экспериментирования Сталин, напуганный местными чиновниками и враждебностью крестьян, передумал и отменил демократическую реформу и повернул к репрессиям^[23].

Эта пионерская статья Гетти послужит основой для дальнейшего обсуждения здесь таких важных тем, как обоснованность его теории демократических реформ и их плановый или непреднамеренный характер, взаимосвязь демократии и репрессий, роль общегосударственной дискуссии в политических поворотах Сталина. И политика, и реакция общества на конституцию, слишком кратко представленная в литературе, заслуживают всестороннего анализа с использованием нового уровня знаний и более широкого круга источников. Методология политической культуры является действенным инструментом для изучения общественного сознания: как развивались политическое участие, массовая мобилизация, идеал

народного суверенитета, понятие гражданских прав и индивидуалистических ценностей в специфических условиях сталинизма.

Концепция политической культуры как комплексной системы взаимосвязанных убеждений, представлений и ценностей еще не применялась в исследовании сталинского общества. Классическая типология политической культуры, предложенная Алмондом и Вербой, описывает приходскую (или патриархальную), подданическую и партиципаторную культуры, каждая из которых связана соответственно с традиционным крестьянским обществом, централизованной авторитарной структурой и демократической политической структурой^[24]. Эта типология не совсем подходит советским моделям мышления и убеждений, ибо то, что мы видим в советских массовых представлениях, – это спектр характеристик от либеральных ценностей до авторитарных, с тенденцией к простому, биполярному миру, персонификации власти и нетерпимости к меньшинствам. Характер моей источниковой базы диктует несколько иную таксономию. Комментарии граждан тяготели к двум основным категориям: первая группа – комментарии в поддержку демократических, гражданских, умеренных, примирительных, толерантных (например, к религии) ценностей – иными словами, либеральных ценностей. Вторая группа комментариев тяготела к поддержке аффективных, воинственных, нетерпимых, бескомпромиссных и ограничительных – или антилиберальных – ценностей, таких как ненависть к врагам, любовь к высшей власти, общая враждебность, приверженность к ценностям, заявленным руководством. Кроме того, хорошо заметна подгруппа, выражающая коллективистские и клановые ценности, которые в российском контексте можно определить как ценности, ассоциируемые с традиционными крестьянскими обществами. Многие авторы обсуждали сохранение архаичных русских практик при сталинизме, таких как «письма во власть» как примитивный способ представления интересов, возрождение «аристократии» с определенным статусом – номенклатуры (или «бояр», по выражению Гетти) и склонность к коллективной ответственности^[25]. Современные социологические опросы часто используют категории демократической и традиционной политической культуры.

Какую бы типологию мы ни использовали – классическую, социологическую или либеральную/нелиберальную, – важно, что ни одна типология не подразумевает однородности политической культуры. В социальной реальности и на индивидуальном уровне всегда присутствует переплетение различных типов культуры: «Гражданин – это особое сочетание партиципаторной, подданической и патриархальной ориентации, а гражданская культура – это смешанный тип политической культуры, в котором наряду с преобладанием составляющих культуры партиципаторного типа органически присутствуют элементы патриархальной и подданической культур»^[26]. Кроме того, такие факторы, как стремительность трансформации (например, слом крестьянского мира в СССР в течение нескольких лет), политическая нестабильность и разрыв поколений, особенно выраженные в 1930-х годах, усугубляют многогранность политической культуры в этот конкретный период. «Слишком жесткое наступление на патриархальность может привести к тому, что и патриархальная, и подданическая ориентация могут перейти к апатии и отчуждению. Результатом станут политическая фрагментация и разрушение нации»^[27]. Таким образом, классифицируя дискурсы как либеральные или нелиберальные, мое исследование всегда подразумевает культурную смесь, следуя историографическим описаниям советского культурного пространства как «волатильной культуры» (по определению С. Франка и М. Штенберга) или сметенной и перекошенной идентичности, определенной Моше Левиным как «зыбучее общество».

Глава 2

Источники

Начало эпохи массовой политики заставило современные правительства отслеживать мнения граждан с целью более эффективного управления населением. Это привело к появлению социологических опросов и практики полицейского наблюдения. И социология, и полицейский надзор стремились узнать, что люди думают, и столкнулись с проблемой трудноуловимого характера мнений. Даже в свободных демократических странах существует проблема потенциальной неточности результатов опросов. Возможные искажения в результатах кроются в методологии опроса и не только. Опрашивающие агенты могут манипулировать ответами путем формулировки или последовательности вопросов. На неточность результатов опроса могут влиять неучтенные мнения тех, кто отказался отвечать на вопросы, неискренние ответы респондентов, воздействие СМИ и другие факторы. Случаи провала опросов общественного мнения хорошо известны в истории, например, на президентских выборах 1948 и 2016 годов в США, на парламентских выборах 1970, 1974 и 1992 годов в Великобритании, а также на российских парламентских выборах 1993 года с неожиданным успехом националистов. Тем не менее, вероятность неточных результатов не исключает использования опросов как важного инструмента изучения общества.

Это введение необходимо здесь для того, чтобы указать на большую возможность искажения картины мнений, формулируемых и собираемых в условиях, во-первых, сталинской диктатуры и всеобщего страха, во-вторых, в период, когда методика научных опросов была в лучшем случае рудиментарной, в-третьих, в условиях, когда заинтересованная сторона не могла задать соответствующие вопросы населению, а вместо этого какие-то крупные события провоцировали спонтанные высказывания. Эти неординарные в глазах современных социологов условия исторической реконструкции картины общественного сознания вызвали волну критики в академическом сообществе, когда огромный комплекс данных

полицейского наблюдения стал доступен ученым сначала в Германии, а затем в 1990-х годах в России – особенно обзоры (сводки и *Stimmungsberichte*) политических настроений и мнений, составленные органами безопасности для тоталитарных режимов.

Эти обзоры часто критиковались в академической литературе за предвзятость и ненадежность. Жестокая репутация нацистских и сталинских силовых структур, вероятно, способствовала росту скептицизма. В итоге, двадцать пять лет дискуссий об источниках, созданных сталинским режимом, – их ограниченности и потенциале – привели к появлению особого жанра научной литературы о методах их критики и использования, значительно продвинув источниковедение^[28]. В последнее время, после десятилетий скептицизма и плодотворных дискуссий, триангуляция всей имеющейся информации по конкретным темам привела к тому, что все больше историков^[29] хоть и с оговорками, но признали ценность сводок как исторического источника не только для изучения общества, но и для анализа официальных и институциональных взглядов на общество. «Эти доклады НКВД в архиве КГБ... обычно содержат достоверные отчеты о сельскохозяйственной ситуации в сочетании с сильным акцентом, как и почти все документы НКВД, на якобы „контрреволюционной“ деятельности»^[30]. Переоценка коснулась и другого рода источника, традиционно считающегося учеными ненадежным, такого как рассказы и воспоминания заключенных (используемые Александром Солженицыным в качестве источниковой базы для «Архипелага ГУЛАГа»), которые позднее, после сопоставления с архивными документами, были признаны достаточно достоверными^[31]. Недоверие к советской статистике сохраняется, хотя, например, демограф Сергей Максудов считает данные переписей 1926, 1937 и 1939 годов относительно более достоверными, чем местная статистика, исходящая из деревень и областей^[32].

Данное исследование основано на различных правительственных, личных и зарубежных источниках, в основном на архивных материалах: стенограммах и документах советских органов власти и комментариях к общенациональной дискуссии 1936 года. Хотя советская пресса широко освещала кампанию, большая часть предложений населения была скрыта в государственных архивах. Эти хранилища содержат сотни папок с неопубликованными письмами

отдельных граждан в газеты, материалы собраний на предприятиях, анонимные письма в органы власти и формальные коллективные и индивидуальные предложения. Во-первых, для изучения целей дискуссионной кампании и ее политического механизма я использовала документы пленумов Коммунистической партии, материалы Центрального комитета и внутреннюю переписку лидеров. Во-вторых, я изучила материалы НКВД, который постоянно отслеживал политические настроения населения и регулярно направлял высшим партийным чиновникам секретные сводки. Эта внутренняя государственная документация дополняется данными британской и американской разведки для получения альтернативной внешней перспективы. В-третьих, я исследовала документацию организационного центра кампании Президиума Центрального исполнительного комитета (ЦИК), который составлял собственные сводки комментариев к конституции. Наконец, обзоры Комиссии ЦИК по делам культов о реакции верующих и духовенства на конституцию дополняют привлеченный массив государственных источников.

У каждого из этих государственных учреждений были свои собственные повестки дня и подходы к сбору и интерпретации информации, которые определяли структуру и характер обзоров. Такое разнообразие повесток дня дает историкам возможность сравнивать и объективизировать информацию, исходящую из различных органов и институтов. Привлеченные здесь материалы наблюдения (партийного, НКВД и военного) являются своеобразным историческим источником и требуют некоторых дополнительных комментариев. Так, при изучении сводок о настроениях и политической ситуации историки учитывают функции органов безопасности и специфику корпоративной культуры, которые оказали влияние на презентацию собранных данных. По словам Джона Маклафлина, бывшего директора Центрального разведывательного управления США, культура мира разведки характеризуется скептицизмом. Обязанностью аналитиков является поиск проблем и предупреждение правительства об опасностях. Это способствует более мрачному представлению событий в докладах^[33]. Ф. Э. Дзержинский, основатель советской службы безопасности, отмечал аналогичную тенденцию в чекистских обзорах. Это и понятно, так как ЧК—ОГПУ—НКВД, в соответствии с охранительными и репрессивными функциями, в своих сводках

общественных настроений уделяли основное внимание «негативным» процессам, антисоветской деятельности и инакомыслию. Секретари партийных организаций или партийные информаторы, сообщая о настроениях, не были столь репрессивны, не очень стремились к точности в именах авторов комментариев или их позиции, места службы и проживания. Напротив, НКВД в информационных материалах всегда указывал эти данные и дополнительно классифицировал высказывания людей по политическим направлениям: «троцкист-зиновьевец», «социалист-революционер» или кулак, хотя это не означает, что эти люди принадлежали к какой-то организации или были зажиточными крестьянами. Такие деноминации, как правило, представляют собой своего рода политические ярлыки, характеризующие идеальный тип врага в сознании составителя обзора. Характерной чертой материалов наблюдения была политизация, происходившая из задач каталогизации нелояльных лиц и отслеживания негативных тенденций. Репрессивная функция НКВД часто воплощалась в лаконичных пометках после изложения оппозиционных или недовольных комментариев: «Имярек арестован».

То, каким образом сводки представляют массовые настроения и политические суждения, характеризует специфику мышления офицеров НКВД, особое манихейское мировоззрение этой касты, склонной повсюду видеть угрозы, и типичное для всякого чиновника стремление продемонстрировать свою эффективность, соответствовать ожиданиям руководства или Сталина^[34] и текущей партийной линии. Особого критического внимания исследователей требуют свидетельства о массовой фальсификации и фабрикации документов на всех уровнях делопроизводства ведомства, представленные историками, получившими доступ к региональным архивам советской службы безопасности – например, в Украине и Сибири, в том числе к агентурно-оперативным материалам. Один провокатор-агент, Николай Кузнецов, будучи арестован НКВД в 1934 году, показал, как он оставлял отчеты: «Даты, встречи, состав присутствующих – это неоспоримо верно, но там, где в моих донесениях начинаются чужие слова, заключенные в кавычках... <...> ...Все наиболее резкое... являлось выдуманной, намотанной мной грубой ложью. Я здесь руководствовался одним, если человек не говорил против Сов[етской]

власти, я ему ничего не выдумывал, но если этот человек настроен отрицательно к существующему строю и это мне в беседах высказывал, я ему приписывал неговоренное им... Приписки эти я делал, основываясь на своих предположениях»^[35]. Новосибирский историк А. Г. Тепляков, указывая на «относительную степень достоверности чекистской информации», тем не менее подчеркивает, что многое проверяется и дополняется другими источниками, и признает соответствие действительности (в основном) по крайней мере отдельных видов информации. Понимая, что у сводок НКВД есть свои эпистемологические пределы, я пытаюсь их проверить и уравновесить их тенденциозность документацией альтернативного происхождения, среди прочего, разведывательными отчетами МИД Великобритании и американских спецслужб о положении в СССР.

В отличие от отчетов НКВД, сосредоточенных на негативных процессах, отчеты партийных, советских или экономических структур часто были склонны рисовать более позитивную картину общества, чтобы радовать власть репрезентацией успехов. Ответственным за продовольственное снабжение Ленинграда в 1932 году был партийный деятель П. А. Кулагин. Он говорил британскому консулу: «Мы не верим, как люди в Москве, что все хорошо». Если верить ему, продолжает консул, «многие чиновники посылают [наверх] положительную информацию, которая, как они знают, не соответствует действительности, потому что у них нет смелости сообщить правду; таким образом Кремль никогда не ведает, что происходит в реальности»^[36]. Наилучшим решением при работе с тенденциозными или ненадежными источниками является проверка. Историки отслеживают, насколько их данные согласовываются с данными из других источников (триангуляция на языке разведки). Если различные источники, ситуации, ведомства и географические регионы дают сопоставимые данные, это говорит в пользу достоверности обсуждаемых фактов или распространенности того или иного мнения.

Другой государственный орган, Президиум ЦИК, организовывал и направлял дискуссию о проекте конституции и, пытаясь отследить широкий спектр и разнообразие мнений, требовал регулярной отчетности от местных должностных лиц о ходе кампании. Мониторинг общественных настроений был одной из целей кампании. ЦИК аккумулировал информацию из республик и регионов, газет и

частных лиц. С июня по ноябрь 1936 года ЦИК обобщил и классифицировал 43 427 комментариев – около четверти дискуссионных материалов^[37] – и составил 13 сводок и другой документации, включая статистические данные, которые я далее называю «оценками ЦИК». Эти статистические данные будут здесь представлены, хотя характер источников не позволяет с точностью оценить количественные параметры различных политических субкультур в обществе. Скорее, они показывают их качественное многообразие. Эти статистические данные, при всей их ограниченности и фрагментарности, придают некоторую рациональность моим впечатлениям, полученным от прочтения массива комментариев. В статистических оценках, в дополнение к данным ЦИК, я также ссылаюсь на свою выборку из 470 типовых комментариев, систематизированных и обобщенных Исполкомом Горьковского края в его отчете Москве 16 октября 1936 года на основе 4000 комментариев. Краевой исполком составил таблицу с комментариями к статьям конституции из различных районов^[38]. Я также использую подсчеты предложений к конституции, сделанные Арчем Гетти по Ленинградской (2627 писем) и Смоленской (474 письма) областям^[39]. К сожалению, Гетти не включил в свою выборку «непрограммные замечания вроде благодарности Сталину», в то время как я учитывала полный набор комментариев. Льюис Сигельбаум справедливо отмечал, что следует рассматривать весь комплекс комментариев – как практических, так и фантастических, – а не только те, которые имеют непосредственное отношение к статьям конституции^[40]. Иногда я представляю абсолютные цифры комментариев на основе всех своих исследовательских записей, полученных из различных источников: НКВД, ЦИК, областные сводки, письма в газеты и т.д. Хотя и лишённые процентного соотношения, эти цифры часто говорят сами за себя.

Помимо НКВД и ЦИК, данные собирали и другие ведомства. Комиссия ЦИК по делам культов подготовила обзоры о реакции верующих и духовенства на конституцию. Чтение между строк этих докладов оставляет впечатление, что их авторы принимают и даже иногда защищают интересы этой группы. Вероятно, их недостаточно жесткая позиция привела к закрытию этой комиссии в 1938 году. Хотя ЦИК и Комиссия по делам культов преследовали свои собственные

корпоративные цели, их сводки не имели репрессивной функции и звучали более беспристрастно, представляя как несогласие, так и позитивный дискурс. Советские газеты («Правда», «Крестьянская газета», «Известия», «Коммуна» (Воронеж), используемые здесь) регулярно публиковали хорошо отфильтрованные и, вероятно, отредактированные комментарии граждан, причесывая их в соответствии с политическими нормами, одновременно конфиденциально направляя в правительство обзоры неопубликованных комментариев^[41]. Конфиденциальные списки вопросов из аудитории, записанных на собраниях и семинарах и предназначенных только для местного партийного комитета, с их простонародным языком, наивностью и резкостью, представляются более достоверными, чем типовые списки предложений, составленные в соответствии с неким шаблоном и возможно подчищенные чиновниками для представления в Москву. Значительная часть использованных источников исходила из государственных и партийных органов.

Обзоры, составленные официальными лицами, дополняются документами индивидуального происхождения: дневниками и письмами в газеты и органы власти, которые тоже необъективны, но подвержены влиянию других соображений и условий. Ученые, работающие с документами личного происхождения сталинской эпохи, знают, что их авторы очень часто проявляли неустойчивую идентичность в силу изменчивости их статуса и непрерывных социальных потрясений: одни граждане уже с энтузиазмом усвоили официальные ценности и сделали их своими (Галина Штанге и авторы дневников, представленных Натальей Козловой), другие находились в процессе формирования своей идентичности (молодые авторы – Степан Подлубный, Леонид Потемкин, Нина Костерина, – а также бывший либерал Николай Устрялов); другие научились демонстрировать внешнее соответствие, публично подчинялись нормам, но скрывали свои воззрения или несогласие (Аржиловский, Маньков, Гинзбург, Шапорина, Пришвин). Такая подвижность идентичности серьезно осложняет работу аналитика их записей. У членов всех этих групп были свои причины для участия в обсуждении конституции, например, для демонстрации лояльности. Для дневников, однако, характерна аура интимности и искренности. В советской

ситуации затяжного кризиса и переменчивой идентичности мотивация к самовыражению была гораздо сильнее, чем в политических режимах с давно устоявшейся системой ценностей. Более того, некоторые советские авторы дневников – молодые и даже зрелые (Потемкин, Подлубный, Г. Эфрон, Устрялов), – вдохновленные идеей Нового Человека и нового мира, сознаются в постоянных усилиях по преобразованию себя в составную часть воображаемого социалистического сообщества, часто жертвуя своей личной автономностью, воспринимаемой ими как «мелкобуржуазный» индивидуализм^[42]. Эти психологические свидетельства «бегства от автономии», исследованные историками школы субъектности, придают эпистемологическую глубину массиву нелиберальных комментариев к конституции.

Среди использованных здесь источников – около двух тысяч интервью и опросов, осуществленных в 1950–1951 гг. среди советских беженцев в Европе и Америке, известные как Гарвардский проект, посвященный советской социальной системе. Среди вопросов, которые американские интервьюеры предложили беженцам, был: «Какое впечатление произвела на вас советская Конституция 1936 года?» Поэтому здесь можно найти множество интересных материалов. Мировоззрение и опыт этого контингента были шире и богаче, чем у их соотечественников в 1936 году. Все корреспонденты могли сравнить условия в СССР с европейским и/или американским опытом. Организаторы не могли игнорировать тот факт, что беженцы, вероятно, чувствовали себя обязанными перед страной, которая обещала или предоставила им убежище, и хотели угодить американцам и сказать то, что от них ожидается; поэтому в проекте были предприняты попытки учитывать такую «лесть» и возможную предвзятость. Кроме того, свидетельства беженцев дистанцированы от события (общенациональной дискуссии) и обогащены знаниями о его последствиях. Вместе с внешней перспективой это повлияло на часто критическое отношение беженцев к советской действительности, отмеченное исследователями. Однако нередки случаи, когда респонденты высказывали мнения вопреки политическому мейнстриму в США, например, восхваляя государственный контроль, социальную защиту и честно признавая, что они лично пользовались новыми свободами после 1936 года, например, когда дети кулаков

получили доступ к образованию. Данные Гарвардского проекта позволяют сравнить динамику политических ориентаций в 1930-х и 1950-х годах.

Несмотря на ограниченность каждого конкретного источника, их разнородность дает возможность триангуляции информации и в конце концов позволяет характеризовать основные элементы политической культуры. Разнообразие источников обеспечивает максимально возможную в данном случае репрезентативность выборки взглядов советского общества, особенно когда мнения, содержащиеся в различных источниках, как личных, так и официальных, выражают одно и то же отношение. Несмотря на эпистемологические проблемы предвзятости, репрезентативности и точности каждого конкретного источника, а также на непоследовательность и неоднозначность мнений, исследователи не могут игнорировать такие интригующие свидетельства о советском обществе. Отсутствие возможности количественной оценки данных не перечеркивает исследовательскую значимость общественного мнения в формировании сталинского общества.

Еще одной проблемой моих источников была непоследовательность и изменчивость настроений. Загадочную двойственность мышления советского гражданина, когда зачастую противоречивые мнения и смешанные, конфликтующие взгляды сосуществовали даже внутри одного человека, можно объяснить двойственностью его среды, с разрывом между официальными нормами и реальным опытом. Настроения определялись как повседневной жизнью с ее тяготами, так и заявленной высокой целью социализма: первая может вызвать критику, вторая – воодушевление^[43]. Тем не менее, такой «иррациональный» образ мышления не был уникальным советским явлением, он был характерен для крестьян любой национальности с социальным в основном, а не экономическим способом мышления, в котором одновременно могут присутствовать два противоречивых мнения^[44]. Кроме того, делая задачу аналитика еще более сложной, любой человек в один момент мог чувствовать вдохновение и патриотизм, а в другой момент неудовлетворенность, в зависимости от многих переменных, включая изменение социального статуса или такие элементарные ощущения, как голод или сытость, как показал социолог Питирим Сорокин^[45].

Эти трудности и ограниченность имеющихся данных не позволяют сделать количественные оценки частоты мнений в исследованиях советского общественного мнения. Природа наших источников и методов, используемых в культурологии, отличается от социологических и исторических позитивистских исследований. Изучая массив неструктурированных данных, я использую качественный метод как аналитический инструмент для получения более глубокого понимания культурных практик. Этот метод классификации исторических и культурных данных по темам, выделения паттернов, чтобы сделать собранные данные интерпретируемыми, использовался в первую очередь в антропологии и этнографии для достижения понимания того, что мотивирует поведение человека, но в последнее время он стал более междисциплинарным и используется в исторических исследованиях^[46]. Тематический анализ является наиболее распространенным методом, используемым в качественных исследованиях для определения паттернов в собираемых данных. В отличие от социологического исследования, преимущество этого метода заключается в успешном снижении вероятности предвзятости, предопределенной позицией исследователя и интервьюера^[47].

Этот метод получил признание, например, в ходе полевых исследований по изучению социокультурных ориентаций местного населения в ходе операций Международных сил безопасности в Афганистане. Для оценки убеждений и представлений афганцев специалисты отходили от традиционных опросов, поскольку вопросы слишком часто отражали предвзятость исследователей, и те, таким образом, получали ожидаемые ответы. Вместо этого исследователи задавали чрезвычайно открытые вопросы, провоцируя рассказывание историй (например, историю села), которые выявляли ценности, представления и опасения. Триангуляция нескольких сюжетов открывала возможность для анализа^[48]. Поведенческие экономисты также учли критику метода опросов, сосредоточившись на полевых исследованиях, а не на лабораторных экспериментах и социологических данных. В отличие от традиционной экономической науки, которая предполагает, что люди в основном рациональны и неэмоциональны, поведенческая экономика учитывает влияние ограниченной рациональности, социальных предпочтений и

отсутствия самоконтроля на индивидуальное поведение. Таким образом, специфика исследованных источников диктует необходимость использования комбинации аналитических методов, поскольку, например, эмоциональная составляющая была частью комментариев в конституционной дискуссии.

Когда это возможно, исследователи могут применять статистический анализ для оценки тем, хотя количественная оценка не входит в число достоинств качественного метода. Формирование исследователем взвешенного, обоснованного впечатления признается допустимым аналитическим инструментом в качественных исследованиях, когда такое впечатление представляется в структурированной аргументированной форме. Я предприняла все усилия для сбора как можно большего объема репрезентативных данных для представления тем и нарративов, характеризующих политическую культуру советского общества, нашедшую выражение в конституционной дискуссии.

Предпочтительный термин «массовые восприятия/настроения/представления» отражает указанную неопределенность в источниках и используется здесь для того, чтобы отличить предмет моего исследования от хорошо организованного и измеримого «общественного мнения» в свободных обществах, основанного на социологических данных. Хотя до сих пор иногда материалы общенациональной дискуссии необоснованно недооценивались некоторыми историками^[49], соответствующий критический анализ этих материалов позволяет нам изучать советское общество 1930-х годов и его отношение к индивидуализму, плюрализму, гражданским правам, насилию и компромиссу, а также уровень терпимости, которые характеризовали его переход от традиционного общества к современности.

Часть I

**Цели пересмотра конституции и ее
всемирного обсуждения**

Глава 3

Происхождение конституционной реформы

Внутренняя переписка высших партийных чиновников открывает перед нами новые сведения об авторстве, механизме выработки и первоначальных целях конституционной реформы. Историки единодушны во мнении, что эта инициатива принадлежала Сталину. Однако недавно обнаруженные архивные документы позволяют проследить, как родилась идея: она возникла еще в 1933 году из предложения секретаря ЦИК СССР А. С. Енукидзе о реформе избирательной системы.

Авель Сафронович Енукидзе (1877–1937) принадлежал к первому поколению партийцев. Родом из Закавказья, он поддерживал дружеские личные отношения со Сталиным и Орджоникидзе и был частью тесного «сталинского круга». В разгар внутренних дебатов по поводу конституционной реформы 3 марта 1935 года Политбюро освободило Енукидзе от должности секретаря ЦИК в ходе так называемого Кремлевского дела правительственных служащих (январь – апрель 1935 года), однако он оставался членом конституционной комиссии, избранным 8 февраля. На июньском Пленуме ЦК 1935 года он был исключен из партии, год спустя восстановлен, но в конце концов арестован 11 февраля 1937 года и расстрелян в октябре 1937 года^[50].

Еще 25 мая 1933 года Енукидзе направил в Центральный комитет записку от имени партийной группы секретариата ЦИК, в которой предлагал внести изменения в избирательную процедуру в ходе предстоящей в 1934 году избирательной кампании в советы. Он выдвинул несколько аргументов в пользу более инклюзивного избирательного законодательства. Первым его аргументом стало успешное завершение коллективизации, которая, по его словам, сделала крестьян социалистическими и лояльными («превратила крестьян в подлинный и прочный фундамент советской власти»), повысила их культурный уровень и политическое сознание. Похоже, он искренне верил в принцип коммунистической идеологии, что коллективистская жизнь в колхозе напрямую изменяет

индивидуалистический мелкобуржуазный менталитет, который марксисты приписывали крестьянам. Другим аргументом Енукидзе стал рост пролетарских элементов в деревне в результате внедрения машинно-тракторных станций (МТС) и совхозов, что привело к советизации села. Вдохновленный коллективизацией и социальными изменениями, он предложил, во-первых, организацию избирателей в селах на будущих выборах по трудовому (бригада, колхоз), а не по территориальному принципу (село) и, во-вторых, равное представительство рабочих и сельских жителей на выборах советских съездов^[51]. Он приложил проект постановления ЦИК, который включал предложения по внесению изменений в действующую конституцию.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. В связи с охватом колхозами 65 % крестьянского населения Союза ССР и значительным организационно-хозяйственным укреплением колхозов, превратившим колхозников в действительную и прочную опору советской власти, учитывая огромный рост культурности сельского населения, и большой рост рабочей прослойки деревни (рабочие совхозов, МТС, добывающей промышленности и т.д.) Центр[альный] Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет...

4. В соответствии с настоящим постановлением внести изменения в Конституцию Союза ССР и союзных республик^[52].

Таким образом, решающим мотивом для инициативы Енукидзе стали преобразования в сельском хозяйстве. Это видение разделяли и другие высокопоставленные чиновники, как видно из различных документов, например, из секретной инструкции ЦК ВКП(б) от 8 мая 1933 года, за две недели до записки Енукидзе, подписанной Сталиным и Молотовым с приказом прекратить массовые репрессии в деревне: «Эти три года борьбы привели к разгрому сил наших классовых врагов в деревне, к окончательному укреплению наших советских социалистических позиций в деревне»^[53]. Это видение нового состояния села вызвало решение ЦК 1934 года о пересмотре

колхозного устава от 1930 года. Новая версия была принята в 1935 году.

Записка Енукидзе не привела к каким-либо немедленным последствиям. В течение года, с мая 1933 года по май 1934 года, идея внесения изменений в закон о выборах не получила развития. В выступлении на XVII съезде партии в январе 1934 года о будущих выборах в советы Енукидзе повторил свою оценку изменений после коллективизации – роста организованности и культуры крестьянства, роста пролетарских элементов на селе, но уже не связал эти изменения с необходимостью избирательной реформы и лишь выразил уверенность, что выборы осенью будут успешными^[54]. 22 мая 1934 года он утвердил составленный кем-то другим подробный план подготовки к осенним выборам в советы. Среди прочего, в этом плане предлагалось организовать проверку работы и отчетные кампании в советах в целях укрепления советской демократии^[55]. Этот план был реализован позднее в 1936 году и превратился в чистку кадров. Хотя план предусматривал пересмотр инструкций по выборам и публикацию закона о выборах, в нем не говорилось о реформе. В плане все еще обсуждался учет граждан, лишенных избирательных прав.

Тем не менее, устные консультации по избирательной реформе, вероятно, продолжались, как видно из письма Енукидзе от имени партийной организации ЦИК в Политбюро через несколько дней – 29 мая 1934 года. Оно касалось созыва VII съезда советов в январе 1935 года и включало в повестку дня пункт 6 «Конституционные вопросы». Аналогичное заявление послал в Политбюро председатель ЦИК М. И. Калинин. Вероятно, 10 мая этот вопрос обсуждался со Сталиным и членами правительства, когда Енукидзе и Калинин посетили кабинет Сталина в Кремле^[56]. Повестка дня съезда была утверждена 25 июня 1934 года Сталиным, который отредактировал пункт 6 как «Доклад по конституционным вопросам». В августе 1934 года Сталин запросил копию Конституции СССР 1924 года^[57]. Устные консультации продолжались и завершились 10 января 1935 года новой запиской Енукидзе в Центральный комитет, которая открывалась ссылкой на указания Сталина: «Основываясь на Ваших указаниях о своевременности перехода к прямым выборам органов советской власти (от райисполкомов до ЦИК Союза), представляю на обсуждение в ЦК следующую записку: „Об изменениях порядка

выборов в органы власти Союза ССР и союзных республик“». В следующем проекте постановления для предстоящего VII съезда советов Енукидзе снова изложил свой тезис об изменениях в социальной структуре в СССР. Он сделал еще один шаг вперед и предложил переход к «прямым и открытым (sic! – *О. В.*) выборам» с равным представительством городского и сельского населения^[58]. В проекте указа предлагалось «разработать и установить порядок проведения выборов и внести соответствующие изменения в Конституцию СССР». Консультации Енукидзе, Калинина и Сталина длились почти девятнадцать месяцев и свидетельствуют о постепенном развитии идеи и искренней заинтересованности в демократическом прогрессе, как его понимали участники.

Записка Енукидзе от 10 января вызвала первую документально подтвержденную реакцию Сталина на этот вопрос: его письмо в Политбюро, Енукидзе и Жданову от 25 января 1935 года:

Рассылая записку Енукидзе, считаю нужным сделать следующие замечания. По-моему, дело с конституцией Союза ССР обстоит куда сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Во-первых, систему выборов надо менять не только в смысле уничтожения ее многостепенности. Ее надо менять еще в смысле замены открытого голосования закрытым (тайным) голосованием. Мы можем и должны пойти в этом деле до конца, не останавливаясь на полдороге. Обстановка и соотношение сил в нашей стране в данный момент таковы, что мы можем только выиграть политически на этом деле. Я уже не говорю о том, что необходимость такой реформы диктуется интересами международного революционного движения, ибо подобная реформа обязательно должна сыграть роль сильнейшего орудия, бьющего по международному фашизму. Во-вторых, надо иметь в виду, что конституция Союза ССР выработана в основном в 1918 г. в период гражданской войны и военного коммунизма, когда не было у нас современной развитой индустрии, когда единоличное крестьянское хозяйство представляло основную силу нашего сельского хозяйства, когда колхозы и совхозы находились в зачаточном состоянии, когда малые и большие капиталисты представляли значительный фактор нашего

народного хозяйства и нашего товарооборота, когда вопрос о социалистической собственности как основе нашего общества не стоял еще так актуально как последние 2-3 года. Понятно, что конституция выработанная в таких условиях не может соответствовать нашей нынешней обстановке...

Таким образом, изменения в конституции надо произвести в двух направлениях: а) в направлении улучшения ее избирательной системы; б) в направлении уточнения ее социально-экономической основы.

Предлагаю:

1. Собрать через день-два после открытия VII съезда Советов пленум ЦК ВКП(б) и принять решение о необходимых изменениях в конституции Союза ССР.

2. Поручить одному из членов Политбюро ЦК ВКП(б), например, т. Молотову, выступить на VII съезде Советов от имени ЦК ВКП(б) с мотивированным предложением: а) одобрить решение ЦК ВКП(б) об изменениях конституции Союза ССР; б) поручить ЦИК Союза ССР создать конституционную комиссию для выработки соответствующих поправок к конституции с тем, чтобы одна из сессий ЦИК Союза ССР утвердила исправленный текст конституции, а будущие выборы органов власти производились на основе новой избирательной системы. Сталин^[59].

В этом письме первоначальная идея о внесении поправок в конституцию выросла до более масштабной реформы.

Все российские историки связывают начало конституционной реформы с этим письмом и инициативой Сталина. Внимательное прочтение документов не подкрепляет эти утверждения. Удивительно, но ученые игнорируют ссылку Сталина на Енукидзе в начале письма. Две упомянутые выше записки Енукидзе, обнаруженные в архиве, рисуют другую картину зарождения реформы. Однако Сталин в своем письме предложил не Енукидзе, а В. М. Молотова докладчиком по конституционным вопросам на VII съезде советов. Это новое имя в нашей истории, вероятно, было реакцией Сталина на донос, полученный им в начале января от своего близкого родственника А. С. Сванидзе: что Енукидзе участвовал в антиправительственном

заговоре, позднее получившем название «Кремлевское дело». Началась постепенная отставка Енукидзе, хотя она и не похоронила идею реформы. Енукидзе все же представил проект на рассмотрение съезду 5 февраля и вошел в состав конституционной комиссии, но подозрения Сталина отодвинули Енукидзе от проекта и главным спикером на эту тему 28 января и 6 февраля стал Молотов. Предложения о «внесении изменений в Конституцию в направлении демократизации избирательной системы» – по сталинской формуле, равного, прямого и тайного голосования (последнее исправлено и подчеркнуто Сталиным дважды в проектах Енукидзе) – были утверждены Политбюро 30 января, затем на Пленуме ЦК 1 февраля и, наконец, на VII съезде советов 6 февраля^[60]. Решение Пленума ЦК ставило задачу: «б) уточнения социально-экономической основы конституции в смысле приведения конституции в соответствие с нынешним соотношением классовых сил в СССР (создание новой социалистической индустрии, разгром кулачества, победа колхозного строя, утверждение социалистической собственности как основы советского общества и т.п.). Поручить комиссии в составе Сталина, Молотова, Калинина, Кагановича и Енукидзе набросать проект постановления VII съезда Советов СССР»^[61]. Состав комиссии был опубликован в газетах^[62]. Решающий поворот, однако, от внесения изменений до совершенно новой конституции произошел только на июньском Пленуме ЦК 1935 года. Грандиозный проект был запущен.

Итак, внутренняя переписка на эту тему позволяет расшифровать основные мотивы руководства страны в изменении конституции, которые затем были озвучены публично. До сих пор во внутреннем обмене мнениями мы не видим и намека на скрытую повестку дня в умах вовлеченных в дискуссию лидеров, а видим лишь прямую веру в социалистический прогресс в стране. В своем выступлении на VII съезде советов Молотов повторил два сталинских мотива: внутриполитический и внешнеполитический. Он обосновал изменения в конституции новым соотношением классов в городе и селе, при этом упомянул также международный фактор:

Во-первых, с 1918 года соотношение классовых сил в нашей стране коренным образом изменилось, особенно после победы принципов общественной собственности, как в городе так и в

деревне. Во-вторых, потому что пришло время, когда мы можем развернуть советский демократизм до конца и внести изменения в нашу избирательную систему... в то время как [в ряде стран] фашистская перестройка государства идет полным ходом в сторону террористических методов управления^[63].

Затем Молотов в своем докладе отметил ключевые элементы избирательной реформы: сделать выборы прямыми и тайными, уравнивать сельских и городских избирателей, и – новое предложение! – отменить лишение права голоса: «СССР все ближе подходит к полной отмене всяких ограничений всеобщих избирательных прав (бурные продолжительные аплодисменты)». По словам Молотова, в 1934 году лишенное избирательных прав население составляло 2,5 процента, или более двух миллионов из девяносто одного миллиона избирателей. Он подчеркнул еще одну причину для реформы: «Закрытое голосование... ударит со всей силой по бюрократическим элементам и будет для них полной встряской... поставить работу своих органов под усиленный контроль рабочих и крестьян»^[64]. Помимо социальных и международных причин здесь появились два новых фактора: предложение всеобщего избирательного права и указание на мишени избирательной реформы – «бюрократические элементы». Таким образом руководство обосновало необходимость реформы.

Генезис идеи избирательной реформы, превратившейся в конституционную, показывает, что ее автором был не Сталин, а А. Енукидзе еще в 1933 году. Если бы автором идеи был Сталин, вряд ли до начала ее обсуждения прошло бы столько времени – почти два года. Только в январе 1935 года Сталин активно включился в дебаты и возглавил их, а Енукидзе был отстранен, а затем репрессирован. Молотов стал основным спикером по избирательной реформе, но реальной движущей силой был Сталин: он был активным председателем конституционной комиссии, давал указания, руководил дебатами и редактировал текст. Он присвоил и развил идею, ликвидировав ее автора.

Российский исследователь Ю. Жуков признает роль Енукидзе в конституционной реформе, но историк настолько привязан к идее сталинского авторства «демократических реформ», что без убедительных доказательств представляет Енукидзе (и некоторых

других партийных деятелей) как антагониста сталинских реформ, якобы из-за преданности секретаря ЦИК идеалам мировой коммунистической революции^[65]. Опираясь на материалы допроса, весьма сомнительные из-за насильственных методов, использованных в процессе, Жуков утверждает в своих книгах, что А. Енукидзе, сопротивляясь сталинской демократизации, организовал заговор с целью свержения советской власти. Влияние советской апологетической историографии, некритичное использование источников и отсутствие среди изученных им источников фонда Енукидзе в РГАСПИ (фонд 667) привели Жукова к выводам в пользу Сталина.

Второе открытие из истории Енукидзе заключается в том, что основным импульсом для изменения конституции была реформа избирательной системы, порожденная идеалистическим пониманием новых социальных условий, сложившихся в деревне после коллективизации. В 1933–1934 годах, когда эта избирательная инициатива впервые возникла, речь шла о частичных поправках к действующей конституции 1924 года, но поскольку избирательная система принадлежала к юрисдикции конституции, реформа превратилась в масштабный проект – новую советскую конституцию. Центральная роль избирательной реформы в зарождении этого начинания меняет наше понимание всего конституционного проекта.

Глава 4.

Политика умеренности середины 1930-х годов

Конституционная реформа была частью более широкого дискурса – ряда тенденций 1933–1936 годов, которые историки рассматривают как умеренные в политическом, экономическом, правовом и идеологическом развитии, включая тенденцию к укреплению законности. В этой главе обсуждается ряд политических изменений, которые позволили ученым квалифицировать этот период как период консолидации режима, или как период смягчения жесткой политики, или даже как попытки демократических реформ, запланированных Сталиным. Поскольку советское руководство не объявило открыто о начале политики примирения и демократических реформ (если только мы не усматриваем этого в заявлении о победе социализма на XVII съезде партии), оценка этой примирительной тенденции и ее места в общем политическом курсе остается предметом научной интерпретации.

Еще в 1946 году Николай Тимашев в «Большом отступлении» оценил культурные, социальные и идеологические изменения середины 1930-х годов как отход правительства от социалистических идеалов с целью заручиться поддержкой народа и стабилизировать общество^[66]. Для него советская конституция 1936 года была лишь декорацией. Недавние исследования не видят отступления от социализма со стороны правительства в этот период, а напротив – скорее своего рода релаксацию из-за предполагаемого достижения нового социалистического порядка. В то время как Терри Мартин делает акцент на обращении к традиционным ценностям в этот период, Дэвид Хоффманн и Мэтью Лено рассматривают изменения в официальной культуре, отмеченные Тимашевым: возвращение к семье, продвижение патриотизма, отход от лозунга мировой революции, – как прагматичную политику, как избирательное использование традиционных институтов и культуры в целях модернизаторской мобилизации^[67].

Остается вопрос, была ли относительная умеренность сознательной структурированной политикой. Ведь очень противоречивые и

непоследовательные шаги, предпринятые в середине 1930-х годов, с некоторыми вынужденными уступками реальности, продолжали включать репрессии. Этот период представлял собой типичную двойственную модель сталинской политики, когда неформальные нормы и практики сосуществовали с формальными правовыми структурами и часто доминировали над ними. Этот дуализм пронизывал всю политическую систему: когда правовая реформа 1934–1936 гг. сосуществовала с внеправовой практикой; когда свобода совести, провозглашенная во всех советских конституциях, нарушалась религиозными преследованиями; когда правовые нормы, установленные конституциями и санкционированные государственными органами, существовали параллельно с многочисленными (зачастую секретными) инструкциями, указаниями, постановлениями других органов – НКВД, партии, – что подрывало или искажало букву закона; когда номинальная система власти советов подменялась фактической властью Политбюро и диктатурой партии. Разрыв между утопическим социалистическим проектом и российскими реалиями породил эту двойственность и зигзаги в политике: 1) введение в 1921 году Новой экономической политики (тактическое отступление), 2) ее отмена в 1928 году (возобновление социалистической программы), 3) статья Сталина «Головокружение от успехов» в 1930 году, 4) германо-советский договор о ненападении 1939 года (ситуационный маневр) и другие. Такие зигзаги были спровоцированы несовместимостью утопических амбиций с давлением реальности, сопротивлением человеческой природы, и усугублялись волюнтаризмом, плохим управлением, догматизмом руководства и головокружительной скоростью преобразований.

Политические лидеры руководствовались видением великой цели – социалистического идеала, – но в то же время им приходилось справляться с несовершенствами, с которыми они сталкивались на практике: отсталое население, неуправляемые местные власти, пугающее иностранное окружение. Умеренные тенденции порождались обстоятельствами на двух причинно-следственных уровнях: во-первых, это была реактивная, ситуативная политика, корректировка после чрезвычайных ситуаций, и, во-вторых, на уровне метадискурса это было смягчение, обусловленное приходом социализма. В то время как некоторые умеренные шаги были

программными – политика в отношении молодежи или принятие конституции, другие были ситуативными – направленными на восстановление и исправление ошибок и перегибов, допущенных ранее. Конституция, особенно ее раздел, посвященный избирательной реформе, принадлежала к метанарративу победившего социализма, это было продолжением долгосрочной социалистической программы, а не сменой политического курса.

Историки видят признаки смягчения жесткого курса в экономической жизни, репрессиях и политических уступках, нашедших отражение в знаменитых сталинских лозунгах «Жить стало лучше, жить стало веселее!» и «Сын за отца не отвечает». Однако почти все уступки были половинчатыми, условными или вынужденными, чтобы исправить последствия прежней политики^[68].

В экономике целевые показатели и темпы второго пятилетнего плана (1933–1937 годы) были снижены, но в основном вследствие истощения ресурсов. Наконец, после десятилетнего пренебрежения, умеренные инвестиции были направлены в производство потребительских товаров, но не решили их острого дефицита. Хороший урожай 1933 года и конец страшного голода позволили стране перевести дух. Конец нормирования продуктов питания в 1934 году после шести лет карточной системы и разрешение свободной торговли хлебом в 1935 году стали важным, хотя и неустойчивым фактором, облегчающим жизнь людей. Свободная торговля хлебом, однако, была фактически приостановлена во время закупочной кампании осенью 1935 года, которая сопровождалась «чистками классовых, спекулятивных и воровских элементов» в аппарате закупок (на элеваторах, пунктах доставки), а затем летом 1936 года, когда НКВД запретил колхозам и частным лицам торговлю хлебом, зерном и мукой^[69]. Наряду с введением финансовых стимулов, рабочие столкнулись с новыми требованиями по повышению производительности труда. Официальное развертывание стахановского движения в августе 1935 года, также направленное на увеличение продуктивности, привело к поднятию норм и раздражению рабочих. Они жаловались, что не могут выполнять тяжелую физическую работу из-за недостаточного питания^[70]. Предсказуемыми последствиями стахановского движения стали перебои в трудовом процессе и новая напряженность между

рабочими, которые воспринимали повышенные нормы как эксплуатацию.

Несколько шагов было сделано в направлении ослабления репрессий: было принято решение Политбюро от 8 мая 1933 года частично разгрузить тюрьмы и пересмотреть применение закона от 7 августа 1932 года о хищении социалистической собственности. Эта коррекция, помимо победы над «классовым врагом в деревне», была вызвана кризисом (уже не первым) в переполненной пенитенциарной системе и нехваткой рабочей силы в сельском хозяйстве, например, в Украине, опустошенной голодом^[71]. Пара указов от 30 июня 1931 года и в мае 1934 года восстановили гражданские права некоторых категорий ссыльных кулаков, однако депортированные лица по-прежнему были ограничены в передвижении без права на возвращение домой^[72]. Другое решение, принятое ЦК в декабре 1935 года и отменившее запрет 1930 года, позволило ссыльным кулакам и их детям вступать в колхоз по месту ссылки, но не в родной деревне. Еще одной уступкой стало разрешение Политбюро от 9 февраля 1936 года для специалистов в изгнании работать по своей профессии на месте ссылки и получать образование их детям^[73].

Молодому поколению было сделано несколько уступок. Именно в декабре 1935 года на Всесоюзном собрании комбайнеров Сталин заявил: «сын за отца не отвечает», что звучало как отмена ранее необратимой социальной стигмы и вселяло надежду во многих детей репрессированных или отверженных родителей. Решения о подрастающем поколении носили стратегический характер. Поколение, вступившее в жизнь после революции и составлявшее 43 процента населения, воспринималось сталинистами как новая порода людей, незапятнанных буржуазным прошлым, и как резервуар лояльности. Во время таких событий исторического разрыва, как Октябрьская революция, процесс социализации был органическим у молодежи, но гораздо более проблематичным у взрослых, нуждавшихся в ресоциализации^[74]. Большевики это прекрасно понимали, когда во время культурной революции использовали напряженность в отношениях поколений и натравливали новое поколение профессионалов против старых специалистов, получивших образование при царском режиме. Иностраный наблюдатель д-р Райчман в 1936 году сообщал о «заметном преобладании молодежи

над старшим поколением... и растущем влиянии молодежи на социальную и политическую жизнь»^[75]. Стремясь расколоть угнетенное население – обычная практика сталинистов, – режим, например, отделял молодежь от старших в специальных трудовых поселениях псевдопривилегиями, такими как разрешение праздновать годовщину Октябрьской революции. В марте 1933 года дети кулаков получили право голоса, в декабре 1935 года правительственный указ отменил ограничения по признаку социального происхождения при поступлении в высшие учебные заведения. Эти уступки отражали убежденность партийных лидеров в том, что новая социалистическая среда играет первостепенную роль в политическом развитии человека. Искусственно увеличившийся разрыв между старшим и младшим поколениями способствовал расколу сталинского общества и социальной напряженности.

В 1935 году сроки изгнанных в 1930 году кулаков, насчитывавших около миллиона спецпоселенцев, закончились. 28 июля 1935 года Политбюро освободило от уголовной ответственности тех колхозников, которые были приговорены к лишению свободы на срок менее пяти лет (за исключением контрреволюционных преступлений). В результате к марту 1936 года в СССР было реабилитировано 557 964 колхозника, и кроме того в 1934 году – 212 199 крестьян в Украине^[76]. Хотя снятие судимостей с бывших осужденных формально означало восстановление всех гражданских прав и права на получение паспортов, в реальной жизни они продолжали носить ярлык «ненадежных элементов» и часто становились первыми объектами последующих массовых операций^[77]. Общее решение о возвращении депортированных не было принято, но отдельные индивидуальные и групповые ходатайства были удовлетворены, и в феврале 1936 года ссылка детей депортированных была отменена^[78]. Еще одним шагом стало освобождение 54 тысяч местных чиновников, «саботировавших» государственные закупки зерна в голодных 1932–1934 годах, в соответствии с решением Политбюро от 10 августа 1935 года. После указа от 1 февраля 1933 года 16 января 1936 года Политбюро приняло решение пересмотреть дела лиц, осужденных печально известным указом от 7 августа 1932 года, вводившего смертную казнь за хищение государственной собственности. В результате к 20 июля 1936 года

было рассмотрено 115 тысяч дел и освобождено 37 425 человек (32 процента)^[79].

Важным шагом к социальному примирению стало снятие в апреле 1936 года прежних ограничений с казаков, позволившее им теперь служить в Красной армии. Казаки объяснили уступки подготовкой страны к войне и нуждой в солдатах. Они говорили, что советская власть начала доверять казакам, потому что после многих лет репрессий в станицах «сейчас, можно сказать, и казаков-то не стало, все они то осуждены, то высланы... у нас в станицах и хуторах больше теперь не казаков, а иногородних»^[80]. Эта логика, вероятно, господствовала в ослаблении репрессий в целом. Другим компромиссом стал новый колхозный устав (Примерный устав сельскохозяйственной артели), принятый в феврале 1935 года и разрешающий колхозникам возделывать небольшие участки земли под огороды. Сталин играл роль заботливого отца, когда лично выступил в защиту идеи участка и его больших размеров на VII съезде Советов. Устав оставил право окончательного утверждения деталей колхозу в соответствии с местными условиями^[81]. Эта уступка, хотя она и была преподнесена как дар населению, была молчаливым признанием неспособности колхозной системы удовлетворить потребности страны в продовольствии.

Поворот к укреплению законности был попыткой упорядочить и контролировать произвол, царивший в ходе коллективизации. Этот поворот включал в себя создание Прокуратуры СССР^[82] в 1933 году и реорганизацию юридических органов в 1935–1936 годах с целью построения сильного, централизованного государства после предыдущей тенденции к упрощению судебного процесса и внесудебным репрессиям. Так, 10 июля 1931 года Политбюро запретило арест членов партии и специалистов без разрешения ЦК и потребовало, чтобы все смертные приговоры, вынесенные коллегией ОГПУ, утверждались ЦК^[83]. 8 мая 1933 года Сталин и Молотов секретной инструкцией упорядочивали процедуру ареста и уведомили ОГПУ и партийных чиновников, что новая прокуратура будет осуществлять надзор за репрессиями^[84]. Указ от 17 июня 1935 года подтвердил необходимость санкций прокурора и напомнил, что аресты членов партии, профессионалов и должностных лиц требуют

одобрения соответствующих министров и партийных комитетов^[85]. Прекращенные во времена Большого террора, прокурорские полномочия были восстановлены в ноябре 1938 года по приказу Л. П. Берии.

Внимание к вопросам законности очевидно в попытках повысить отчаянно низкую квалификацию сотрудников юридической службы. Л. М. Каганович и Г. Г. Ягода призывали в прессе развивать правовое сознание у населения. Реорганизация ОГПУ в НКВД в 1934 году преследовала ту же цель централизации насилия и придания этому институту более конституционного характера. Однако в связи с расширением круга задач, возложенных на политическую полицию, численность персонала Государственного управления государственной безопасности НКВД увеличилась на 47,3 процента с 1931 по 1935 год – до 25 573 человек^[86]. После масштабных внесудебных репрессий в ходе коллективизации и индустриализации «для упорядочения, консолидации... для обеспечения нормальной и предсказуемой работы ответственных институтов требовалась своего рода „конституционность“»^[87].

Умеренность сталинской политики в 1933–1936 гг., включая демократическую конституцию, не означала прекращения репрессий и мобилизаций как способа управления. Новые силы, заинтересованные в стабильности и законности, сосуществовали со старыми революционными привычками и практикой. Соперничество органов прокуратуры СССР во главе с Андреем Вышинским и Комиссариатом юстиции во главе с Николаем Крыленко способствовало нестабильности политики умеренности^[88]. С июля 1931 года сдвиг в практике вынесения приговоров от внесудебных органов в пользу юридических структур был прерван ростом внесудебных репрессий зимой 1932–1933 годов, связанных с голодом: внесудебные тройки (чрезвычайные трибуналы) были созданы в Украине в ноябре 1932 года, в Белоруссии в феврале 1933 года, в Западной Сибири в марте 1933 года, в Ленинграде в апреле 1933 года. Тройки также использовались в периодических массовых зачистках городов от преступников, бездомных детей, «лишенцев» и других маргинальных групп. Тем не менее, со второй половины 1931 года по 1936 год общий уровень массовых убийств со стороны органов государственной безопасности снизился с 20 201 в 1930 году до 1 118 в 1936 году^[89].

7 мая 1933 года Политбюро запретило тройкам выносить смертные приговоры (это право возобновилось во время Большого террора); на следующий день Сталин и Молотов издали секретные инструкции против беспорядочных массовых арестов тройками и потребовали сокращения численности заключенных в тюрьмах с 800 тысяч до 400 тысяч человек^[90]. Однако за 1932–1935 гг. численность заключенных в тюрьмах и лагерях вновь возросла на 210,9 процента и составила 1251 501 человек^[91]. Предпринятые шаги по упорядочиванию репрессий преследовали цель контроля и централизации, а не милосердия и гуманности, как это видно из риторики инструкций, в которых используются такие выражения, как «массовые беспорядочные аресты», «разгул», «жесткий контроль со стороны соответствующих органов», «рационализация», «организация» и, наконец, сердитое замечание: «Арестовывают все, кому только не лень, и кто, собственно говоря, не имеет никакого права арестовывать».

Период умеренности в эволюции сталинизма включал новые массовые операции: высылка 11 тысяч «бывших людей» и «оппозиционеров» из Ленинграда весной 1935 г., «ненадежных элементов» с западной границы^[92], преступников, хулиганов и «социально вредных элементов» из крупных городов^[93]. Как отметил Давид Ширер, режим «снизил уровень массовых репрессий в сельской местности (достаточно уже советизированной в глазах сталинистов. — *О. В.*) только чтобы усилить чистки... в городах и других районах», репрессируя множество людей, маргинализированных разрушительной политикой режима, тем самым выправляя последствия коллективизации. Весной 1936 года начался новый виток репрессий в Коминтерне и против троцкистско-зиновьевских оппозиционеров. Эти чистки были направлены не только против преступников и оппозиционеров, но и против определенных категорий населения. Жертвы коллективизации и голода, несмотря на введение паспортной системы и закона о регистрации по месту жительства, массово мигрировали в города, занимались попрошайничеством, проституцией и воровством, дестабилизировали социальный порядок и инфраструктуру. Если учитывать «кампании социальной защиты» середины 1930-х годов, когда сотни тысяч людей были депортированы из городов и других стратегических областей^[94], картина умеренности как сознательной политики становится не столь убедительной. Арест,

депортация и ссылка оставались рабочими инструментами государственного управления в середине 1930-х годов – «кнутом» в классическом сочетании «кнут и пряник». «Таким образом, в середине 1930-х годов не было никакого „ослабления“ репрессий, как прежде часто утверждалось. Скорее, их характер изменился»^[95].

Некоторые уступки продолжались и во время Большого террора – тем самым размывая границы между периодом примирения и репрессиями. В 1937–1938 годах правительство продолжало корректировать и исправлять последствия прежней карательной политики. Проводились кампании «укрепления социалистической законности» и «примирения с осужденными социально близкими»: например, 23 октября 1937 года Политбюро издало приказ о проведении всесоюзной прокурорской проверки уголовных дел руководителей колхозов и сельских советов, начиная с 1934 года. За этим последовал еще один приказ Политбюро, согласно которому были прекращены дела и освобождены колхозники, обвиняемые в мелких преступлениях. В результате были пересмотрены дела 1176 тысяч человек: закрыто 107 тысяч дел, реабилитировано 480 тысяч и освобождено 23 тысяч человек. Другим указом от 10 ноября 1937 года осуждалась дискриминация молодых людей, отчисленных из учебных заведений по причине их связи с осужденными. В январе 1938 года Политбюро осудило увольнение с работы родственников осужденных; после указа Пленума ЦК «Об ошибочном исключении членов партии» многие были восстановлены в партии^[96]. Конечно, апокалиптические масштабы одновременных репрессий и массовые расстрелы не позволяют рассматривать описанные уступки как умеренную политику, а скорее как меры корректировки. Эпизоды уступок 1937–1938 годов (если они были реализованы) свидетельствуют против преувеличения значения подобных шагов в 1933–1936 годах как политической реформы.

Описанные уступки середины 1930-х годов дали историкам основания интерпретировать их как относительную либерализацию и объяснить ее позитивной тенденцией экономического развития, а также международными и политическими факторами. Авторы не достигли консенсуса по характеру этого процесса; неопределенность выражается в маркировке термина «умеренность» кавычками или вопросительными знаками^[97]. Большинство историков

интерпретируют эти политические коррективы как часть плана восстановления социальной стабильности внутри страны и позитивного имиджа СССР за ее пределами, а также как следствие баланса сил в высших эшелонах власти. Хлевнюк определяет это как изменение политического курса^[98]; Гетти – как намерение Сталина ввести демократические реформы, основанные на широком участии населения^[99]. Термины *демократизация, программа* и *смена курса*, однако, на мой взгляд, чересчур радикальны, поскольку предполагают наличие четко выраженных намерений, планов и последовательности в проведении. Такая демократическая реформа, несомненно, должна была как-то обсуждаться в Кремле и соответственно записываться (как, например, избирательная реформа), но у нас нет таких свидетельств. Записей нет, потому что релаксация по умолчанию подразумевалась самоочевидным результатом завершения плана Ленина по строительству социализма. Лидеры оставались марксистами-ленинистами, мыслящими в больших терминах социализма. Победа социализма, объявленная на XVII съезде партии, подразумевала, что излишнее давление теперь не требуется. «В результате наших успехов в деревне [разгром классовых врагов] наступил момент, когда мы уже не нуждаемся в массовых репрессиях»^[100]. В следующей главе я предлагаю свое толкование того, что ожидания правительства (а не планы) смягчения (не реформы) политики относились к метанарративу победы социализма на основе пятилетнего плана и ликвидации «врагов». Поскольку сталинисты маневрировали между парадигматическими ожиданиями торжества социализма и *realpolitik* в повседневном управлении, им не удавалось провести последовательную политику.

Глава 5

Мотивы новой Конституции

5.1. Внешнеполитический фактор

Новые архивные документы о ранней стадии конституционной реформы позволяют понять ее основные мотивы как на национальном, так и на международном уровне.

Традиционное объяснение подчеркивает, что конституция 1936 года была разработана в первую очередь для внешнего использования: произвести впечатление альтернативой социализма на Запад и европейскую общественность, обеспокоенную ростом фашизма и экономическим кризисом, а также укрепить репутацию Советского Союза среди западных демократий для привлечения союзников. В ходе подготовки проекта члены конституционной комиссии изучали и обсуждали тексты иностранных конституций в качестве моделей, однако в публичных сообщениях они постоянно обесценивали их, противопоставляя социалистическую (реальную) и буржуазную (поддельную) демократию. В своем освещении конституции «Правда» постоянно представляла реакцию иностранной общественности, как политиков, так и рабочих и иностранных коммунистов, которые не переставали подчеркивать ведущую роль СССР в продвижении демократии. Такое освещение отражало ожидания и цели партийного руководства.

Конституция представляла собой своего рода демократическую самопрезентацию в разделенном мире и, несомненно, она произвела впечатление на многих. Перед лицом роста фашизма и агрессивности милитаристов, оккупации Японией Маньчжурии в 1931 году и особенно победы Гитлера в Германии в 1933 году, СССР был вынужден пересмотреть свои внешние отношения и, в частности, найти новых союзников. В 1934 году СССР вступил в Лигу Наций. Летом 1935 года Коммунистический интернационал принял тактику антифашистского народного фронта, а в дипломатической сфере создавалась система «коллективной безопасности» для противодействия агрессивным намерениям нацистской Германии и

фашистской Италии. Однако репутация СССР не была демократической: «идея о том, что Сталин создал деспотическую форму личного правления, утвердилась в 1936 году» в западных странах и даже в коммунистических кругах^[101].

В поисках союзников в Европе Сталин стремился смягчить и либерализовать имидж СССР перед миром и подтвердить приверженность Советского Союза принципам демократии. Советский вариант демократии был продемонстрирован на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. На специальном стенде была представлена принятая советская конституция с ее положениями, гарантирующими полную занятость, бесплатное образование и медицинское обслуживание граждан.

Среди прочих мотивов международный имидж СССР, безусловно, присутствовал в сознании лидеров в 1935 году, когда они обсуждали вопрос о пересмотре конституции. Интернациональный фактор часто считается главным из сталинских мотивов либерализации политики^[102]. Это верно, руководство повторяло тезис о международном престиже, но в основном он выступал как вторичный фактор по отношению к внутренним целям. 25 января 1935 года в рабочей записке Сталина Политбюро о внесении изменений в конституцию и избирательный закон в связи с социальными изменениями мы читаем: «*Кроме того*, реформа необходима с учетом интересов международного революционного движения, поскольку эта реформа будет играть роль сильного оружия против международного фашизма»^[103]. В августе 1934 г. и вновь на VII съезде Советов в феврале 1935 г. Молотов аналогичным образом оправдывал кампанию за «революционную законность» как способ повышения авторитета партии «не только внутри, *но и* за пределами Советского Союза»^[104].

Уже не в первый раз внешнеполитические соображения оказывали влияние на принятие основного закона. В 1905 году, помимо революционного общества, пустая казна и давление со стороны иностранных банкиров, обещавших царскому правительству столь необходимый кредит на условиях парламентской реформы, вынудили царя учредить Думу и принять символическую конституцию^[105]. В 1936 году интерес к союзу с западными демократиями, а также интересы Коминтерна вновь способствовали проведению конституционной реформы. Позитивный внешний облик СССР,

позиционировавшего себя «факелом свободы для трудящихся всего мира», был постоянным предметом озабоченности руководства в эти годы, и конституция была инструментом манипулирования как советским, так и мировым общественным мнением.

С этой же целью приглашались в СССР западные левые писатели – Лион Фейхтвангер, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Андре Жид, – публиковавшие в последующем просоветские тексты (кроме книги Жида). Генеральный секретарь Исполнительного комитета Коминтерна Георгий Димитров в шифровке зарубежным коммунистам от 21 ноября 1936 года инструктировал их, что нужно развернуть кампании в прессе компартий по популяризации сталинской конституции «как конкретного осуществления принципов Коммунистического Манифеста Маркса и Энгельса»^[106]. Однако, в контексте других кампаний в зарубежной прессе по указаниям из Москвы, инструкции о конституционной кампании никак не усиливают аргумент в пользу внешнего фактора принятия конституции.

Советские дипломаты в Вашингтоне проанализировали сообщения американской прессы в июне и июле 1936 года и сообщили о доверительной, в целом, реакции в США на советскую конституцию. Американская пресса отметила отсутствие целей мировой революции в документе, в отличие от прежних вариантов. Хотя дипломаты могли адаптировать свои отчеты к ожиданиям в Кремле, они описывали и скептические высказывания «подождем – увидим», звучавшие в Соединенных Штатах: «Добровольное самоограничение диктатуры беспрецедентно в истории... Неизменность однопартийной системы ограничивает масштаб реформ». На основании только одного этого доклада дипломатов – возможно, угоднического, – А. Н. Медушевский пришел к выводу о чрезвычайно успешном пропагандистском эффекте «конституционного трюка, который надолго сформировал положительный имидж сталинизма на Западе»^[107]. Если американский прием и был относительно положительным, то он все же был весьма осторожным и кратковременным. Британские дипломаты, напротив, относились к новой конституции скептически.

Уже к августу 1936 года международный имидж демократического СССР, который Сталин хотел преподнести внешнему миру, был оппортунистически принесен Сталиным в жертву «нуждам» внутренней безопасности, как он их понимал. Показательный

судебный процесс над зиновьевцами и троцкистами прошел в Москве и вызвал международный резонанс. Новости о показательных судебных процессах в СССР, а затем отмена состязательности в выборах в Верховный Совет в октябре 1937 года дискредитировали сталинский режим в глазах европейского общественного мнения и пресекли попытки левых сотрудничать в рамках политики народного фронта^[108]. Некоторые левые авторы, побывавшие в СССР, например Лион Фейхтвангер и Ромен Роллан, позже в частной переписке признавали, что они не знают, что говорить общественности в своих странах и как «защищать социализм», когда известия об арестах в СССР в 1937 году дошли до западной аудитории^[109].

Поскольку мы узнали, что конституционный проект возник как избирательная реформа в основном внутреннего значения и что международный престиж был легко принесен в жертву страху Сталина перед «пятой колонной» внутри страны, международный мотив, хотя и остается актуальным, теряет доминирующие позиции среди причин пересмотра конституции. Международный фактор, связанный с долгосрочной целью глобализации социализма и с восприятием советскими лидерами внешней угрозы, создавал контекст, или предварительное условие по категоризации А. Гетти, для национальной политики. Гетти рассматривает предварительное условие как «долгосрочную ситуацию, создающую условия, в которых могут происходить крупные события» или возникать возможности. Используя подход Лоуренса Стоуна к английской революции^[110], Гетти представляет новое восприятие руководством «неожиданных опасностей, связанных с принятой конституцией» на выборах 1937 года (см. гл. 12), как ускоритель или среднесрочное событие, которое создает вероятность. Триггеры, непосредственные краткосрочные события или ситуации, такие как личные решения, превращают вероятность в определенность^[111]. Эта теория «многослойных» исторических причин помогает понять различную степень влияния международных, идеологических и политических факторов при пересмотре конституции. Реализация социалистического проекта как спекулятивного и далекого от реальности, особенно в российских условиях, слишком часто приводила к неожиданным или непреднамеренным, нежелательным результатам, которые требовали корректировок, что в свою очередь приводило к разнонаправленной

политике (как, например, в повороте к законности и одновременной внесудебной практике; см. гл. 4 и 9). Идеологический фактор, о котором пойдет речь далее, также относился к категории предварительных условий или контекста пересмотра конституции.

5.2. Идеологический фактор

Среди мотивов новой конституции особо важную роль играли идеологические основания, очевидные не только в пропаганде, но и в убеждениях и практических шагах лидеров.

Первая конституция 1918 года провозгласила цель «полной ликвидации разделения общества на классы». Когда Сталин начал «социалистическое наступление» в соответствии со своим пониманием марксизма и плана Ленина, он поставил перед страной грандиозную цель и пообещал достижение социализма и процветания в результате пятилетнего плана. Конституция 1936 года венчала эту идеологическую программу как выполненную.

Теперь, когда у нас есть доступ к личной переписке и рабочим записям советских руководителей, мы можем исследовать их глубинные мотивы. В середине 1930-х годов Енукидзе, Молотов, Ежов и Сталин неоднократно заявляли в различных обстоятельствах, что великие цели социалистического наступления были в основном достигнуты. Они видели победу социализма в экономике и в изменениях в социальной и классовой структуре. Согласно марксистской теории, изменения в базисе (производственные отношения) почти автоматически формируют надстройку (идеи, ценности, убеждения, религию, образование, в целом – культуру и общественные отношения). Надстройка вырастает из базиса. После преобразования производственных отношений и уничтожения частной собственности сначала в промышленности, а потом в сельском хозяйстве, XVII партийная конференция в феврале 1932 года сформулировала политическую задачу на вторую пятилетку (1933–1937 гг.): покончить с капиталистическими элементами и разделением общества на классы и сформировать общество трудящихся из сознательных и активных граждан. Этот тезис широко пропагандировался. Когда летом 1933 года отмечалась годовщина первой советской конституции, ленинградские рабочие после трудовой смены выслушивали бесконечные политические лекции. Их главным сюжетом был тезис об установлении бесклассового общества к концу второго пятилетнего плана и ликвидации всех буржуазных классов^[112].

Видение нового качества общественных отношений выражалось в переходе официальной риторики от классового дискурса к наднациональному дискурсу народа. Эта смена дискурса отражала крах целостной классовой структуры общества как результат сталинской революции сверху^[113]. Дэвид Бранденбергер отметил сдвиг в советской пропаганде того времени, которая перешла от определения рабочих как передового класса советского общества к иному видению: «Теперь русский народ принимает на себя функции передовой нации»^[114]. Во второй половине 1930-х гг. классовый дискурс постепенно отступал, сменившись национальным дискурсом, а затем проповедью о наднациональности «новой исторической общности» советского народа, подразумевающей социалистические, интеграционные и империалистические качества. В этом более широком контексте дискурс о классе, социальном происхождении и лишении гражданских прав угасал в преддверии появления гармоничного советского единства, когда «границы между классами и национальностями стираются».

В новом социалистическом обществе должны жить новые мужчины и женщины. Газеты раздували достижения стахановцев как свидетельство того, что «появилась новая социалистическая личность». Выросла молодая, лояльная интеллигенция. Грамотность была объявлена всеобщей. Потребление водки падало (отметим, что за счет самогона). Коллективный труд в спецпоселениях, колхозах и на стройплощадках, таких как губительный Беломорканал, превращал преступников и кулаков в полезных социалистических граждан. Социалистический реализм в литературе и искусстве представлял образы героев, которым можно было бы подражать. Писатели своим творчеством формировали новые советские души. «Бывшие люди», преобразенные социалистической средой, «на деле и на словах отказались от своего прошлого и доказали свою верность советскому делу»^[115]. Писатель А. М. Горький, вернувшись из эмиграции в Советский Союз в 1932 году, заявил, что поражен тем, как изменилось население после революции: массы людей обрели политическое сознание. Согласно газетам, новая советская личность – трудолюбивая, преданная социализму, образованная, ставящая общественное благо над индивидуальным – стала реальностью, хотя еще и не массовым явлением.

Заявления о том, что «социализм, первая фаза коммунизма, в основном, был построен» в СССР, были оглашены на XVII съезде партии в 1934 году, названном поэтому съездом «победителей». Еще больше таких заявлений прозвучало на VII съезде Коммунистического Интернационала в июле–августе 1935 года, где обсуждались результаты строительства социализма в СССР и его значение в контексте мировой революции. Эти декларации были направлены на то, чтобы показать своим гражданам и всему миру, насколько сильным и успешным стал СССР. Конечно, это была пропагандистская мантра, но не только это. Внутренние сношения показывают, насколько серьезно лидеры воспринимали этот тезис. Обращаясь к партийной элите на Пленуме ЦК 1 июня 1935 года Сталин сказал: «Проект конституции станет своего рода кодексом основных достижений рабочих и крестьян нашей страны, указателем достижений, за которые сражался народ, и который означает победу социализма»^[116]. И снова в личном письме Молотову от 26 сентября 1935 года: «Что я думаю о конституции, мы не должны смешивать ее с партийной программой. В ней [конституции] должно содержаться то, что уже достигнуто. В то время как программа [партии] должна содержать то, чего мы пытаемся достичь»^[117]. Дэвид Хоффманн заметил: «В частной обстановке и публично партийные лидеры подчеркивали достижение социализма и „новой классовой структуры“ как причину принятия новой конституции»^[118]. Важность этого идеологического фактора нашла отражение в работе высланного бывшего члена Политбюро Л. Троцкого «Преданная революция» (опубликована в августе 1936 года), в которой опровергалось, что в России был достигнут социализм.

Все это показывает, что тезис «победы социализма» имел не только пропагандистское значение, но и выражал глубокую веру большевиков, с их чрезмерным завышением роли человеческого фактора и воли в истории, с их догматическим пониманием марксизма и, в конце концов, с их неистребимой склонностью принимать желаемое за действительное. Идея построения социализма была движущей силой всей и всякой политики, хотя эта политика часто порождала непредвиденные угрозы.

Похоже, Сталин твердо верил в силу слов, идей и воли в формировании реальности, названной Сарой Дэвис и Джеймсом Харрисом сталинским логоцентризмом. В 1920-х годах набирало силу

общее убеждение, что можно изменить сознание человека, используя правильные слова – идея о том, что «язык может служить решающим средством для революционных преобразований»^[119]. Наследник философии Просвещения, Сталин считал, что слова просвещения и пропаганды, будь то партийная пропаганда или «кулацкая агитация», всемогущи в своей способности менять личность и психологию. Исходя из этого, он рассматривал соперничающие идеологии и тексты как «эквивалент политического восстания»^[120]. Нужные нормы навязывались государством обществу с помощью риторических инструментов, таких как приписывание имен и ярлыков («социализм», «кулак», «враг народа»), монополизация власти по наименованию и производству политических идей^[121] или насаждение паттернов речи, поведения, мышления и государственной повестки дня. Стратегии дискурса структурировали социальную реальность, поощряя языковые паттерны в соответствии с официальной идеологией, такие как «достижения социализма», и подавляя «неправильные» паттерны. Слова «голод», «репрессии», «крестьянские восстания» были исключены из официальной и общественной повестки дня, скрыты, стали «несуществующими» и заменены на «продовольственные трудности» и «саботаж кулаков». Евгений Добренко описывает социализм как чистую репрезентацию, прослеживая увлечение русских театрализацией реальности с XVIII века. Он много цитирует Мераба Мамардашвили, который назвал это явление «логократией», с «магическим мышлением, в котором считалось, что слова составляют саму реальность... Если что-то не имеет названия... мы не можем понять этого»^[122].

Была ли декларация достижения социализма всего лишь маркетинговым и мобилизационным трюком? За исключением А. Медушевского, современные историки отходят от представления о конституционной кампании как о спланированном «сознательном приеме» обмана населения^[123]. Все большее число историков, изучающих различные направления политики, приходят к выводу, что между словами Сталина и его делами был удивительно малый разрыв. Многие сталинисты «верили в то, что они говорили»^[124]. Так что конституция с ее декларацией победы была дезидератом, но лидеры – в нашем случае Енукудзе, Молотов и Сталин – верили в ее реальность. Они были узниками идеологической конструкции, которую они

создали, заложниками искаженной информации, которую они получали, и своих восприятий и верований: они не хотели видеть реальные, противоречивые обстоятельства.

Согласно Ленину и Сталину, основными шагами на пути к социализму были ликвидация рынка и частной собственности, внедрение планирования и системы социального обеспечения, а также индустриализация и развитие технологий, коллективизация и механизация сельского хозяйства, перевоспитание и просвещение населения. Наряду с экономическими преобразованиями, социальные и культурные сдвиги постоянно находились в поле внимания партии, в частности, в продвижении культурной революции. В передовице «Правды» в июне 1936 года подчеркивался успех процесса перевоспитания бывших эксплуататорских классов и интеллигенции под руководством большевистской партии в годы революции и особенно во времена пятилеток: «Социалистический труд, как очищающий дождь, смыл и смывает с людей советской земли всю вековую накипь буржуазной психологии и морали, буржуазных устремлений и верований». «Девятнадцать лет революции очистительным свежим ветром прошли по нашей необъятной родине». Молотов видел признак появления нового социалистического человека и повышения культурного уровня рабочих в том числе и в снижении потребления водки^[125].

Важной идеологемой успешной трансформации была дружба народов. В декабре 1935 года Сталин начал пропагандистскую кампанию в прессе, в ходе которой он приветствовал советский патриотизм и «межэтническое сотрудничество и расовое согласие, ставшие возможными благодаря социализму»^[126]. Это сделало возможным слияние национальностей в единый советский народ, свободный от национальных предрассудков, спаянный в «братском сотрудничестве национальностей», как подчеркнул Сталин в своем выступлении по случаю принятия конституции. Коллективизация преобразовала сельское хозяйство и крестьян, их мелкобуржуазный образ мышления и их отношение к средствам производства. Будучи участниками коллективного труда, они приобретали социалистическое сознание. Индустриализация создала растущий рабочий класс. Старая техническая интеллигенция, подозреваемая и преследуемая после Шахтинского суда (1928), частично обновилась за счет

свежеобученной когорты специалистов, встала на сторону социализма и не представляла больше угрозы, как было заявлено Сталиным в его речи «Новые условия» в 1931 году^[127]. Как только эти преобразования в СССР были более или менее завершены, большевики сочли, что общество приближается к «земле обетованной» – если бы только последние враги не мешали строительству социализма. «Коммунисты считали, что бесклассовое общество будущего предопределено всем процессом исторического развития»^[128].

Этот идеологический фактор часто интерпретировался в литературе как инструмент пропаганды. Историки и общественность не верили искренности советских политиков и искали тайную повестку дня за их публичными заявлениями. Однако имеющиеся документы показывают, что Сталин и его приближенные по-видимому искренне верили в то, что они публично говорили о целях конституции. Два основных аргумента помогли мне оценить «подлинность» сталинских представлений. Один из них основан на доказательствах, а другой – на отсутствии доказательств. Доказательства основаны на текстах: переписка Сталина с соратниками, которую никогда не предполагалось предавать огласке, как мы видели, вновь и вновь подтверждает их веру в достижения социализма. Весьма маловероятно, что сталинисты систематически и сознательно лгали себе и друг другу в частных обсуждениях. Это говорит в пользу того, что у нас есть доступ к подлинному процессу мышления Сталина. Отсутствие доказательств состоит в том, что Сталин не говорит и не пишет: «Я верю в одно, но перед публикой мы будем утверждать обратное». Как в официальном дискурсе, так и в неформальном общении с коллегами Сталин прямо повторял одни и те же идеи. Документы, доступные историкам, не дают текстовых свидетельств скрытых намерений в отношении провозглашенных целей конституции и выборов.

Не только их слова, но и реальные политические шаги в этом направлении свидетельствуют об искренней вере лидеров в успех социализма в СССР: предоставление права голоса бывшим врагам, подтверждение права республик на выход из СССР, значительное, хотя и не всеохватывающее расширение объявленных конституцией мер социального обеспечения, поддержка крестьян в надвигающемся в 1936 году голоде. В отличие от голода 1932 года, в 1936 году власти не подвергали крестьян как класс наказанию за саботаж при проведении

государственных закупок^[129]. В 1936 году власть считала крестьян успешно коллективизированными, социалистическими, а врагов (кулаков) истребленными. Поэтому голодающим деревням была оказана продовольственная помощь и обеспечены некоторые социальные льготы. Предоставление избирательного права бывшим «врагам» в разгар кампании повышения бдительности и против «вредительства» не имеет иного объяснения, кроме идеологических соображений о новом социалистическом состоянии общества. Расширение социальных льгот также отражало понимание сталинистами продвижения к социализму в результате ликвидации враждебных капиталистических элементов^[130]. Таким образом, большевики, выдавая желаемое за действительное и стремясь видеть свою программу выполненной и социализм осуществленным, закрывали глаза на реальные условия и отмечали это достижение конституцией, которая официально объявила о победе.

Еще один документ показывает искреннюю веру сталинистов в то, что пришло время перейти к большей демократии – предсмертное письмо Н. Бухарина Сталину. Арестованный 27 февраля 1937 года, кандидат в члены ЦК написал это письмо в тюрьме 10 декабря 1937 года, стремясь спасти свою жизнь. Изолированный с февраля, он пытался понять ситуацию. «...Я, думая над тем, что происходит [в нашей стране], соорудил примерно такую концепцию: Есть какая-то *большая и смелая политическая идея* генеральной чистки а) в связи с предвоенным временем, б) в связи с переходом к демократии. Эта чистка захватывает а) виновных, б) подозрительных и с) потенциально подозрительных»^[131]. Бухарин был членом конституционной комиссии и знал глубокие истоки этого проекта. Его предсмертное письмо подразумевает, что переход к демократии, по крайней мере до февральско-мартовского пленума 1937 года, воспринимался всерьез и как реальность, а не как уловка. Его жена А. Ларина вспоминала: «Да, казалось Н. И., что в 1935 году начала меняться общая идеологическая атмосфера. Он надеялся на демократизацию общества в связи с проектом новой конституции, правовая часть которой была написана Бухариным»^[132]. Он объяснял репрессии, жертвами которых он стал, как предвыборную чистку потенциальных врагов. Согласно письму, до пленума, насколько было известно Бухарину, не планировалось проведение кампании массовых репрессий.

Феномен социалистического реализма помогает нам понять позицию партийных лидеров. Изображая жизнь, какой она должна быть, конституция, как и социалистический реализм, претендует на то, что она не просто отражает реальность, но и преобразует ее. Искусство и конституция были одинаково ориентированы только на желаемые элементы социалистической жизни, обеспечивая образец для подражания и закон для выполнения. Социализм был уже здесь «в принципе», и незначительные несовершенства вскоре будут исправлены или вычищены (массовыми чистками!).

Пришвин в своем дневнике помогает нам понять такое мировидение Сталина. 20 апреля 1950 года он пишет: «Сталин, конечно, прав... что у нас нет заключенных. Так он верит в коммунизм, что нынешнее положение с заключенными считает временным и несущественным, как верит в свободное слово, что нынешнюю цензуру ни во что не ставит: это скоро пройдет»^[133]. Власть настолько была устремлена в будущее (к идеалу), что значение настоящего времени (реальности) для нее сходило на нет.

Догматическое и упрощенное понимание доктрин Маркса^[134] и искаженная картина результатов первого пятилетнего плана позволили Сталину объявить о триумфе социализма в СССР, обещанного ранее и столь долгожданного для изможденного населения. Провозглашенное примирение классов – главный посыл избирательной реформы – соответствовало эсхатологическому идеалу социализма как государства, свободного от конфликтов, и партийные лидеры так серьезно относились к нему, что осмелились предоставить всеобщее тайное избирательное право. Теперь, когда все классы (крестьяне и рабочие) стали социалистическими и лояльными, по мнению Сталина и Енукидзе, правительство могло предоставить право голоса бывшим врагам (кулакам, священникам и «бывшим людям»), расширить социальные льготы и даже помочь коллективизированным крестьянам в борьбе с голодом. Сталинское видение реализованного социализма и преобразованного крестьянства объясняет, почему возникла идея избирательной реформы с предоставлением права голоса бывшим врагам, но позже, когда абстракция (гармоничное общество) показала свое противоречие с реальностью (предупреждения о скрытых врагах и сопротивление партийных баронов, см. об этом в гл. 10), наиболее

смелая часть конституционной реформы – конкурентные выборы – была кастрирована, и конституция стала фикцией.

Обзор страниц «Правды» в июне – июле 1936 года может помочь нам понять, как этот важнейший идеологический нарратив успеха социализма был использован пропагандой. Освещение проекта новой конституции началось после июньского Пленума ЦК и получило новый импульс после опубликования проекта 12 июня. Статьи в газетах, посвященные свободе слова и собраний, структуре нового Верховного Совета и его функциям, знакомили читателей с принципами конституции. Эти публикации первых дней и недель общенациональной дискуссии имели решающее значение, поскольку они определили повестку дня и представили «нормативный стандарт» для общества. Риторика репортажей о народной реакции, включая письма, представленные как оригинальные, очень близко соответствовала словарному запасу и образам редакционных статей, выступлений Молотова и Калинина. Главный партийный орган представлял официальный дискурс, даже когда он имитировал крестьянскую речь (например, «трудовая спинушка крестьянина») в опубликованных комментариях с явными следами редактирования. Эти комментарии рабочих и колхозников, отобранные для публикации, если они подлинны, показывают, что авторы писем успешно овладели новой речью. Освоение нового политического языка было условием принадлежности к советскому обществу и зачастую ключом к продвижению и даже выживанию. Как комментарии публики, так и официальные статьи на страницах «Правды» отличались однообразным словарным запасом, жаргоном, метафорами и основными темами. До 6 августа, когда впервые появились материалы суда над троцкистами-зиновьевцами и отвлекли внимание читателей, в конституционных материалах газеты преобладали семь нарративов.

Главной темой рупора партии были достижения СССР, доказывавшие становление социализма: полная занятость, равенство женщин, искоренение национальных и расовых предрассудков, бесплатное образование. Достижения, воплощенные в конституции, должны были вдохновлять население на повышение производительности труда и урожая – вторая тема газеты. «Руководитель московских большевиков [Н. С. Хрущев] призывает коллектив завода [имени Владимира Ильича] ответить на Сталинскую

конституцию новым подъемом стахановского движения, повышением производительности и перевыполнением производственной программы». Авторы писем охотно отвечали на эти требования: ударница «Ганна Кошечая заявила, что обязуется дать не 800 центнеров [свеклы] с гектара, как это она раньше обещала, а 1 тысячу»^[135]. В риторике газеты достижения социализма были представлены как дар власти населению с расчетом на ответный подарок – повышение производительности.

Далее, почти все личные письма, а также выступления официальных лиц начинались с исторического или биографического введения, которое противопоставляло дореволюционное темное прошлое нынешней счастливой и благополучной жизни. Подобные параграфы о тяжелом прошлом были неотъемлемой частью типичных советских жалоб, описанных Матью Лено. По словам Нэнси Рис, рассказы о тяжелой жизни до революции превратили жалобы в «ритуальный дискурс», посредством которого простые люди осваивали и обсуждали вопросы политики, экономики и права. Комментарии «лишенцев» отражали ту же траекторию: переход от кулацкого прошлого к свету и сознанию, а затем, наконец, в соответствии с конституцией, к полноправному гражданству.

Я стал полноправным гражданином. Мой отец был кулаком, деревенским мельником... Сам я тоже занимался некоторое время отцовским делом. В 1929 году я был отправлен в Вишерские лагеря, где я и пробыл почти четыре года. Из лагерей меня досрочно освободили и я уехал к себе на родину, в Орел. Однако устроиться на работу мне не удалось: надо мной довели социальное происхождение моего отца и мое собственное недавнее пребывание в лагере. Я обратился к органам НКВД и поступил в качестве вольнонаемного на канал Волга-Москва... Теперь я ударник... Прочитав проект Конституции я почувствовал огромный прилив энергии... Ведь Конституция предоставляет каждому гражданину советской страны, вне зависимости от его прошлого, права на труд, на отдых, на образование! ...Я решил, как только окончим канал... пойду учиться и сделаюсь настоящим инженером^[136].

Это омрачение прошлого навязывало гражданам положительную картину настоящего, тем самым конструируя память и манипулируя восприятием настоящего. Официальная мрачная картина прошлого резко контрастировала с популярным среди старшего поколения нарративом, который постоянно сравнивал нынешние трудности с дореволюционной жизнью в относительном благополучии^[137].

Комментарии бывших лишенцев часто заканчивались истерическими похвалами Сталину с целью продемонстрировать свою лояльность и закрепить за собой вновь обретенное место в обществе. «Спасибо, товарищ Сталин» была четвертой среди наиболее распространенных тем в дискуссионных материалах на страницах «Правды». Затем следовали ссылки на международное сообщество, которое, по мнению сталинистов, либо замалчивало советскую конституцию (правительства), либо приветствовало ее демократический характер (международное коммунистическое движение). Настойчивое использование фразы «пример всему трудовому человечеству» выявляло миссионерскую составляющую в идеологии большевиков, считавших себя призванными принести гармонию всему человечеству. Слово «пример» говорит в пользу международного фактора среди мотивов принятия конституции. Внешнеполитическая перспектива была озвучена в другом нарративе на страницах газет – выражении готовности защищать провозглашенные в конституции достижения социализма. «Любой гражданин с радостью пожертвует жизнью ради защиты нашей страны!» Эту тему поднимали военные, а еще чаще гражданские лица, например, работник Верх-Исетского завода Алексей Третьяков. Коллективное письмо 89-й авиационной эскадрильи предупреждало, что «наши враги готовятся к войне и изобретают сатанинские средства уничтожения людей». Они озаглавили свое письмо «У нас есть все для защиты новой Конституции» и уточнили, каким совершенным оружием обладают – новыми самолетами, танками, артиллерией, катерами и химическим оружием^[138]. Последним из наиболее влиятельных нарративов были призывы повысить уровень бдительности по отношению к врагам, которые, несмотря на свое перевоспитание, могут оставаться враждебными, как, например, священники. «Правда» была партийным рупором, который

транслировал идеологические установки массам и формировал повестку дня, указывая публике, что думать.

5.3. Внутриполитический фактор

Как всегда в истории, конституционную реформу мотивировали многочисленные причины. Она не предполагала ограничений на действия правительства, как подразумевает западное понятие «конституционализм». Ее функции были другими. В этой главе я доказываю, что среди прочих политических мотивов была управленческая цель: повышение эффективности управления посредством нового закона о выборах – использование демократических процедур для мотивации, оживления и очищения вялой и коррумпированной местной элиты.

Обсуждая мотивы власти в изменении конституции, историки указывают на идеологические и международные факторы, а также на восстановление социальной стабильности и политической легитимности (см. главу 7), которые были подорваны в результате социальных катастроф первой пятилетки^[139]. Они рассматривают ряд внутриполитических факторов, мотивировавших власть. Юрий Жуков в своих весьма тенденциозных публикациях представляет Сталина как инициатора и организатора демократических реформ, блокированных усилиями высокопоставленных чиновников – «фундаменталистов», которые сговорились против него и тем самым подтолкнули генерального секретаря к репрессиям, например, в случае с Енукидзе. Шейла Фицпатрик предполагает, что «на более раннем этапе был реальный импульс к демократизации, но этот импульс почти полностью исчез... к... февральско-мартовскому пленуму [1937 г.] и программа пошла по инерции. ...Если это действительно был эксперимент в советской демократии, то он был мертворожденным»^[140]. Арч Гетти также рассматривает конституционные уступки как попытку демократических реформ со стратегической целью расширения социальной базы диктатуры через активное участие населения и политическое просвещение, но без подлинной демократизации^[141].

Недавно Арч Гетти и Венди Голдман исследовали использование Сталиным новой конституции в качестве оружия в его борьбе с региональными элитами. Венди Голдман поддерживает идею о том, что одной из целей избирательной реформы была борьба центра за

контроль над местными кадрами, которые часто отдавали приоритет клановым интересам и проявляли вялость, инерцию или произвол при реализации политики Москвы (включая обсуждение конституции)^[142]. Как заключает Голдман, сталинская демократия была не только способом завоевания народной поддержки, но и средством окончательной чистки региональных элит, оживления рядового состава и, надо добавить, всей неэффективной политической системы^[143]. Поскольку режим чувствовал себя бессильным в попытках успешно контролировать аппарат из центра, он считал возможным задействовать контроль снизу, используя сохраняющуюся энергию гражданской войны и массового недовольства.

Венди Голдман успешно решает эпистемологический парадокс демократии и террора, который не имел противоречия в «политической психологии Сталина». Она рассказывает о двух избирательных кампаниях – в профсоюзах и в партии – в 1937 году, которые прошли в соответствии с новой конституцией и привели к значительной ротации кадров. Отчетная кампания в советах в 1936 году, которая совпала с конституционной дискуссией, была той же природы и будет обсуждаться в главе 6. Демократическая мобилизация масс использовалась для контроля советских и партийных чиновников, которые при необходимости отстранения от власти объявлялись вредителями или бездушными бюрократами. Эти четыре политические кампании были представлены правительством как социалистическая демократия в действии, народный суверенитет и критика снизу. В конечном счете основная функция демократии заключается в «1. сдерживании произвола правителей, 2. замене произвола справедливыми и рациональными правилами и 3. участии основного населения в формировании правил»^[144]. Кампания обсуждения конституции (наряду с другими целями) относилась к модели социальной мобилизации, которая подталкивала общество к действиям и увольнению неэффективных чиновников. Каким образом? Проголосовав против. Почему увольнения обернулись массовыми арестами? В черно-белой картине мира, в полувойенной атмосфере кампаний по повышению бдительности и против вредителей бюрократы, заслужившие увольнение, превращались во врагов народа. Кампания разжигала и эксплуатировала социальную ненависть низших слоев общества к «партийным бюрократам». Легко манипулировать

малообразованными, несчастными, напуганными массами, пропитанными классовой идеологией, разделенными недавним опытом гражданской войны, возбуждая темные эмоции и направляя их на соответствующие цели. В разобщенном обществе «демократия стала средством для более жестких репрессий»^[145].

В демократических избирательных кампаниях (в партии, профсоюзах, в Верховный Совет в 1937 г.) кампания народной критики местных чиновников, вдохновленная сверху, сопровождалась волной анонимных или коллективных доносов снизу, порожденных как чисто идеологическими соображениями, пониманием гражданского долга, так и различными личными интересами: самозащиты, социальной ненависти и сведения старых счетов. Эти доносы и обличения вдохновлялись сверху как своего рода «народный мониторинг бюрократии», и поэтому Фицпатрик рассматривает их как «форму демократического политического участия»^[146]. В специфической полувоенной культурной и политической обстановке демократия превратилась в «обоюдоострый меч», ведущий к репрессиям против объектов критики и осуждения.

И Голдман, и Гетти сосредотачиваются в основном на утилитарной цели демократии, воплощенной в новом законе о выборах — использовании процедуры демократических выборов для очищения нерадивых местных элит. Однако даже и без нового закона потребители пропаганды были уже натравлены на партийных и советских бюрократов посредством текущих кампаний охоты на «вредителей» и повышения революционной бдительности. Рассмотренные ранее детали зарождения конституционного проекта и избирательной реформы показывают, что они имели гораздо более широкие функции, чем просто чистки аппарата. Эти проекты преследовали также и идеологические, международные, управленческие и легитимизирующие цели.

Давайте внимательно рассмотрим мотив, лежащий в основе разочарования Сталина плохой управляемостью. Он неоднократно выражал недовольство плохой работой аппарата как публично, так и в частной переписке. По словам Эрика ван Ри, который анализировал политическое мышление Сталина, эффективное функционирование советского государства и экономики были на первом месте у Сталина. Он был искренне верующим в марксизм с его принципами классовой

борьбы и особенно в насущную современную необходимость полного единства и сильного государства при социализме. Приписывая неуправляемость аппарата в первую очередь саботажу местных «баронов», Сталин рассматривал ротацию кадров путем свободных выборов как инструмент оживления советской и партийной системы и повышения эффективности управления огромной страной. Об этом он неоднократно заявлял, адресуясь как вовне, так и инсайдерам, – и, по словам ван Ри, серьезно относился к своим публично озвученным доктринам^[147]. В беседе, которая длилась три с половиной часа, он сказал американскому журналисту Рою Говарду:

Миллионы избирателей будут подходить к кандидатам, отбрасывая негодных, вычеркивая их из списков, выдвигая лучших и выставляя их кандидатуры. ...Наша новая избирательная система подтянет все учреждения и организации, заставит их улучшить свою работу. Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти^[148].

Если это интервью можно рассматривать как самопрезентацию перед потенциальными западными союзниками, то речь Сталина на Пленуме ЦК в феврале-марте 1937 года была адресована избранной партийной элите. Там он повторил этот мотив: необходимость ротации кадров, чистки неэффективных и задача «вливать в эти кадры свежие силы»^[149]. Сталинская стратегия заключалась в том, чтобы заменить утратившую его доверие старую гвардию молодыми людьми, зависящими от него лично и лояльными ему. Вячеслав Молотов несколько раз подчеркивал эту же цель на ранних этапах реформы: выборы будут «полезной встряской» для бюрократических элементов. «...Эта [избирательная] система облегчает продвижение новых сил для замены отсталых бюрократических элементов»^[150].

«Правда» неоднократно доводила это пожелание до сведения медленно соображающих чиновников:

Будущие выборы [по сталинской конституции] станут серьезным испытанием. Это поможет избавиться от тех, кто не может работать по-новому.

Те председатели горисполкомов, которые не изменяют стиль своей работы и не смогут завоевать доверия населения, не будут переизбраны. Им следует помнить, что выборы по новой конституции будут радикально отличаться от прежних. Многие еще не усвоили эту перемену. Им стоит подумать об этом сейчас. Они должны резко усилить советскую работу^[151].

Столкнувшись с проблемой недостаточной управляемости, исторически присущей огромной и отсталой стране, к тому же усугубляемой низким качеством менеджмента на всех уровнях, Сталин пытался ее решить путем гиперцентрализации, растущего применения силы^[152], переподготовки кадров (например, партийных и судебных) и в 1936–1937 годах посредством контролируемой демократии, как инструмента повышения эффективности, оперативности и послушности государственного аппарата.

Эти управленческие мотивы в конституционном импульсе демократизации (которые никоим образом не оправдывают жестокие чистки) становятся еще более очевидными, если учесть две другие параллельные кампании того периода: кампанию отчетов советов о своей работе перед избирателями летом и осенью 1936 года и проверку партийных документов. Обе эти кампании носили каталогизирующий, мобилизующий, активизирующий и репрессивный характер. Проверка документов в партии началась в мае 1935 года как канцелярское начинание и постепенно превратилась в комбинацию рутинной чистки «неактивных и морально коррумпированных членов» и специальной операции НКВД, направленной против местных ненадежных членов номенклатуры. В 1935 году из партии было исключено 263 885 членов, что составляет около 10 процентов от общего числа членов партии, из них 15 218 человек были арестованы; в 1936 году было исключено 134 тысячи человек^[153]. Исключенных часто автоматически увольняли с работы, лишали квартир и отчисляли из университетов^[154]. Цели проверки не были четко доведены центром до сведения функционеров и не были поняты внизу. Местные чиновники, защищая свои собственные кадры, очень часто, как показал Гетти, «отводили репрессии вниз на рядовых»^[155]. Таким образом, кампания пошла не по плану, и Сталин был недоволен ее результатами, потому что высокие региональные чиновники успешно избежали чистки.

Июньский Пленум ЦК 1936 года «осудил безрассудные массовые исключения из партии» и предложил оперативно рассмотреть апелляции и реабилитацию. В 1936 году 37 тысяч человек были вновь приняты в партию (30 600 человек в 1935 году), но чистки продолжались: в период с июня 1936 года по февраль 1937 года из партии было исключено 13 372 члена^[156]. Сообщалось, что во многих местах исключено больше членов партии, чем осталось активных: например, в Киргизии число членов партийных организаций сократилось с 14 тысяч до 6 тысяч^[157]. Партийная чистка и последующая реабилитация были типичным политическим кульбитом Сталина, показывающим пределы его контроля в отношениях между центром и периферией.

Заявление Московской партийной организации, опубликованное в «Правде» сразу после Пленума ЦК в июне 1936 года, выявило тревогу, сервильность и растерянность:

Мы должны успешно завершить проверку партийных документов, вскрывая и изгоняя из рядов партии не разоблаченных... заклятых врагов социализма, троцкистов, зиновьевцев, двурушников, использующих партийный билет для своей подлой контрреволюционной деятельности... Мы руководствуемся указаниями ЦК и товарища Сталина о внимательном и чутком отношении к тем, кто исключен из партии, как не могущем носить высокое звание члена ВКП(б), но честно выполняет свой долг советского гражданина^[158].

Приведенные в замешательство аппаратчики отчаянно пытались выполнить противоречивые директивы. Секретарь Ленинградской партийной организации А. И. Угаров справедливо оценил «проверку» как перетасовку кадров для выдвижения новых людей в руководство^[159]. Пленумы ЦК в июне и декабре 1936 года и секретное письмо ЦК в адрес партийных комитетов 29 июля вновь и вновь выражали недовольство центра неэффективными, пассивными, политически ненадежными и неграмотными региональными партийными руководителями^[160]. В письме ЦК от 29 июля накануне показательного судебного процесса над троцкистами и зиновьевцами в Москве прозвучал призыв к повышению бдительности и разоблачению

врагов в партии^[161]. Эти «проверки и перепроверки» партийных кадров проходили параллельно чисткам других групп и в конце концов увенчались Большим террором.

Перечисленные кампании — проверка членов партии, конституционная реформа избирательной системы, отчеты в советах — в значительной степени были мотивированы стремлением Сталина к контролю и логикой централизации. Среди других мотивов атак на кадры — их некомпетентность, внутрипартийные конфликты, напряженность между центром и периферией, коррупция, страх Сталина перед сговорами, — нельзя игнорировать усилия по повышению эффективности управления. Этот управленческий мотив проявился в логике другой реформы — реорганизации судебной системы, которая началась в 1936 году и включала «переаттестацию» юридических кадров и их переподготовку. Стремясь централизовать систему, улучшить международный и внутренний имидж советской юстиции, руководители были озабочены реальной эффективностью системы^[162].

Допуская некоторую демократию, лидеры полагали, что они держат в руках рычаги контроля над процессом. Для них демократия была инструментом: во-первых, для дисциплинирования пассивных и безответственных партийных «баронов» путем добавления элемента конкуренции в продвижение и выборы кадров, и во-вторых — для завоевания мирового и отечественного общественного мнения.

Внутренние рабочие документы правительства говорят против обесценивания управленческой цели как простой риторики.

Глава 6

Советские общественно-политические мобилизации

6.1. Отчетная кампания в Советах

Теперь давайте перейдем к еще одной мобилизационной кампании. В то время как проверка партийных документов превратилась в чистку кадров, внимание к управленческой эффективности проявлялось и в другой кампании – отчетной кампании в советах, которая проводилась одновременно и на практике совмещалась с обсуждением конституции летом и осенью 1936 года^[163]. Общенациональная кампания отчетов в советах накануне выборов как инструмент укрепления советской демократии была идеей Енукидзе 1934 года^[164]. Хотя сейчас Енукидзе был в немилости, его идея была реализована. 2 августа Президиум ЦИК инициировал проверку советов всех уровней, поручив председателям организовать отчеты советов избирателям и их критику, а также избрать депутатов на районные, краевые и всесоюзные съезды. Эта отчетная кампания, будучи проверкой работы функционеров и инструментом оживления деятельности советских органов власти, рассматривалась как подготовка к будущим выборам в советы в соответствии с новыми конституционными нормами. В этой главе мы рассмотрим, как отчеты в советах слились воедино с обсуждением конституции, особенно по вопросу о новых правилах проведения выборов.

Неэффективность политической системы советов росла по мере того, как партийное государство усиливало свой контроль над советами. В ответ на понятную бездеятельность советов партией периодически предпринимались попытки их оживления, например, в 1924–1926 годах с целью расширения партийного влияния в сельской местности. То, что советы не выполняли наказы избирателей и не отчитывались о проделанной работе перед избирателями, было обычным делом^[165].

Отчетная кампания в советах началась в августе 1936 года и стала очередной попыткой центральных властей активизировать советы, которые сама же партия и выхолостила.

В соответствии с указом Президиума ЦИК от 11 июня 1936 года началось всенародное обсуждение конституции. Наряду с организацией собраний и кружков для обсуждения и изучения конституции кампания включала в себя сбор и обобщение комментариев населения. Обязанностью партийных организаторов и председателей советов было составлять регулярные отчеты и направлять их в ЦИК. Из-за привычной незаинтересованной реакции местных кадров центр был вынужден толкать и тянуть их, что было многолетней общепринятой практикой в отношениях между центральной и местной властью – ничего нового. После указа председатель ЦИК Михаил Калинин направил телеграммы председателям советов всех уровней с требованием регулярно представлять декадные отчеты о ходе обсуждения и сводки предложений населения^[166]. Он поручил местным кадрам связать обсуждение новой конституции с улучшением работы советов. Созвучно июльскому письму ЦК КПСС в адрес комитетов партии, мобилизующих их на поиск врагов в своих рядах, две недели спустя в новой телеграмме от 14 августа Калинин выразил недовольство слабой работой советских органов по освещению дискуссии. Он поставил задачу региональным чиновникам, чтобы обсуждение новой конституции и ее нововведений «активизировало и улучшило работу советов и исполкомов». Председатель ЦИК раскритиковал местных работников и призвал их удвоить усилия: «Ряд советов обсуждением руководят слабо, самоустраняются. (1) Возложить персональную ответственность за руководство обсуждением на председателей советов и исполкомов. (2) Организовать повседневный учет и обобщение всех материалов и предложений. Представлять статотчетность и информсводку – 1 и 16 числа месяца...»^[167].

Подобно тому, как партийные комитеты проявляли нежелание охотиться за врагами в своих рядах^[168], местные советские работники – теперь, в августе, после первоначального всплеска активности в июне и июле, занятые сбором урожая в условиях надвигающегося голода и бегства из колхозов – так же неохотно организовывали собрания и игнорировали отчеты. Похоже, их не волновало улучшение

их работы: «Самокритика недостатков в работе советских органов недостаточна», – подчеркивала «Правда». «Уже одно только обсуждение проекта конституции выявит косных заплесневелых руководителей, неспособных к руководству... отсеет немало и дураков...»^[169].

Раздраженный бездействием советских работников, ЦИК 12 сентября собрал Президиум и заслушал отчеты из нескольких регионов о ходе дискуссионной кампании. ЦИК в очередной раз настаивал на регулярных отчетах и теперь подчеркивал задачу критики и увольнения бюрократов в советах. Президиум предлагал следующую схему информационной отчетности о всенародном обсуждении:

2. Привести отдельные факты, характеризующие повышение производственной и политической активности трудящихся (рост числа ударников, стахановцев, досрочное выполнение планов, борьба за качество и т.д.). 3. Развернута ли во время обсуждения... критика недостатков работы советов и исполкомов (привести конкретные примеры). 4. Имели ли место при обсуждении отводы отдельных депутатов за плохую работу или по другим порочащим причинам (примеры). 5. Имели ли место вылазки классовых врагов при обсуждении и в чем они выражались... Имели ли место факты неправильного толкования проекта^[170].

Шаблон служил политическим фильтром, который не только структурировал отчеты, но и определял дискурс на собраниях, а также поведение организаторов. Как становится ясно из инструкций ЦИК, обсуждение конституционной и избирательной реформы использовалось в качестве инструмента для направления народного недовольства против местных чиновников и их неэффективного управления. Но когда центр снова и снова подталкивал местных чиновников к продолжению новых раундов обсуждений, обязывая их либо совершенствовать свою работу, либо самостоятельно вычищать неэффективные кадры, они часто отказывались понимать свою задачу. Председатель исполкома Горьковского края не призывал к чисткам, когда в сентябре 1936 года инструктировал местных работников советов по отчетной кампании в свете конституции^[171].

Эмиссары направлялись в провинции, чтобы убедиться, что местные руководители понимают и выполняют инструкции. Инструктор ЦИК Бабинцев отправился в Оршанский и Борисовский районы Белоруссии и обнаружил «недочеты в организации всенародного обсуждения конституции, [состоящие в том] что советы и исполкомы не направляли обсуждение на критику недочетов в работе советов и их депутатов. Отзыв депутатов из состава советов в связи с обсуждением проекта конституции имел место только в 3 сельских советах Борисовского района». Подчеркнув в первую очередь задачу чистки аппарата, Бабинцев лишь во вторую очередь сообщил об еще одном провале – в организации каталогизации комментариев населения. «Телеграмма М. И. Калинина... не создала перелома в этом вопросе»^[172]. Та же неспособность «направить критику на недостатки советов и депутатов» наблюдалась и в Павловском совете Горьковского края, где не было ни одного отзыва. Местные кадры чувствовали угрозу своему положению. Как сообщила «Правда», рабочие предупредили председателя Ворсменского поселкового совета в Горьковском крае, который игнорировал их наказания, что если он не выполнит их требований, они проголосуют за его отзыв. Центральный орган Коммунистической партии цитировал Сталина: «Критерии, с которыми миллионы избирателей будут подходить к кандидатам [будут высокими], отбрасывая негодных, вычеркивая их из списков, выдвигая лучших и выставляя их кандидатуры»^[173]. Как инструкцию что надо делать, «Правда» начала печатать сообщения с мест о массовых отзывах нерадивых депутатов. Пытаясь сохранить свои собственные кадры, представители районных советов на собраниях часто пытались перенаправить критику на нижестоящие сельские советы так, чтобы, по словам Гетти, «направить огонь на более низкие уровни иерархии».

6.2. Кадры на местах: между молотом и наковальней

Как видим, осенью 1936 года две кампании – отчеты советов и обсуждение конституции – слились и, по указаниям Москвы, были направлены против регионального советского аппарата. Апатичная реакция региональных властей была понятна: они чувствовали, что кампании были направлены против них. Отвечая на давление Москвы, они сообщали ЦИК формальности о собраниях, критике и, при необходимости, перечисляли несколько случаев отзыва депутатов, в основном за плохое управление, хищения и пьянство^[174]. Общесоюзная «Крестьянская газета» и местная воронежская газета «Коммуна» использовали одни и те же стандартные формулы: «Обсуждение проекта конституции сопровождалось критикой работы советов и исполкомов и отзывом некомпетентных чиновников», – хотя часто без цифр и фамилий отстраненных депутатов. Избегая требуемой сверху критики в свой адрес, советские работники часто ограничивали собрания простым чтением статей конституции. В культурной и политической обстановке 1930-х годов ситуация, в которой оказались местные чиновники и пропагандисты конституции, часто была опасной. Действительно, многие должностные лица среднего звена и работники культуры зачастую не понимали юридических тонкостей конституции и не обладали достаточными знаниями, чтобы объяснить этот документ простым людям. Однако неисполнение обязанностей и указаний было вызвано не только невежеством, низким уровнем образования и нежеланием чистки своих собственных рядов. Как справедливо отметила Карен Петроне, за их «ленью» стояла неспособность справиться с бьющим в глаза противоречием между конституцией и повседневной практикой, что неизбежно вызывало неудобные вопросы у аудитории, на которые несчастные чиновники не могли дать ответ:

Как сочетать бдительность со свободой слова, печати и собраний? Ведь обязательно всякое контрреволюционное отрепье попытается использовать все эти свободы против социалистического государства. Ведь лишать слова нельзя будет,

за шкурку, да за решетку брать тоже нельзя будет. Как же связать концы с концами?

Как понимать запрещение арестов [без санкции прокурора], сейчас имеется резкое отступление (от конституции) (то есть рост арестов. – *О. В.*);

Будут ли по новой конституции закрыты церкви без согласия верующих?^[175]

Более того, любой ответ мог привести функционеров к серьезным неприятностям в напряженной атмосфере поисков врагов. Во избежание возможных опасностей некоторые организаторы запретили задавать вопросы на собраниях. Руководители или пропагандисты могли ожидать наказания сверху за то, что не продвигали новый официальный курс, но и объяснение и доведение новых свобод до их логических целей могло бы доставить им неприятности. Что они могли ответить на вопрос о свободе слова: «Может ли тот или иной гражданин говорить то, что он вздумает?» Петроне рассказывает о репетиции выборов в Верховный Совет, организованной заведующим избы-читальни, который в конечном итоге был обвинен в профанации важного мероприятия^[176]. Причиной апатии чиновников было то, что они чувствовали угрозу своим позициям и сверху и снизу, опасаясь, что новые свободы и предстоящие выборы могут привести к отстранению их от власти. Поощрение людей к реализации своих прав в соответствии с конституцией и отзыву бесполезных бюрократов со своих постов означало бы рубить сук, на котором они сидели.

Перед всеми – чиновниками и участниками собраний – стояла непростая задача найти безопасный путь между официально декларируемыми нормами, которым надо было следовать (свобода слова), и неписаными, согласно которым общество и власть действительно функционировали (репрессии за критику колхозов, например). Для участников собрания определенное поведение – непосещение, отсутствие комментариев или критики – также могло иметь опасные последствия. Когда газеты настойчиво инициировали критику снизу, рабочий Аржиловский писал в своем дневнике:

В лексиконе нашей словесности появилась новая фраза: идиотская болезнь – беспечность (цитата из Сталина. – *О. В.*). В

газетах направление критиковать, больше активности. Совершенно новая, необычная кампания в духе последней Конституции. До чего договорятся – неизвестно.

Он был настроен осторожно и скептически:

Ибо, чтобы я ни сказал, все будет истолковано в дурную сторону, во всем увидят стремление опорочить партию, окрестят вылазкой классового врага^[177].

Он был прав в своей осмотрительности: за такой критикой часто следовали преследования. 9 октября, на совещании завода «Красное Сормово» в Горьком, когда районный совет докладывал о своей работе, четверо коммунистов раскритиковали работу совета. На следующий день председатель совета Калагаев вызвал этих коммунистов и угрожал репрессиями. Секретарь райкома партии поддержал коллегу по совету и вынес этим коммунистам официальный выговор^[178]. Для простых людей, когда их заставляли высказываться на собрании, самым безопасным способом поведения было выражение их лояльности.

Однако послушание не гарантировало функционерам безопасности, поскольку приказы часто противоречили друг другу, партийная линия колебалась, и местные администраторы испытывали давление как сверху, так и снизу. Так что все они справлялись с вызовами как могли. Чечено-Ингушская область приложила максимум усилий для выполнения указаний и показала высокий процент отзывов: в Гудермесском районе 62 депутата совета были отозваны и заменены выдающимися колхозниками. В Левокумском районе 50 процентов депутатов были отозваны^[179]. Не менее 559 депутатов были отозваны за плохую работу в Горьковской области, 18,2 процента депутатов в Узбекистане и 15 процентов в Грузии^[180]. В целом в ходе кампании 80 процентов всех советов и около 85 процентов всех депутатов отчитались о своей работе избирателям, 21 край и область Российской Федерации отозвали 14 953 депутата; почти треть советов прошли ротацию^[181].

Эпизод с инструктажем Калинина и официальной инспекцией был обычным делом. В сентябре 1936 г. одновременно с комиссией

Бабинцева Московский комитет партии направил одного из своих секретарей, С. З. Корытного, для инспекции результатов проверки партийных документов в округах. Обеспокоенный вялостью чиновников Таганского района, которые проигнорировали доносы на некоторых сотрудников, он оказывал давление на партийные комитеты: «Если один из этих людей – враг, то твоя волокита – преступление». Таким образом, Центральный комитет подталкивал областные комитеты, которые, в свою очередь, подталкивали районные комитеты, к принятию политических мер – к чисткам^[182].

Все эти три инициативы – проверка партийных документов, отчеты в советах и обсуждение конституции – провозгласили целью совершенствование работы системы. Они побуждали избирателей, местные советы и парткомы исключать бездействующих, неэффективных или политически ненадежных сотрудников. Это было частью советского этоса – вовлечение масс в поддержание порядка в новом социалистическом обществе, а донос был обязанностью всех лояльных граждан. Газеты призывали граждан бороться с бюрократизмом, выявлять «врагов» и сообщать о любых проявлениях волокиты или правонарушений. Лидеры партии «использовали... для этих мер язык антибюрократизма, социалистического обновления и массового контроля снизу – призывы получавшие сильный резонанс у населения... Лозунги репрессий тесно переплетались с лозунгами демократии»^[183]. Под давлением и угрозами сверху прохладная реакция внизу постепенно набирала обороты и превращалась в оргию доносов и обвинений, которые служили доказательствами преданности. Этот мобилизационный элемент чисток, выраженный в термине «бдительность», имел решающее значение в механизме власти, как того требовал Центральный комитет: «чтобы каждый наш удар был заранее подготовлен политически, чтобы каждый наш удар подкреплялся действиями широких масс крестьянства»^[184].

Избирательная реформа и канализирование народного недовольства на бюрократию были попытками очистить и оживить местный государственный аппарат, используя как демократическую ротацию, так и репрессии. Гетти видит избирательную реформу и последующие репрессии как эпизоды в борьбе центра и периферии, приводя собственные слова Сталина: «Выборы будут хлыстом в руках

населения против плохо работающих чиновников органов власти»^[185].
Как это работало?

Весьма показательным примером этой тенденции стала серия из 30 сельских показательных процессов над местными руководителями осенью 1937 года, описанная Фицпатрик. Тогда областных и сельских чиновников обвиняли в неудовлетворении не государственных, а крестьянских нужд, в злоупотреблении властью, в наложении непомерно высоких норм закупок зерна и произвольных штрафов, замаскированных под «налогообложение» или «государственные кредиты». Они обвинялись в подавлении колхозной демократии, предоставлении колхозникам возможности уехать в города в голодном 1936 году или в принятии возвращавшихся ссыльных кулаков обратно в колхоз, тем самым демонстрируя примирение с «классовым врагом». Тот факт, что на тот момент это была официальная политика интеграции бывших кулаков, никогда не упоминался^[186]. Партия проводила контролируемую демократию, когда инициировала судебные процессы на местах для борьбы с произволом, коррупцией, некомпетентностью, а также неповиновением. Каков был результат? Шейла Фицпатрик считает, что это было относительно эффективно: крестьяне выпустили пар своего недовольства и «усиливали свое влияние на выбор и отстранение от должности колхозных председателей»^[187].

Кампании 1936 года ставили своей целью улучшение функционирования политической системы. Государство манипулировало обсуждением конституции, направляя ее в желаемое русло, в том числе подстрекая население к борьбе с бюрократией.

6.3. Политическое участие: управляемое и добровольное

Ключевыми мобилизационными мероприятиями вокруг конституции стали публикация проекта в газетах 12 июня, митинги на предприятиях и в организациях, проработка текста в кружках и внеочередной VIII съезд Советов, открывшийся 25 ноября в Москве. Кульминацией съезда стал доклад Сталина о проекте конституции, транслировавшийся по радио на всю страну.

Историки обычно подчеркивают обязательный характер участия в советских мобилизациях. В 1980-х годах политологи пришли к выводу, что политическое участие в СССР было преимущественно ритуальным как для правителей, так и для граждан, поскольку оно не влияло на решения правительства, а выполняло функции по воспитанию лояльности и интеграции. Тем не менее, уже тогда некоторые авторы признавали, что осмысленное участие все же имело место, часто поперек мейнстрима^[188]. Позднее исследования в области культуры, антропологии и школа субъектности поставили под сомнение представление об участии в политической жизни как о чистом маскараде: они нарисовали более нюансированную картину. В научных дебатах о практике сопротивления и социальной мимикрии школа субъектности указала на практики потребления идеологии и сознательного построения советской идентичности^[189]. Алексей Юрчак смещает акцент с содержательного измерения избирательного ритуала (наличие одного или нескольких кандидатов) на перформативное измерение: участвуя в ритуальных актах, гражданин воспроизводил себя как «нормального» советского человека в системе политических отношений^[190]. В стремлении государства контролировать поведение и мышление своих граждан Карен Петроне^[191] и Сергей Екельчик также отмечают акцент не на содержании, а на форме участия (тотальность участия в случае конституционной кампании). В любом случае, партийное государство не могло контролировать убеждения граждан так же эффективно, как их присутствие на собраниях. Описывая различные формы участия и их мотивацию, я утверждаю в этой главе, что даже на фоне известной массовой пассивности, абсентеизма и контроле публичной сферы с организованными выступлениями, ритуалами и энтузиазмом,

кампании позволяли некоторую степень автономного выражения – как публичного, так и скрытого. В 1930-х годах первое советское поколение в силу молодости еще не исчерпало свои резервы доверия и энтузиазма. Старшее поколение еще не устранилось от дискуссии, так как не воспринимало государственный официальный дискурс как должное и единственно возможное; для народа авторитарный дискурс еще не окаменел, как в эпоху позднего сталинизма. Сохранялась еще вера в изменения. Все это оставило возможность для конструктивного участия, переговоров и заинтересованного вклада в дискуссию о конституции.

Характерной чертой этих мероприятий был чрезвычайный режим мобилизации, свойственный всей советской межвоенной политике. Большевики, противостоявшие всему миру своим социалистическим проектом, даже после окончания гражданской войны воспринимали свое положение как постоянную чрезвычайную ситуацию, которая легитимировала в мирное время такие практики военного времени, как мобилизация, приостановление действия законов, массовые операции, экспроприации, захват заложников, депортации и концлагеря. Признаком такого чрезвычайного или аварийного режима стали массовые митинги в ночное время. Выступление Сталина о конституции на VIII съезде началось в 17 часов 25 ноября в Москве и транслировалось в прямом эфире во Владивостоке в полночь 26 ноября (с семичасовой разницей во времени). Газеты сообщали, что жители Советского Дальнего Востока в ту ночь не спали и слушали голос любимого вождя на своих предприятиях, на уличных митингах или дома^[192]. Ленинградские и киевские рабочие организованно прослушали текст конституции, переданный по радио в 11 часа вечера. Это не было уникальным случаем. Объявление о новой кампании государственного займа транслировалось по радио в 19:00 1 июля 1936 года, после чего последовали митинги на заводах и фабриках. В 11 часов вечера работники вечерней смены, вместо того чтобы идти домой спать, демонстрировали свой энтузиазм в актовом зале предприятий, внося в фонд государства свою месячную зарплату. Собрания комсомольцев иногда созывались в государственные праздники – в личное время работников. Очевидно, что этот ночной режим был для организаторов митингов способом продемонстрировать свое усердие в мобилизации. В более общем культурном плане это

было драматическое вторжение государства в частную сферу и в личное, даже интимное, время. Такой стиль соответствовал модели военизированных отношений между советским государством и обществом и пароксизмальным попыткам большевиков установить контроль над обществом – даже над временем сна и отдыха.

В 1920–1930-х годах правительство решало любые кризисные ситуации так, как если бы оно находилось в состоянии войны и воспроизводило постоянное чрезвычайное положение. Опасения иностранной интервенции практически в любой момент порождало регулярные военные тревоги, наиболее значительные в 1923 и 1927 годах, и милитаризацию экономики, сознания и всего уклада жизни. Массовая мобилизация относится к тем методам военного времени, с помощью которых государство управляло обществом теперь уже в мирное время – экспроприация, надзор, каталогизация и, наконец, внеправовая практика и массовые репрессии. В атмосфере осажденной крепости важной функцией всех мобилизационных кампаний было перенапряжение всех ресурсов, в том числе и человеческих, и направление их на достижение главной цели – построение сильного социалистического государства в кратчайшие сроки. Джон Скотт, молодой американец, работавший в Магнитогорске сварщиком в 1930-х годах, передал в мемуарах атмосферу чрезвычайщины:

С 1931 года и позже, Советский Союз находился в состоянии войны, и люди проливали кровь, пот и слезы. Были жертвы – раненые и убитые, женщины и дети замерзали до смерти, миллионы голодали, тысячи были приговорены военным трибуналом и расстреляны в ходе кампаний по коллективизации и индустриализации. Могу поспорить, что только в битве за черную металлургию Россия понесла больше потерь, чем погибло в битве при Марне. Все тридцатые годы русский народ жил в состоянии войны^[193].

Основным требованием любой мобилизации было массовое активное участие в кампании. Активное, информированное и ответственное участие граждан в общественной жизни является необходимым условием демократии^[194]. В России массовое политическое участие достигло своего апогея в 1917 году во время

выборов в Учредительное собрание. Хотя демократия подразумевает добровольный характер участия, в СССР в условиях давления и манипулирования сложился особый формат участия. Эффективное массовое участие в принятии решений изменило свой характер в 1920-х годах, шаг за шагом ограниченное и подавленное партией, по мере того как демократические органы, такие как советы, профсоюзы и заводские комитеты, были лишены возможности принимать решения. Сложилась новая система отношений партии и общества: публичная демонстрация поддержки режима в обмен на определенные вознаграждения, привилегии или продвижение^[195]. В итоге, в течение десятилетия наблюдалось снижение явки избирателей на выборы советов, особенно в 1922–1924 годах, рост абсентеизма, упадок сельского самоуправления и закрытие общественных объединений. Когда политическое участие принимало оппозиционный или независимый от государства характер – например, забастовки рабочих, крестьянское движение за создание союзов^[196], неблагоприятные для большевиков результаты выборов в советы в 1927 году (которые были в конечном итоге отменены) – такая политическая деятельность подавлялась либо путем репрессий, либо путем насаждения подконтрольных государству псевдо-образований. Такими псевдоорганизациями были комитеты взаимной помощи в селах вместо традиционной сельской общины, обновленческое течение в православной церкви для раскола и ослабления ее иерархии, а в культурной сфере – творческие союзы или заказное производство псевдофольклора^[197]. В 1930-е годы, когда общественные объединения перешли под государственный контроль, некоторые острова низовой политики все же выжили, хотя и в ограниченных полуподпольных формах.

Когда проект конституции был опубликован 12 июня для общенародного обсуждения, граждане уже были хорошо вышколены и подготовлены к советскому режиму участия. Согласно советскому этосу, каждый истинный советский гражданин, Новый Человек, должен «проявлять активность и гражданское участие»; неучастие было признаком нелояльности^[198]. Давление сверху переплеталось с тактикой социальной мимикрии и конформизма внизу. Рабочие и крестьяне осваивали правила повседневной политической жизни и принимали как повинность участие в массовых общественных

мероприятиях. Но, как мы увидим, вместе с карьерными и личными интересами и послушанием, мотив осознанного заинтересованного участия в принятии государственных решений у граждан также присутствовал.

Кто был авторами комментариев в ходе дискуссии? Определить, к каким социальным, возрастным, гендерным и этническим группам они принадлежат, нелегко. Положение авторов не всегда указывались в отчетах ЦИК или ОГПУ и отсутствовали в скудной статистике, хотя обычно указывались в письмах. Текучесть социальной идентичности в этот период способствовала возникновению неопределенности: например, в социальном статусе автора дневника Андрея Аржиловского – крестьянина, узника, рабочего. Создается впечатление, что большинство комментариев исходило от крестьян, отражая их преобладание среди населения и политическое пробуждение в 1920-х годах и до начала 1930-х. Интеллигенция и служащие также были хорошо представлены в дискуссии. Хотя рабочие были грамотнее крестьян, они были меньшей группой, и от них поступало гораздо меньше комментариев. Такой социальный состав тех, кто внес свой вклад в дискуссию, объясняется, во-первых, деклассированием рабочих в 1920-х годах, во-вторых, вхождением крестьян в рабочий класс в 1930-х годах с их низкой квалификацией и маргинальным сознанием. Рабочий Путиловского завода в Ленинграде в 1930 году жаловался: «Высококвалифицированных рабочих больше нет – куда они делись?»^[199] Этот социальный процесс был назван Давидом Хоффманом «окрестьяниванием» городов, а Моше Левиным – «архаизацией» культуры. Мы также слышим голоса женщин, хотя и немногочисленные: домохозяйки, например, требовали права выдвигать кандидатов в советы. Женщины колхозницы были хорошо представлены на страницах газет, явно отражая политически корректные пропорции авторов, но гораздо меньше женских голосов было в сводках НКВД или ЦИК. До сводок дошло очень мало голосов советских национальностей, за исключением украинцев. Национальные вопросы практически отсутствуют в сводках, за исключением некоторого недовольства по поводу предоставленного конституцией права республик на выход из состава союза. Таким образом, среди комментаторов преобладали мужчины, русские и

украинцы.



Студенты Государственного института физического воспитания и спорта имени Лесгафта в Ленинграде обсуждают проект конституции. 1936. Фотограф неизвестен. ЦГАКФД СПб

Исследуя здесь преимущественно низовые слои населения, не связанные непосредственно с режимом, нельзя забывать о группе активистов, чьи голоса выделяются в картине общественного мнения — члены партии, низовых советов, административного аппарата и профсоюзов, Союза воинствующих безбожников (не менее 3,5 миллионов человек), комсомольцы, новая элита выдвиженцев, демобилизованные красноармейцы и работники просвещения, а также рабочие и сельские корреспонденты. Эти группы выиграли от социальных изменений, достигли нового положения и сознательно участвовали в обсуждении конституции или руководили им. Ими двигали и идеалистические интересы, и корыстные (продвижение). По некоторым оценкам в марте 1939 года этот актив составлял пять миллионов, а по оценкам Сергея Максудова — до 10 процентов сельского населения проводили политику коллективизации и раскулачивания на местах^[200]. Их комментарии могли не только восхвалять новую конституцию, но и отвергать новые свободы, предоставленные возможным врагам.

Обязательный характер политического участия в СССР затрудняет оценку его гражданского потенциала. Настойчивый официальный запрос на комментарии в прессе и открытое давление со стороны партийных организаторов на публичных собраниях принимали

различные формы. Очень часто заводские ворота просто запирали для удержания людей в актовом зале после рабочей смены. Дневник описывает уличную сценку 30 августа 1937 года в Краснодаре:

Девушка выскакивает из проходной завода Чапаева и бежит по улице, только пятки сверкают. Вахтер бросается за ней, крича громким голосом: «Я покажу тебе, как убегать с лекции!» Но «преступница» Клочкова сбежала. Вахтер Желтобрюшенко отказался от погони и вернулся на свой пост, заперев за собой входную дверь. Желтобрюшенко получил однозначное указание от директора по культуре Иванкина: «Людей не выпускать!» Уже не в первый раз завод использует этот метод для достижения 100-процентной посещаемости лекций и встреч^[201].

Самые изобретательные партийные организаторы прибегали к разнообразным трюкам, чтобы обеспечить полную посещаемость. В Кабардино-Балкарской автономной области публика пришла в кинотеатр, но вместо того, чтобы смотреть фильм, людей заставили обсуждать конституцию. Те, кто протестовал и требовал вернуть деньги, были после показа фильма в час ночи задержаны НКВД^[202]. А. Аржиловский описал в дневнике типичное собрание:

...Умер Орджоникидзе^[203]. <...> На заводе митинговали. Интересно проходят митинги. Митинг народной скорби при нашей сознательности должен быть драматическим, потрясающим, а он проходил скучно, нудно, и насильно вытягивали выступающих. Выбирают президиум. Публика ведет себя шумно. Докладчика первое время не слышно. Он гримасничает, подбирает слова, но потом выправляется и говорит довольно логично. Кончился доклад. Директор обращается к собранию: «Кто будет говорить, товарищи?» Тяжелое молчание.

– Нет желающих? – настаивает директор, и в тоне его слышится угроза.

Через час по ложке выступают два заводских партийца, предлагая на смерть стойкого большевика ответить поднятием производительности и т. д.

Говорится по заученной шпаргалке без вдохновения, без эмоций. Шешуков, культурник, спецпереселенец, тоже выступал и говорил о социалистической копейке, о социалистической доске. Этот оратор договорился бы и до социалистического гвоздя^[204]. Все они говорили о том, что «мы должны». Почему должны? Почему никому не пришло в голову сказать, что в ответ на смерть одного из «великих» горцев надо предложить... сбавить зарплату заводским верхушкам? Вот это было бы существенно, и, видимо, улучшилось бы общее положение. Об этом молчат...

Дело дошло до предложений. Директор потребовал конкретных предложений и персонально вытянул рамщика Куликова.

– Я все слышу, а добавить нечего – отозвался смущенный Куликов – Принять за основу.

В конце концов силой вытянули конкретность: в январе дали 113,4 % [роста продукции], в феврале надо дать не ниже 115. Кто-то крикнул: «Свести брак на нет!» Но этого не приняли, потому что чем выше количественные показатели, тем больше брака^[205].

Задача организаторов – удержать людей на собраниях и заставить их обсуждать конституцию – была нелегкой в городах, но еще более сложной в селах, которые столкнулись с новой волной голода летом 1936 года и массовым бегством из колхозов. «Колхознику сейчас не до обсуждения новой конституции, т.к. он почти голодный», – объяснял низкий уровень участия сельский организатор^[206]. Один студент сказал в послевоенном интервью: «Мы находили всю пропаганду очень скучной, и худшими уроками в школе были уроки по конституции. Они так много и так часто говорили о конституции, что никто не слушал, и мы просто сидели с закрытыми ушами, и в результате большинство детей даже не могли запомнить номера статей конституции и текста, хотя прослушали ее сотни раз»^[207]. Почти 20 процентов респондентов Гарвардского проекта, однако, называли агитационные митинги важным источником новостей – сразу после газет, слухов и радио^[208].



Собрание узбекских колхозников. 1930-е гг. Библиотека Конгресса США / Library of Congress, Prints and Photographs Division, [reproduction number:LC-USW33-024193-C]

Политическое участие простых людей в сталинском СССР заключалось в проявлении лояльности (искренней или фиктивной), в игре по правилам, ритуале конформизма. Вместе с тем, участие также служило отдушиной для недовольства и каналом коммуникации с властями. Несмотря на давление и навязывание нормативной повестки дня через газеты, даже в этих несвободных условиях, на собраниях и кружках наравне с идеологически правильными заявлениями^[209] часто звучали политически некорректные высказывания, например, против колхозов, бедности и произвола бюрократов^[210]. Люди использовали собрания, чтобы выразить свои жалобы и недовольство. На митинге в Кислендейском районе Саратовского края колхозник К. П. Левин предложил ликвидировать колхозы, вместо трудодней^[211] выплачивать крестьянам зарплату и разрешить заниматься частной торговлей зерном. В Карамышском районе Саратовского края заместитель председателя сельсовета Шаталин сказал: «Вся советская власть построена на лжи. Коммунисты обманывают крестьян и взимают невыносимые налоги». Оба были арестованы. В демократическом

характере конституции люди увидели возможности для публичного выражения мнений, несовместимых с диктаторским режимом, таких как поддержка равенства прав и свободы религии и объединений. Заместитель председателя колхоза в селе Невежкино Фимушкин публично предложил организовать крестьянские союзы. «Но советское правительство этого не допустит. Если вы потребуете этого – вас посадят в тюрьму. Вот вам свобода слова!»^[212]

Сотрудник НКВД Лупекин суммировал настроения и «контрреволюционные» требования жителей Ленинградской области в ходе дискуссии, в том числе руководителей колхозов и сельских советов:

1. Разжигание недовольства колхозников по отношению к рабочим.
2. Распространение пораженческих настроений.
3. Требования прекращения планирования государством хозяйственной жизни колхозников, освобождения крестьян от гос[ударственных] обязательств [по поставкам].
4. Распространение провокационных слухов о том, что «Конституция – фикция».
5. Требование возвращения кулаков с мест высылки и возвращения им имущества.
6. Требование открытия всех церквей, запрещения антирелигиозной пропаганды, высказывание антисемитских настроений и т.п.^[213]

Надзорные органы в своих сводках воспроизводили свойственную им черно-белую, конспирологическую политическую картину мира, которая нуждается здесь в пояснении. В переводе с корпоративного жаргона НКВД «недовольство колхозников по отношению к рабочим» означало требование крестьян о предоставлении им всех прав, которыми обладали городские рабочие. «Пораженчество» означало ожидание войны как освобождения от большевиков. Далее следовали антиколхозные высказывания. Требования свободы вероисповедания соответствовали новой конституции, хотя Лупекин назвал их «контрреволюционными». Особенно опасной, как отметил Лупекин далее в своей сводке, была агитация крестьян за их объединение в политическую организацию, Крестьянские союзы, для противостояния государству, потому что «правительство о крестьянстве мало заботится». Это была именно та свобода политических объединений,

которую провозглашала конституция. В сводке товарища Лупекина действительно были отражены типичные требования, общие для всех регионов страны и бесконечно повторяющиеся в многочисленных документах различного происхождения.

Маркировка им этих требований как «контрреволюционных» многое говорит об инерции аппарата и его сопротивлении спущенным сверху свободам. Более того, дискредитация со стороны НКВД и местных властей поддержки населением конституционных свобод (особенно в отношении бывших врагов – духовенства, единоличников, кулаков), запугивание адресатов сводок опасными последствиями свобод, свидетельствует о дихотомии советской жизни. Конституция воплотила дискурс новых официальных норм, поощряя новые паттерны мышления и речи – «достижения социализма», «братство народов», «жить стало веселее», «все пути открыты для молодежи» и так далее. Эти формулы навязывали новое представление о социальной среде или, иными словами, строили социальную реальность. Чтобы выжить и быть успешными, люди должны были выучить эти речевые паттерны – как и где «говорить по-большевистски».

Идеологические нормы языка и поведения (ликующие демонстрации, тотальное политическое участие, энтузиазм, праздничное голосование) противоречили повседневному измерению с его голодной реальностью, хлебными очередями и угрозой ареста. Как и многие рядовые обыватели, чиновники инстинктивно чувствовали, что политические идеалы законности и либерализма очень сильно отличаются от работающих на земле неформальных норм – нарушений законности, нетерпимости, агрессивности, личных связей, клиентелизма, тем более что эти нормы еще недавно получали поддержку в официальном дискурсе (например, «враги повсюду»). Идея приближающегося социализма вдохновляла и утешала большинство, но им приходилось жить своей земной жизнью по неформальным правилам. Это был специфический навык – выбор правильного регистра: либо играть роль в соответствии с идеологическими нормами (на собрании), либо действие в соответствии с практическими (по умолчанию) нормами. Любовь Шапорина видела эту дихотомию, когда отмечала в своем дневнике

несовместимость мрачных, серых лиц толпы на Невском проспекте и радостных песен из радиорепродуктора.

Шум, какая-то толпа ободренных, желтых, изможденных, озлобленных людей; на углах неистовые громкоговорители, которых никто не слушает, но которые оглушают и поставлены нарочно, чтобы сбить людей с толку... Из-за жизнерадостных фокстротов и цыганщины, которыми оглушают толпу из всех громкоговорителей, из-за победных газетных од выползает чудовищный быт...^[214]

Принудительная повестка дня поощряла один лексикон и табуировала другой, тем самым скрывая реальные события (голод, расстрелы, крестьянские восстания), делая их вообще несуществующими. Конфликт формальных и неформальных норм заставлял советских людей в своем поведении колебаться как маятник, чтобы выжить^[215].

Критика, к которой призывали граждан в партийных, советских и конституционной кампаниях, подразумевала некоторые ограничения: она направляла недовольство населения на конкретные цели, такие как местные «бюрократы», но, конечно, не на высшее руководство Кремля и не на советскую политику. Несмотря на призывы к критике, жалобы на бедственное положение, беззаконие, угнетение, произвол властей или заявления о неверии в конституцию часто сопровождалась репрессиями. Те, кто не понимал этих ограничений критики, могли заплатить своей свободой или жизнью. Один из респондентов Гарвардского проекта вспоминал:

В 1936 году состоялась собрание, посвященное конституции... Собрание вел директор школы. Мой отец сказал там: «Все это ложь». Через три месяца его вызвали в НКВД, потом... они пришли, обыскали наш дом и забрали моего отца... Затем начался судебный процесс – он проводился «тройкой» [внесудебной комиссией]; присутствовало шесть свидетелей. Их выбрал директор школы. Отец был осужден по 58 статье [Уголовного кодекса, о контрреволюционных преступлениях] – шесть лет лишения свободы и три года лишения гражданских прав^[216].

Эта история и высказывания колхозников Левина, Шаталина и Фимушкина показывают, что, несмотря на аресты, свободные мнения высказывались публично, даже на официальных митингах, не говоря уже о частных разговорах, подслушанных и зарегистрированных НКВД.

Помимо контролируемых мероприятий, еще один источник информации – неорганизованные индивидуальные предложения по конституции в личных, групповых или анонимных письмах лидерам, ЦИК и газетам – предоставляет исследователю доступ к более независимым мнениям. Среди комментариев, внесенных в ЦИК, индивидуальные рекомендации составили 13,5 процента (или по другим оценкам до 25 процентов)^[217]. Мое впечатление от их разговорного языка таково, что неорганизованные индивидуальные комментарии в целом являются более достоверными, спонтанными и персонализированными, чем выступления на манипулируемых публичных собраниях, которые были насыщены штампами. Эти индивидуальные письма показывают, что людей не только заставляли участвовать, они также высказывались добровольно. В отдельных письмах были четко сформулированы не только частные интересы, но и гражданские ценности и желание внести свой вклад в процесс принятия решений. Колхозница Ф. М. Пилиндина из Богучарского района Воронежской области была явно воодушевлена гражданскими чувствами, когда писала в газету:

Может кто стесняется написать, а я напишу истинную правду, все мнение народа. Все благодарят советскую власть за то, что власть отобрала у помещиков все предприятия, все благодарят, что советская власть говорит, что войны не надо. Но колхозом не довольны, что все голодными по углам говорят, но явно боятся говорить... чтобы войны не было, а крестьянин работал всяк [по] себе, а государству сколько должен с гектара отдать. А то и я вижу – не хотят в колхозах работать. Неужели не слышать в редакции вот этого? ...Я слышу по народу, а на собраниях все боятся говорить, что мы в колхозе не хотим, работаем-работаем, а есть нечего. На самом деле – как жить? Все говорят у нас в колхозе хлеба почти совсем нет^[218].

Пакет индивидуальных предложений, озвученный вне массовых митингов, наряду с другими возможными мотивами отражал политическую осведомленность и элементы гражданского сознания у части населения. Свидетельства осознанного и ответственного участия граждан в общественной жизни нашли подтверждение в работах школы субъектности, которая подходит к сталинскому обществу с точки зрения личной, индивидуальной траектории освоения идеологии. Авторы отмечают, что стремление советского режима интегрировать индивидуальную жизнь граждан в масштабный процесс исторической борьбы за социализм стало привлекательным для многих людей. Идеи самосовершенствования, социальной активности и самовыражения нашли отклик в душах подрастающего поколения и вдохновляли романтиков из других групп, тем более что государство обеспечивало вознаграждение и стимулы. Конституция представляла желанную цель, которая была близка, прямо за углом. Участие в грандиозном проекте строительства социализма придавало ценность, смысл и историческую значимость жизни простых людей^[219], лишенных коммунистами-атеистами перспективы религиозного спасения.

Вопросы на собраниях и в кружках, записанные организаторами, были еще одним источником моего исследования, отражающим этот спонтанный первичный уровень понимания конституции населением и одну из форм политического участия. Ленинградские рабочие спрашивали: «Это тайна переписки, когда почта вскрывает письма, особенно если они идут из-за рубежа?» «Как только мы полностью расширим советскую демократию, мы сможем амнистировать белогвардейских эмигрантов?»^[220] «Будет ли свобода прессы и собраний распространяться на всех?» «Разрешат ли религиозные шествия на улицах?» На подобные сложные вопросы некий лектор Иванов отвечал: «Это дело темное. И его никто не объяснит»^[221]. Лекторы, которые записывали вопросы, вероятно, воздерживались от их редактирования, зная о возможных информаторах, которые также сообщали о ходе собрания. Тем не менее, надзор НКВД на собраниях несомненно влиял на высказывания тех участников, кто о нем догадывался. На митингах в крупных предприятиях участвовали агенты или контактные лица, перед которыми НКВД ставил конкретные задачи. Некоторым из них поручалось проявлять

активность в поддержке положительных высказываний. Другие агенты молчали и «работали на слух»^[222], то есть запоминали и доносили. Позже сельский школьный учитель вспоминал:

Жители села охотно дискутировали, но вскоре выяснилось, что требуется не их мнение, а согласие с мнением агитатора. Я хорошо помню такие собрания, на которых газеты читали и толковали для народа. Сначала было много вопросов от слушателей, но позже было введено правило, согласно которому все вопросы должны были быть записаны в протокол заседания. Это отбивало охоту от дальнейшего обсуждения и вопросов. Посещение собраний было обязательным. Я сам помню, как ходил на такие собрания во время обсуждения новой конституции. Люди очень хотели узнать все подробности о том, как будет действовать новый закон о выборах, и были, очевидно, удовлетворены, тем, что отныне они сами могут выдвигать несколько кандидатов через различные организации. Я не могу забыть чувство общего разочарования, когда после собрания агитатор предложил выдвинуть кандидатуру Сталина. Конституция 1936 года оказалась полной подделкой. Она обещал некоторые изменения, но на самом деле ни одно из них не было реализовано^[223].

Еще одной инициативой на низовом уровне после публикации проекта стали спонтанные неформальные сходки верующих, крестьян и интеллигенции, которые обсуждали нововведения конституции и возможные последствия для их судьбы, например, встреча 50 священников в Белгороде и 13 священников с 40 активистами в Ленинградской области. Местные власти и НКВД с большим подозрением относились к этим несанкционированным, хотя и полностью конституционным собраниям как к антисоветским сговорам^[224]. В силу своей охранительной функции НКВД рассматривало любую политическую деятельность за пределами официальных границ как угрозу режиму. Эти спонтанные собрания, хотя мы имеем редкие свидетельства о них, показывают заинтересованность граждан вне рамок официальной дискуссии. О глубоком впечатлении, которое конституция произвела на многих

граждан, мы знаем из дневников: не только элита – Михаил Пришвин, Корней Чуковский, Николай Устрялов, Владимир Вернадский, Галина Штанге, но и крестьянин Андрей Аржиловский, школьницы Нина Костерина и Нина Луговская – обсуждали конституцию в личных записях. Поскольку конституция расширяла льготы и права, она привлекла внимание крестьян, особенно групп, подвергавшихся ранее дискриминации. Она также бросила вызов общей политической практике и породила новые надежды, интерес и любопытство, по крайней мере в первые месяцы.

Несмотря на принуждение к участию и опасность репрессий, многочисленные выступления о повседневных трудностях и произволе чиновников на строго контролируемых собраниях, большое количество индивидуальных реакций (дневники и письма) и факт спонтанных собраний граждан – все это свидетельствует о добровольной политической активности. В документальных материалах, которые обсуждение конституции оставило историкам, мы слышим гораздо больше, чем только голоса пассивных потребителей, просителей и послушных субъектов. Многочисленные неконформистские высказывания, в том числе отвергающие колхозы или демократические инновации, говорят не только о недовольстве, личных счетах, но и об истинно гражданских интересах населения. Политическое участие может принимать различные формы – в демократических странах более эффективные, чем в авторитарных режимах. Комментарии показывают неожиданное разнообразие убеждений и поведения за официальным фасадом монолитного консенсуса. Среди множества возможных мотивов для участия – подлинный энтузиазм, послушание, самосохранение, прагматичные карьерные мотивы, демонстрация преданности, конформизм или спонтанное недовольство – некоторых граждан стимулировали гражданские ценности самореализации, политической заинтересованности и желание быть полезными для государственного управления, обычно связанные с осознанным ответственным гражданством.

Те, кто участвовал в дискуссии, использовали этот формат, поскольку он предоставил еще один канал для переговоров с представителями государства. Более того, казалось, что этот формат предоставляет им статус граждан, в отличие от позиции просителя,

обычной для традиционных писем во власть. Гражданский статус предоставил участникам возможность на равных разговаривать с властью, корректировать закон и даже критиковать – если не сам режим, то его бюрократов. Здесь стоит отметить большую долю голосов крестьян, которые еще раз продемонстрировали, что могут вести себя не как подданные, а как граждане, рассчитывающие на закон, права и свободы.

Хотя писание писем во власть часто упоминается в литературе как традиционная крестьянская практика доведения до царя жалоб на «бояр», рост эпистолярной активности в СССР – письма, жалобы, доносы – можно прочесть как практику модерна. Помимо роста грамотности, масштабы письмотворчества характеризовали новое качество коммуникации и потребность в гражданском и творческом самовыражении. Ограниченность действенных каналов гражданского участия в недемократической политике еще больше побуждала писать письма. Таким образом, простые люди, хотя и едва грамотные, восприняли эмансипирующий импульс революции, который дал им право высказываться (также в дневниках и любительской поэзии) и выступать за свои права и интересы^[225] (насколько эффективно – это другой вопрос). В целом, стремление крестьян донести свое мнение до власти проявлялось в формировании чувства принадлежности к государству – черте современной идентичности. Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что значительная часть этих обращений носила узкоэгоистический характер, касалась социального обеспечения или индивидуальных льгот, представляя традиционную патриархальную политическую культуру. Рост эпистолярной активности советских граждан был также следствием их ограниченных возможностей влиять на принятие решений^[226]. Кроме того, это отражает тенденцию к атомизации общества, когда индивидуальные или анонимные формы выражения (написание письма) доминируют над коллективными действиями.

Как крестьяне, так и рабочие охотно приняли на себя обязанность, связанную в официальном дискурсе с гражданственностью, сообщать о неэффективности системы и коррумпированных бюрократах. Своеобразное советское понимание этой обязанности в конечном итоге породило поток доносов – как бескорыстных (руководствуясь идеологическими или гражданскими мотивами), так и сводя личные

счета. Фицпатрик считает эту практику своеобразной формой политического участия. В конце концов мониторинг и общественный контроль за исполнением власти – это важная часть демократии как диалога власти и общества.

6.4. Советская публичная сфера в 1930-е годы

Конституционная кампания принадлежала к публичной сфере, сформированной государством, направленной на консолидацию общества на социалистических началах и создание нового советского человека. Однако в нишах институционализированной идеологии нашли себе место альтернативные публичные сферы^[227]. Многие нонконформистские комментарии указывали на существование таких альтернативных общественных пространств, хотя с точки зрения нормативной либеральной модели публичной сферы они покажутся несуществующими. Согласно теории, важными условиями либеральной культуры являются рыночная конкуренция и существование публичной и частной сферы. На первый взгляд в сталинском СССР их, казалось, не было. Но при более пристальном взгляде мы видим «серый» рынок и соревнование граждан за место под солнцем, а также сети независимых часто критических коммуникаций. Публичные пространства – как негосударственные коммуникативные структуры, способствующие диалогу по вопросам, представляющим общий интерес, – могут возникать даже в авторитарных государствах в результате автономного социального развития, иногда в подполье^[228].

Несмотря на конформизм и вторжение государства во все сферы, некоторая автономия и частная и общественная сферы продолжали существовать в СССР. Люди обсуждали политические события и высказывали независимые мнения, несмотря на осведомленность о слежке и угрозе ареста. Они действовали в соответствии со своими собственными взглядами и пониманием, например, протестуя, мигрируя, вновь открывая церкви без разрешения или требуя санкции прокурора во время ареста, следуя букве конституции (см. главу 9). В определенных условиях публичные пространства могли принимать различные формы: в советское время, например, самоорганизация в форме религиозных общин, благотворительная сеть старой интеллигенции помощи политзаключенным, казачьи хоры^[229] и, наконец, мир слухов и анекдотов. Даже бесконечные критические разговоры в очередях за продуктами могут указывать на низовое пламя автономного самовыражения. В выражениях протеста – стачках

(например, в Иваново в 1932 году), отстаивании крестьянских старых традиций – Линн Виола видит «устойчивость автономной [низовой] культуры, субкультур, и идентичностей внутри доминирующей [официальной] культуры сталинизма»^[230]. Сеть религиозных общин вокруг священников и «церковные двадцатки» были наиболее значительной инфраструктурой публичной сферы. Они воспринимались диктатурой как угроза, несмотря на пассивный характер оппозиции. В 1918–1932 годах в Ленинграде существовало несколько религиозно-просветительских братств и полулегальных религиозно-философских кружков, наиболее известным из которых было Александро-Невское братство. Оно объединяло в основном мирян – молодежь и интеллигенцию. Братства были разгромлены в 1932 году^[231]. Оживление «религиозников» во время обсуждения конституции показало, что эта истинно народная инфраструктура не умерла после всех тотальных репрессий, анти-религиозных кампаний и разрушения институциональной иерархии. Религиозный дискурс в ходе обсуждения конституции будет рассмотрен в главе 10.

Благотворительность в СССР была запрещена законодательно, как часть борьбы с церковью, но все же не исчезла. Благотворительные инициативы Всероссийского комитета помощи голодающим, организованного либеральной интеллигенцией в июне-августе 1921, и Церковного Всероссийского комитета были подавлены правительством в августе 1921 года^[232]. С 1922 по 1938 год в Москве действовала официально зарегистрированная организация Е. П. Пешковой, первой жены М. Горького, «Помполит», которая помогала политзаключенным и их семьям. Пешкова использовала личные связи с руководителями спецслужб – Ф. Дзержинским, а затем Р. Менжинским – для оказания ограниченной поддержки заключенным и ссыльным, а также информирования их родственников^[233]. Менее организованной формой была сеть интеллигенции, которая предоставляла зачастую анонимные пожертвования родственникам репрессированных или нуждающимся людям – своего рода неформальное «тайное общество». Поэты Анна Ахматова, Осип Мандельштам, его вдова Надежда, писатель Михаил Зощенко, лишённые государством какой-либо возможности работать или источников дохода, жили на такие безличные пожертвования в течение нескольких лет.

Благотворительность преследовалась. Группа из девятнадцати католических священников была арестована в апреле 1936 года в Киеве за пожертвования в пользу лиц, осужденных за контрреволюционные преступления. Сталин распорядился: «Сослать их в лагерь на 5 лет»^[234]. Неформальная благотворительность объединяла людей со схожими взглядами и ценностями, и не только среди интеллигенции и верующих. Взаимная помощь существовала и в других группах – преступников (общак), старообрядцев, еврейской и других национальных общинах как подпольная самоорганизация. После войны эта традиция возродилась в фонде А. Сахарова по оказанию помощи детям политзаключенных и фонде А. Солженицына. Когда мы читаем дневники Шапориной, Пришвина, инженера Попова и воспоминания Надежды Мандельштам, мы видим «острова обособленности» в тоталитарной среде: не только «частная сфера», которую инженер Попов оградил в своей жизни, но и сообщество единомышленников, окружавших Любовь Шапорину или Надежду Мандельштам, которые говорили на своем языке, разделяли ценности и жили по определенным моральным нормам – порядочность, честь, милосердие и достоинство, – очень отличным от официальных советских норм. Хотя эти люди обычно видели насквозь правительственную политику, едва ли принимали участие в мобилизационных «играх» и не писали в газеты, голоса этой либеральной субкультуры все же звучали в дискуссии, например, в предложении ленинградского инженера Глебова, который рекомендовал разрешить политические партии, чтобы не допустить ухода недовольства в подполье^[235].

Другой неформальной системой коммуникаций был мир слухов, распространенных повсеместно, но особенно в сельской местности (параллельно с культурой анекдотов в городском мире). Влиятельными нарративами 1930-х годов были взгляды на революцию как Апокалипсис и на колхозы как признак конца света, ожидания Варфоломеевской ночи (резни) для коммунистов и активистов, ожидания иностранной интервенции как освобождения, постоянный страх голода и войны и так далее. Другой популярной формой автономного выражения мнений были неподцензурные частушки и другой фольклор. Чиновники называли этот «скрытый транскрипт» (по выражению Джеймса Скотта) «кулацким агитпропом» и относились к

нему очень серьезно. Культурные работники применяли тактику создания суррогатного фольклора, побуждая системой поощрений народных бардов к созданию песен и сказок, прославляющих новую эпоху, ее лидеров и конституцию^[236]. Половина респондентов Гарвардского проекта называли слухи в качестве источника информации, а два из трех человек в этой группе называли этот источник «самым важным»^[237]. Низовой мир слухов и анекдотов^[238] в политическом и культурном контексте сталинизма служил альтернативным публичным пространством, неконтролируемым государством и противостоящим официальной суррогатной «инсценированной публичной сфере».

Неофициальный обмен идеями в обществе был достаточно ярким и живым. Например, Шейла Фицпатрик заключила: «Мы в конце концов нашли публику, хотя и не западного „буржуазного“ типа, и эта публика имела свое мнение, даже если это мнение обсуждалось не в кофейне, а за бутылкой водки, которая делилась на троих между незнакомцами на лестничной клетке». Сара Дэвис признала «исключительно эффективной неофициальную сеть информации и идей» в Советском Союзе и насыщенные альтернативные дискурсы, например, религиозный или националистический^[239]. В то время как государство контролировало все каналы общественных коммуникаций, альтернативные сети продолжали функционировать.

Подвергая сомнению идею Ханны Арендт о социальной атомизации в тоталитарных режимах, Шейла Фицпатрик обнаружила новые социальные связи вместо ослабленных или разрушенных правительством, таких как родственные, классовые или социальные. Среди стигматизированных групп в условиях изоляции укреплялись связи на рабочем месте, неформальные сети взаимных услуг (блат) и кланов «патронов и клиентов», среди заключенных спланивались сообщества «политических». Эти горизонтальные связи помогали советским гражданам выжить. Свидетельства новых связей подтверждают аргумент о том, что потребность человека в сотрудничестве породила автономные от государства коммуникационные сети даже при репрессивной диктатуре^[240].

Низовые публичные пространства давали отдушину для независимого выражения мнений и очерчивали пределы государственного контроля и его усилий по полной индоктринации

населения. Острова обособленности (интеллигенции или верующих) или «скрытые транскрипты» слухов связывали группы в дискурсивные сообщества, которые в условиях диктатуры были раздробленными и периферийными, не имели политического влияния и не содействовали консолидации общества в целом. Вместо этого они теплились как ростки публичной сферы, находя все-таки выражение в общенациональном обсуждении конституции как автономные, а иногда и либеральные голоса в инсценированной суррогатной публичной сфере. Развитие публичной сферы набирало обороты после десталинизации в 1950–1960-е годы, а затем, в 1970-е годы, становясь более интернационализированным^[241]. Однако Фицпатрик и Коткин считают, что не общественное мнение и стремление к свободе сыграли решающую роль в революциях 1989–1991 годов, а скорее политические решения руководства^[242].

Глава 7

Цели всенародного обсуждения Конституции

В сентябре 1935 года в письме Молотову Сталин предложил ввести референдум.

Насчет конституции я думаю, что ее ни в коем случае не следует смешивать с парт. программой. В ней должно быть то, что уже достигнуто. В программе же кроме того – и то, чего добиваемся. ...Конституция должна состоять из (приблизительно) семи разделов... 6. права и обязанности граждан (гражданские свободы, свобода союзов и обществ, церковь и т.п.) 7. Избирательная система. <...> Я думаю, что нужно ввести референдум^[243].

Формулировка последнего пункта подразумевала введение референдума как общей практики, а не как отдельного референдума по конституции. Это предложение было реализовано в статье 49: «Президиум ЦИК проводит опрос населения (референдум) (так в оригинале. – О. В.) по собственной инициативе или по требованию одной из союзных республик». В статье используется термин «опрос», который не обязательно подразумевает голосование, в отличие от определения референдума в оксфордском словаре: «всеобщее голосование электората по одному политическому вопросу». Обсуждение конституции 1936 года не предполагало голосования, и первый всесоюзный референдум состоялся в СССР только в марте 1991 года. Тем не менее, такие кампании народного обсуждения без голосования имели место и ранее, например, в 1927 году, когда «Крестьянская газета» пригласила своих читателей оценить на «Всесоюзном форуме» результаты строительства социализма^[244], и в 1936 году, когда обсуждался закон об абортах.

Почему так много усилий было направлено на мобилизацию общественного мнения вокруг конституции?

Официальный дискурс и советская историография провозгласили целями дискуссии «развитие советской демократии, коммунистическое

воспитание масс и политическое участие для борьбы со всеми недостатками и неэффективной бюрократией». Всеобщее участие в государственном управлении рассматривалось как черта коммунизма, согласно «Азбуке коммунизма» Н. Бухарина и Е. Преображенского (1920). Современная историография переводит это на язык социальных наук и концептуализирует цели дальше: от формирования общественного мнения, социализации и просвещения до стратегии мобилизации для привития сталинских ценностей в обществе^[245].

1. Одной из целей кампании был мониторинг общественных настроений^[246]. Власти всегда прикладывали немало усилий для отслеживания общественного мнения: с 1918 года они получали регулярные отчеты о политических настроениях от органов безопасности, партийных организаций, комсомола и военных, а также меморандумы о вскрытой частной корреспонденции. Многочисленные рекомендации и комментарии в ходе кампании тщательно собирались и регистрировались, но не для включения в законодательство или реализации на практике: только 20 рекомендаций нашли свое отражение в конституции, а тысячи других были оставлены без внимания (см. главу 12). Целью данного мониторинга был тест на советскость (см. п. 3 ниже).

2. Наиболее очевидной функцией обсуждения конституции было просвещение и внушение миллионам людей, загнанным в актовые залы и «красные уголки», советской идеологии. Образование было краеугольным камнем парадигмы Просвещения и ее последователей – большевиков. Они твердо верили в то, что просвещение и пропаганда способны изменить человеческую психику. Молодое поколение, не имевшее личного опыта капитализма, получило образование в новом духе в советских школах и армии. Но старшее поколение с их дореволюционными ценностями требовалось перевоспитать в системе политического образования – на занятиях в кружках, где конституция «изучалась» в несколько туров, и через газеты с их нормативным дискурсом. Именно через эти наставления и установки предполагалось формировать новые ценности и чувство политической общности, как атрибут Нового Человека и гармоничного общества. Эти публичные мероприятия, проводимые партией, работниками культуры и пропаганды, структурировали восприятие нового закона и, соответственно, комментарии.

3. По умолчанию общенародная дискуссия представляла собой новый способ легитимации власти посредством призывов к прямому выражению воли народа и в конечном счете к принципу народного суверенитета. Легитимность – это консенсус, достигнутый в отношениях между обществом и политической властью, при котором признается право последней на управление^[247]. Как фундаментальная черта политического режима легитимность имеет как минимум два основных компонента: с одной стороны, восприятие государственного порядка как приемлемого для большей части общества и, с другой стороны, уверенность правящей элиты на свое право на осуществление власти.

После социальных потрясений первого пятилетнего плана крайне важно было восстановить равновесие в отношениях между обществом и властью. Когда Сталин остановил массовые репрессии в 1933 году, он выразил озабоченность по поводу престижа власти: «Метод массовых и беспорядочных арестов... в условиях новой обстановки дает лишь минусы, роняющие авторитет советской власти»^[248]. Впрочем, диктатор забыл про престиж, например, во времена Большого террора, когда другие приоритеты циничной *realpolitik* перевесили. В 1937–1938 годах поток арестов привел к тому, что власть потеряла легитимность в глазах значительной части населения.

Любая политическая система пытается проецировать силу и стабильность для завоевания поддержки населения. Интервью Гарвардского проекта 1950-х годов подтвердили, что имидж сильного режима, сильной армии и ясной международной миссии сыграл важную роль в обеспечении лояльности молодого поколения среди респондентов и сдерживании нелояльности старшего^[249]. В 1936 году конституция упрочила легитимность советской системы в глазах как иностранных наблюдателей, так и собственных граждан, хотя это было краткосрочным и не всеобщим явлением^[250]. В главах 9 и 11 мы увидим, что многие граждане с самого начала не верили в прелести нового закона. Остальные поняли некоторое время спустя, что конституция не работает на практике – ее правовые термины фактически маскируют антиправовой, диктаторский режим.

Что касается советского правительства, то его постоянной заботой было восстановление и подтверждение легитимности. Для правительства, созданного в результате государственного переворота,

которое затем разогнало Учредительное собрание и спровоцировало гражданскую войну, это была нелегкая задача, особенно в условиях, когда главное обещание большевиков обеспечить «улучшение жизни» не было выполнено. Согласно Максу Веберу, из трех типов легитимности – традиционного, харизматичного и правового – харизматичный или революционный, по определению нестабильный, заставляет власть постоянно подтверждать свое право на управление через постоянные победы и частые обращения к культу харизматического лидера. Неуверенность в поддержке снизу порождала спорадические паники среди партийной элиты, как например, в дни болезни и смерти Ленина в 1923–1924 годах, так и во время военной тревоги 1927 года^[251], и в целом определяла склонность к государственному насилию.

Хотя легитимность режима имеет тенденцию к росту по мере его долголетия,^[252] особенно в глазах молодого поколения, неуверенность советских правителей в общественной поддержке привела к повторяющимся мобилизационным кампаниям и в конечном итоге репрессиям для запугивания и уничтожения сомневающихся. Хорошо документированный страх перед интервенцией, «пятой колонной» и заговорами ясно говорят о постоянном беспокойстве в Кремле. Самоощущение изолированности от общества подталкивало партию к постоянному поиску доказательств общественной поддержки и постановке политических спектаклей посредством массовых демонстраций, фестивалей и кампаний. Подозревая отсутствие подлинной лояльности со стороны большинства населения и ища легитимации, партия не знала иных средств управления, кроме мобилизации и запугивания. Некоторую связь между вспышками страха внешней угрозы и волнами внутренних репрессий историки интерпретируют как отражение ощущения уязвимости советской власти^[253]. Стремясь упрочить свои позиции, государство пыталось дополнить революционный режим легитимности правовым или бюрократическим типом (в категоризации Вебера) и представляло общенациональное обсуждение как прямое осуществление народовластия. Сам факт участия населения в дискуссии дал бы правительству законный мандат управлять страной. Писатель Михаил Пришвин выразил это следующим образом: «Вот почему я верил в конституцию и почему так часто стали говорить все народ и народ.

Теперь придется опираться на народ». В своем дневнике за 4 декабря, день принятия конституции, Пришвин объяснил цель кампании по обсуждению в религиозных образах:

Становясь... на правительственную точку зрения, конечно понимаешь, что там вполне искренне говорят и ждут настоящей «осанны», т.е. выражения подлинных народных чувств, и тогда уже после уверенности в настоящей осанне [можно будет] сказать «ныне отпускаеши»: говорите, пишите как хотите, ваша воля. Такая блаженная мечта: – Осанна! – вопит народ. – Ныне отпускаеши! – отвечает правительство^[254].

По смыслу восклицание «Осанна» уместно, когда большое дело завершено или достигнута большая цель. Пришвин имел в виду, что дискуссия была своего рода тестом на советскость, после которого свобода была бы предоставлена^[255]. Обращение к массовым репрессиям в 1937 году означало, что общество не прошло тест на лояльность.

4. В ином плане общенациональная дискуссия представляла собой своего рода тренировку общества в целях подчинения политическим нормам. Речь идет о социально-политической мобилизации – важной функции сталинизма для контроля над обществом и вовлечения его в деятельность, формирующую отношения и восприятия. Это был один из современных государственных инструментов социального управления – «подталкивание и воодушевление масс, чтобы они были готовы в полной мере содействовать достижению государственных целей»^[256]. Мобилизации показали свою эффективность в чрезвычайных ситуациях Первой мировой войны во всех воюющих странах. Война показала, что современные государства приобрели технологическую способность контролировать свое население на новом уровне и направлять его на достижение государственных целей с помощью новых форм массовой мобилизации, надзора, методов регистрации, полицейского регулирования и государственного насилия против отдельных групп населения. Тотальная массовая мобилизация и политическое насилие были элементами чрезвычайного режима власти Сталина в его стремлении быстро модернизировать страну и построить идеальное общество. Вот почему его политика казалась

такой противоречивой — консолидирующей и репрессивной, инклюзивной для сторонников и эксклюзивной для предполагаемых врагов, кнут и пряник.

Как социальная мобилизация, дискуссия 1936 года проходила одновременно с другими кампаниями, как консолидирующими, так и конфронтационными, по типологии Сергея Красильникова: кампания государственного займа, общенациональное обсуждение запрета аборт, стахановское движение, отчетная кампания в советах, показательный процесс Объединенного троцкистско-зиновьевского центра в августе 1936 года и «проверка» партийных документов, как обсуждалось ранее^[257]. Все в Советском Союзе, как отметил один историк, на самом деле было мобилизацией. Целью всех кампаний было искусственное оживление элементов государства и общества — советов, партии и населения, — объективно демотивированных централизацией и отсутствием материальных и рыночных стимулов при социализме. Важным условием мобилизаций являлась их тотальность, требующая всеобъемлющего участия. Стремясь к тотальности, государство пыталось монополизировать все публичное коммуникационное пространство, политизировать даже частную сферу, например, представляя новое жилье для граждан как благодеяние Сталина^[258]. Оно экспроприировало даже критический дискурс, когда партия запрашивала критические комментарии по конституции и советам, поощряла доносы и призывала к самокритике. Инсценированная публичная сфера, как ее назвал Габор Риттерспорн, навязывала дискурсивные конвенции и официальный язык, одновременно заставляла замолчать всех девиантов и была направлена на формирование однородного общественного мнения, единых ценностей и в конечном счете Нового Человека с новым сознанием.

5. Другими функциями мобилизации по умолчанию были обеспечение поддержки, увеличение промышленного производства и, самое главное, консолидация через массовое образование и социализацию. Пытаясь унифицировать общество, конституционная кампания ставила граждан в рамки идеального типа социализма, и они, в свою очередь, научились адаптироваться к требованиям системы. Приглашая людей обсуждать конституцию на собраниях и предлагать поправки к ней, кампания навязывала чувство единения, столь желанного в Кремле.

Философ Энтони де Яси объяснял процесс интернализации навязанных норм:

Вполне вероятно, что после того, как государство внедрит в сознание людей культ [например,] Баха, и они со временем научат себя любить его, они будут лучше отождествлять себя с государством, которое привило им свои собственные вкусы. Точно так же блеск президентского дворца, достижение национального величия и «быть первым на Луне» в конце концов могут вживить в общественное сознание определенное ощущение легитимности государства, возможно, растущую готовность подчиняться ему, независимо от надежды на выигрыш или страха что-либо потерять^[259].

Обсуждение конституции было еще одним упражнением по консолидации на пути к гармоничному социалистическому обществу, которое на данный момент резонировало с надеждами различных групп населения. Николай Устрялов в своем дневнике за 7 декабря 1936 года приветствовал этот объединяющий посыл конституции: «Демонстрация общегосударственной солидарности и социального братства. Хорошо! Отрадно. То, что нам не доставало... мы не были нацией в смысле концепции, которая требует от наций наличия общенародного сознания единства и целокупности»^[260]. Бывший эмигрант и отверженный, ныне репатриант и журналист, с восторгом следил за речью Сталина по радио о конституции и отметил, что для страны со слабым национальным сознанием пришло время осознать свою идентичность^[261]. Профессорская жена и общественница Галина Штанге выразила те же самые эмоции в своем дневнике: «Прошлой ночью была принята новая Конституция. Я ничего не скажу об этом: я чувствую то же самое, что и вся страна, то есть абсолютный, бесконечный восторг»^[262]. Всегда скептический Андрей Аржиловский, отсидевший свое, – и тот принял участие в праздновании:

Вчера город праздновал утверждение Сталинской Конституции. Таки утвердили всеобщее, прямое, тайное. Все, независимо от прошлого, имеют право голосовать и быть

избранными. Первый раз принимал участие в большой манифестации. Конечно, больше дурачества и стадности, чем энтузиазма. С задором бесконечно повторяют новые песни: «Тот, кто с песней по жизни шагает» и «Я такой другой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Является только другой вопрос: а разве при ином порядке не поют и не дышат? Я думаю, в Варшаве или Берлине еще веселей. Впрочем, может быть и по злобе. Во всяком случае, тыканье пальцами кончилось^[263].

Особым событием, призванным объединить народ и связать его с лидером, стала прямая радиотрансляция выступления Сталина на VIII съезде Советов 25 ноября 1936 года, в которой он подвел итоги дискуссии. Все население собралось вокруг радиоприемников: на заводах, в учреждениях, школах и воинских частях, даже посреди ночи во Владивостоке – до 25 миллионов человек. В связи с этим событием многие села наконец-то получили радиосвязь. Все дневники отметили этот эмоциональный момент «прямого» контакта со Сталиным (см. главу 12). Принудительная непрерывная трансляция на улицах, в общежитиях и гостиницах, объединяла людей общим саундтреком и, по словам Устрялова, «превратила всех нас в граждан мира»^[264].

Тем не менее, несмотря на риторику единства и стремление к тотальности, в документах референдума мы увидим напряженный, агрессивный и конфронтационный характер отношений в советском обществе, явный как в народном дискурсе, так и в официальной практике устранения критиков. Эта кампания была интеграционной по своему замыслу, но конфронтационной на практике. Аржиловский признал: «Нет, товарищи, трещину великую в русской земле никакой конституцией не замажешь, и власти из рук завоеватели не выпустят»^[265]. Вскоре после того, как Аржиловский присоединился к празднованию, он все-таки выразил недоверие к конституции – несмотря на формальное предоставление избирательных прав, «бывшие люди все еще находятся под подозрением», и он мудро решил воздержаться от критики бюрократов, к которой его призывали, ведь «все будет истолковано в дурную сторону, во всем увидят стремление опорочить партию, окрестят вылазкой классового врага»:

Хочется профельетонить всех этих милых друзей, разжиревших у народного богатства; но... горьким опытом научен я, что все эти разоблачения кончаются печально для публициста.

Чтобы от нас, бывших людей, ни исходило, все будет не так, – во всем будут видеть желание опорочить невинных коммунистов. Они строят бесклассовое общество не в широком смысле слова, а просто очки втирают. <...> Нас никогда не уравниют и не поверят, что мы все забыли, все простили. Мы прокляты до смерти^[266].

Необходимость интеграции, продиктованная коммунистическим идеалом, была также условием выживания большевистского режима в условиях глубокого раскола нации. Стремясь установить равновесие социальных сил и расширить социальную базу режима, конституция отказалась от принципа классовой борьбы и провозгласила «власть всех трудящихся». Конституция утверждала, что классовое и национальное неравенство было преодолено и заменено новой общностью – советским народом. Заменяя слова «депутаты рабочих и крестьян» словами «депутаты трудящихся», закон воплотил это новое видение общества. Кроме того, декларация уже построенного фундамента социализма представляла прежние обещания уже выполненными, чтобы убедить население терпеливо ждать прихода следующего этапа – светлого коммунистического будущего. Заявление конституции о единстве народа принадлежало советской системе символов с ее мифами Октябрьской революции, гражданской войны, фигурами Ленина и Сталина, а затем и победы в войне.

Со своими мобилизационными, интеграционными, мониторинговыми и воспитательными функциями кампания лета и осени 1936 года принадлежала к практике социальной инженерии – «приручению» общества путем внедрения моделей мышления и поведения.

Часть II

Восприятие Конституции населением

Глава 8

Повседневная экономика в 1936 году

Чтобы понять реакцию населения на конституцию и то, что переживали рабочие и крестьяне во время кампании по ее обсуждению, давайте рассмотрим экономический контекст повседневной жизни и особенно настроения крестьян.

Исторические описания экономики 1936 года посвящены преимущественно макропроцессам, которые после перенапряжения первого пятилетнего плана демонстрируют положительный рост. Однако на низовом уровне экономическая ситуация выглядит не столь оптимистичной. После хорошего урожая 1933 года, когда голод отступил, относительное экономическое улучшение позволило 1 октября 1935 года положить конец нормированию мяса, рыбы, сахара, картофеля и жиров, а 1 января 1936 года – промышленных товаров. Наум Ясный назвал период 1934–1936 годов «тремя хорошими годами». Олег Хлевнюк писал, что в 1934 году Сталин инициировал переход от «левых» крайностей распределения по карточкам к акценту на торговлю, денежную экономику^[267] и материальное стимулирование труда.

Экономический и политический ландшафт 1936 года характеризуется учеными как противоречивый и непоследовательный. Для жителей села он выглядел совсем иначе, чем для рабочих и горожан, для москвичей повседневная жизнь была не такой тяжелой, как для жителей небольшого уральского городка, где жил Андрей Аржиловский. Эти группы населения по-разному смотрели на экономику, зачастую из-за разных государственных норм снабжения. К тому же первое полугодие было легче, чем второе. Государственная статистика была более оптимистичной, чем разговоры в продовольственных очередях. Министерство иностранных дел Великобритании, используя скудные источники, которыми располагали дипломаты, проживающие в Москве, сообщало об экономике в 1936 году: «Материальные [условия] среднего рабочего на 30 процентов хуже, чем в 1913 году... Недостаток жилья неопишимо – намного хуже, чем в 1913 году»^[268].

Огромный рост промышленного производства в 1936 году сопровождался ростом производства потребительских товаров с 18 процентов в 1935 году до 27,2 процента от общего объема инвестиций в промышленность, превысив годовой план на 5,8 процентов. В отраслях, обеспечивающих одеждой и обувью население, прирост в натуральном выражении составил 23,9 процента по хлопковому текстилю и 37,3 процента по кожаной обуви. В пищевой промышленности особенно быстро росло производство мясопродуктов^[269]. Однако нехватка потребительских товаров была настолько острой, что люди не заметили этого роста: Галина Штанге, проживавшая в Москве, городе с лучшим в стране снабжением, в 1937 году по-прежнему жаловалась на нехватку одежды и обуви^[270].

В последнем квартале 1936 года темпы роста замедлились. Помимо глобального экономического кризиса, нереалистичного планирования и дезорганизации промышленности из-за репрессий и стахановского движения, существенной причиной замедления темпов экономического роста стала перегруженность экономики военными расходами. В 1936 году Советский Союз потратил 16 процентов своего бюджета на оборону, что было значительно больше, чем 11 процентов в предыдущем году. Численность вооруженных сил возросла с примерно одного миллиона человек в 1935 году до 1 300 тысяч человек в 1936 году и до 1 700 тысяч человек в 1937 году и Красная армия стала самой многочисленной в мире^[271]. Сравнивая военный и потребительский секторы, Р. В. Дэвис показал, что в 1936 году производство вооружений выросло более чем вдвое по сравнению с 1932 г., а производство потребительских товаров – всего на 27,2 процента^[272]. В 1936–1940 годах рост военных расходов серьезно перегрузил и без того перенапряженную экономику и привел к росту проблем со снабжением промышленности и сельского хозяйства. Культурные факторы также повлияли на то, как люди реагировали на экономические трудности: поскольку руководство ожидало чудодейственного социалистического роста, и лидеры, и население обычно объясняли трудности заговорами и преднамеренным вредительством врагов, а не объективными экономическими причинами^[273]. Соответственно этому были и принимаемые меры.

Крупнейшим бедствием года стал массовый неурожай – наихудший с 1932 года. Вести о засухе уже начали просачиваться, но несмотря на

это летом 1936 года на встрече с комбайнерами Сталин, вдохновленный хорошим урожаем 1935 года, поставил цель увеличить урожайность зерна на 50 процентов в ближайшие три-четыре года. Это были благие пожелания. Из-за засухи урожай зерновых, по различным оценкам, упал на 18–25 процентов и составил около 56 миллионов тонн^[274]. Это сопровождалось забоем скота и эпидемией тифа в Смоленской, Брянской и Калининской областях^[275]. Длинные очереди – неизбежное отражение дефицита – образовались в городах отчасти из-за того, что жители деревень и плохо снабжаемых малых городов хлынули в крупные города и промышленные центры с лучшим снабжением, чтобы закупить хлеб. Трудной зимой 1936–1937 годов Аржиловский постоянно отмечает в дневнике очереди за продуктами, саркастически вспоминая знаменитый сталинский девиз «Жить стало лучше, товарищи»:

В очередях стоят по шесть – восемь часов и говорят о том, что будет война.

...[Я] все-таки наголодался и голодаю...

...Опять волынка с хлебом, огромные очереди, давка.

Гудит хриплый гудок нашего завода, счастливая жизнь страны начинается. В очередях за хлебом и горохом сегодня особенно приятно.

...К 6 [часам] сходил занял очередь за хлебом. Там уже стоят счастливые люди нашей страны, привыкают к социализму.

...И стоят за хлебом в длинных очередях, постукивая озябшими ногами. Вот так идет житуха – в нашей счастливой стране, где так вольно и совершенно бесплатно дышит человек.

В очереди женщина говорила, что в деревне мрут колхозники...

Хлебная лихорадка в городе не прекращается, трудноато существовать, но люди привыкли. Очереди занимают с 2 часов ночи.

В очереди у завода была драка с кровопролитием, и приезжала пара милиционеров. Не могут люди осознать своего счастливого бытия!

...Ну, а пока что мы пользуемся завоеванными благами революции и собираемся идти в очередь за горохом, который государство продает 1 р. 30 коп. за килограмм, т. е. минимум

дороже «кулацких» цен в 20 раз. Это на двадцатом году замечательной нашей революции! И надо полагать, что горох будет вкусным^[276].

В июле сводки НКВД сообщали правительству о неурожае и нехватке продовольствия на многих европейских территориях: на Волге, в Башкирской и Татарской автономных республиках, в Оренбургской, Челябинской, Воронежской областях, в Саратове, Иванове, Курске, Горьком, Сталинграде^[277]. В декабре 1936 года НКВД зарегистрировал случаи голода в Саратовской области, а в феврале 1937 года – в Саратовской области и Республике немцев Поволжья. В некоторых местах был отмечен каннибализм^[278]. М. Калинин получал письма из села: «В Курской и Воронежской областях царит голод и полная нищета. Очень многие жители остаются без хлеба в течение нескольких дней. Вместо хлеба они едят разные растения. Люди бродят как дикие звери, ищут кусок хлеба»^[279]. Советская пресса держала голод в тайне и пыталась изобразить положительную картину, а советские чиновники, тот же Калинин и заместитель комиссара сельского хозяйства РСФСР Н. Лисицын, заверяли общественность, что урожай хороший. Любые «обывательские» разговоры о неурожае могли привести к аресту и обвинениям в контрреволюционной пропаганде. Это произошло с гражданами Хроловым и Ворожцовым, арестованными за беседы в санатории в августе 1936 года. Они обсуждали «продовольственные трудности» в некоторых регионах и жестокие методы закупок зерна:

Ворожцов говорил... у них в Горьковской области очень туго с хлебом у них на районе, что крестьяне приходят в город ночью, становятся в очередь... Был случай такой. Приходят из сельсовета к крестьянину в избу, а он в это время сушит на протвине крупу. И тут же с протвиня снимают крупу [и конфискуют]^[280].

По оценкам Р. В. Дэвиса, урожай 1936 года был почти наверняка таким же низким, как и в 1932 году^[281], но на этот раз правительство проводило совершенно иную политику, которая предотвратила рост смертности от голода^[282]. Новое понимание социальных условий в

сельской местности повлияло на отношение государства к проблеме неурожая. В 1932 году правительство рассматривало крестьян как классовых врагов и саботажников коллективизации и оставило их голодать без помощи. Теперь же правительство рассматривало деревню как успешно коллективизированную, врагов полагала уничтоженными, и поэтому не наказывало крестьян за «саботаж» поставок. Напротив, в 1936 году правительство сократило государственные обязательства колхозников по поставкам на 44 процента и направило в пострадавшие районы продовольственную помощь и семена, – они поступили на места зимой^[283]. Как отметила Е. Осокина, ни в одном из отчетов партии и НКВД 1936 года не содержалось обвинений крестьян в саботаже. Большая часть голодных смертей приходилась на единоличных крестьян, а не на колхозников, получавших помощь^[284]. «Уже в июле и августе 1936 года смертность была на 50–60 процентов выше, чем в те же месяцы 1935 года, причем в сельской местности этот рост был выше, чем в городах»^[285].

На это раз правительство справилось с неурожаем намного лучше, чем в 1932–1933 годах. Уже в августе оно сократила экспорт зерна и кормов и полностью остановила его к февралю 1937 года, сократив экспорт зерна с 1517 тыс. тонн в 1935 году до 321 тыс. тонн. Резервы зерна, накопленные в изобильном 1935 году, позволили обеспечить продовольственную помощь колхозам и дополнительные поставки хлеба и муки в города в четвертом квартале, но ситуация «оставалась тяжелой в течение первой половины 1937 года» до следующего очень богатого урожая^[286]. Кроме того, домохозяйства не были так уязвимы, как в 1932 году, поскольку в 1934–1936 годах приусадебные участки поддерживали крестьян и колхозные рынки развивались. В результате голод не был таким катастрофическим, как в 1932–1933 годах: но несколько тысяч человек умерли от голода. Тем не менее, очереди в городах, нехватка всего, голод в деревне создали неблагоприятные условия для прославления достижений и празднования социализма. Недовольные люди обобщили: «Что это за социализм построен? Чтобы получить хлеб, доходит до драки [в очередях]. Мы стоим в очередях часами: когда же работать?»^[287]

После либерализации торговли в предыдущем году, 20 января 1936 года правительство разрешило сельскому населению районов, уже выполнивших поставки урожая государству, торговать хлебом на

рынках. Этим летом ответственность за поддержание колхозных рынков была возложена на местные советы, что свидетельствовало о возрождении торговли. Однако эта либерализация, как результат хорошего урожая, продолжалась недолго. После решения Пленума Центрального комитета в июне 1936 года циркуляр НКВД от 20 июня запретил коллективным хозяйствам и отдельным лицам торговать хлебом, зерном и мукой на колхозных рынках^[288]. Как и ожидали скептические крестьяне, свободная торговля хлебом была приостановлена в августе-сентябре 1936 года, когда правительство узнало о неурожае.

Нехватка продовольствия и промышленных потребительских товаров носила хронический характер, что приводило к очередям и спекуляции. Правительство боролось с этой постоянной проблемой путем организации комиссий, повышения цен и применения репрессий. 19 июля Политбюро издало указ о выделении большего количества текстиля и обуви для четырех крупных городов европейской части СССР, повысив цены на 25–30 процентов, и параллельно с этим потребовало арестовать и выслать до 5 тысяч спекулянтов. «К началу сентября 4003 человека были осуждены тройками НКВД в этих городах, а в 25 регионах судами было осуждено еще 1635 человек»^[289]. 19 сентября инженер из Москвы писал Молотову, что в поисках детской обуви он за один день посетил 40 магазинов и, наконец, нашел пару за 48 рублей – почти треть среднемесячной зарплаты:

В беседе [интервью] с Шастенэ Вы сообщили громогласно на весь СССР и весь мир, что в течение ближайших 2-х лет цены будут снижены, а через несколько месяцев цена на обувь, мануфактуру и другое повышены. Ой, как это нехорошо получилось. Ведь все это тянется уже более 10 лет, до каких пор? ...Зачем озлоблять народ? ...Поднимается возмущение... С Вас ответственности не снимается^[290].

Тактика сельского населения в преддверии голода была вполне естественной – бегство из колхозов и отказ от работы. Документы рисуют отчаянную ситуацию. В некоторых регионах резко возрос массовый отказ от работы на колхозных полях – до 40 процентов в

августе в Сталинградской области; в июле – 55 процентов в колхозе Дубрава Воронежской области; в декабре – 90–95 процентов в этой области. Проблема мотивации к работе на полях была корневой для колхозной системы, но теперь уклонение от полевой работы переросло в забастовку. В колхозе «Красный Строитель» Воронежской области работницы избили председателя колхоза, заставлявшего их работать. Причина: отсутствие оплаты за трудодни – ни деньгами, ни натурой^[291]. Люди вспоминали прошлый год: «С хорошим урожаем мы получили только один килограмм за трудодень; в этом году мы не получим даже этого». В колхозе «Сталинец» Саратовского края бригадир Арефьев, 70 лет, говорил: «Я не буду заставлять членов своей бригады работать без [оплаты] хлеба. Хватит их обманывать. Шесть лет обещаний, а хлеба нет. Мы голодаем»^[292]. Ввиду неурожая колхозники не надеялись на компенсацию после обязательной сдачи госзаказа осенью и искали альтернативные способы выжить в трудные времена. Они больше не полагались на колхозы, заточенные на поставки государству и оплату труда работников только по остаточному принципу. Поэтому колхозники предпочитали работать на личных огородах и устремлялись в лес для сбора грибов и ягод, чтобы обезопасить себя от голода^[293]. Отчаянную ситуацию в колхозе в мае 1937 года описывает 16-летний мальчик:

Во ВЦИК тов. Калинину. От гр-на дер. Клетино Нерльского р-на Калининской области Горячева Федора Петровича.

В настоящем заявлении прошу обратить внимание на мое положение. 12 апреля 1937 года у меня повесился отец на работе председателя колхоза. В октябре месяце 1936 года его выбрали в председатели на время – на две недели, но так как народ осенью почти [весь] ушел на сторону, то всю зиму пришлось ему работать председателем так как 1936 год был неурожайный и семян к посеву в колхозе не хватило... К началу весеннего сева в колхозе был только один мужчина – я Горячев Федор 16 лет и еще мой товарищ Гучков С.Ф.... а засеять нам нужно было 82 гектара ярового сева. Отец мой повесился, написав записку «Силы больше нет, работать дальше не могу». А нас осталось 5 человек детей: 1. Поня 21 год, но она учится в Москве. 2. Я Федя 16 лет; 3. Клавдия 12 лет; 4. Ваня 7 лет; 5. Нюша 4 года; 6. Сережа 9

месяцев и 7. Бабушка 75 лет (у нее сломанная нога), 8. мама. На такую семью у нас после смерти отца осталось 5 фунтов хлеба. Но в этот же день, правда, нам оказали помощь 80 кг муки. Полученную муку мы давно съели и как нам дальше кормиться я даже не придумаю. Просьба разобраться^[294].

В последовавшем 19 июня опросе Федор отвечает на вопросы представителя власти Савельева:

...Было 35 дворов, сейчас осталось в колхозе 15 дворов. Все трудоспособные вообще разъехались, потому что в 1936 году ничего не получили на трудодни... Остались в колхозе старики да старухи. Работать некому. Весной... дней 8–10 пахали только мы двое с товарищем 17 лет, да отец мой, а больше никого из трудоспособных нет... Была малость женщин, но они на работу не ходили, потому что почти каждый день ездили [в город] за хлебом... Да, дней 8 пахали только вдвоем. Отцу некогда работать, он ходил то на перекличку, то в сельсовет.

Вопрос: А собрания в колхозе были?

– Через день были. Приезжали из РИКа... А отца гнали, что люди ушли.

Вопрос: Отца прижимали?

– Он совался в район, говорил, что работать некому, а на него нажимают – надо развертываться. Он же не виноват, что народ разошелся. Разве народ удержишь?

Вопрос: А народ ушел без его согласия?

– Да какое им согласие нужно? Найдут работу. И справок даже не спрашивают^[295].

Получить такую справку-разрешение от председателя колхоза или сельсовета было сложно, но важно, так как в отсутствие у колхозников паспортов для получения работы в другом месте требовалось хотя бы такое суррогатное удостоверение личности. Но отсутствие справки не мешало массовому бегству из колхозов в города. Страх перед голодом заставлял крестьян обходить закон. Процесс депопуляции деревни усилился во время коллективизации, когда рабочая сила в промышленности росла на 1 300 тысяч человек в год (плюс

депортация крестьян в ГУЛАГ), и продолжался в 1930–1940-х гг. Хотя разрешения получали далеко не все уезжающие крестьяне, количество разрешений, выданных в Оренбургской области, по сравнению с 1935 годом увеличилось в два-три раза^[296]. Общая численность занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилась в 1936 году на 1,3 млн человек, или на 6 процентов^[297].

В октябре многие колхозы не могли выполнить государственные поставки (их первейшая обязанность) и не имели зерна для оплаты членам в натуральной форме. Резюме годовых отчетов, составленных колхозами в 1934–1939 годах, показывает, что в 1936 году около 10 тысяч колхозов в стране совсем не платили своим работникам зерном, 100 тысяч не выдавали картофеля и 26,5 процента колхозов не платили денежную долю^[298]. Деревенские руководители делали все что могли в этих тяжелейших условиях. Столкнувшись с нехваткой зерна и массовым бегством, некоторые председатели колхозов отказывались выполнять квоты на государственные закупки (их основная обязанность перед уплатой членам), а вместо этого распределяли имеющееся зерно между членами колхоза, нарушая тем самым закон о приоритетности государственных поставок^[299]. Причина: иначе все колхозники бежали бы в города. «Сначала мы должны обеспечить членов колхоза, а государство получит остатки». В августе в Ярославской области председатель Ворошиловского колхоза А. А. Данилов собрал несколько председателей и сговаривался бойкотировать государственные поставки. Данилов выступил на пленуме сельсовета, но представители партии из района помешали проведению такой забастовки^[300]. Иногда сельские руководители пытались портить зерно сорняками, ожидая, что государство не примет зерно низкого качества (непригодное для хранения), и оно отойдет к членам хозяйства, которые все равно смогут его употреблять в пищу^[301]. НКВД сообщал, что многие руководители колхозов нарушали закон, пренебрегая созданием семенных резервов (засыпка семян была другой первоочередной обязанностью), а вместо этого распределяли зерно среди колхозников еще до поставок государству. Многие затягивали уборку урожая и обмолота, ожидая, что государство снизит квоты в связи с неурожаем. Колхозники часто срывали колхозные собрания требованиями заплатить крестьянам зерно за трудодни прежде государственных поставок – такие

протестующие были арестованы в Макаровском, Черкесском, Актарском, Бакурском, Новорепинском, Ершовском, Кистендейском и Романовском районах Саратовской области^[302].

Соппротивление на низовом уровне, перед лицом голода ориентированное на удовлетворение местных потребностей колхозников за счет выполнения государственных поставок, НКВД называл «антигосударственными тенденциями среди некоторых руководителей колхозов и районных организаций». Противостояние имело место в Западной и Восточной Сибири, Казахстане, на Северном Кавказе, в Красноярском, Кировском, Саратовском, Горьковском краях, Татарской автономной республике, Куйбышевской, Ярославской, Сталинградской, Курской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской областях, в Башкирии, Грузии и Украине^[303]. Это был открытый вызов колхозной системе, созданной в целом для перекачки ресурсов из села и снабжения в первую очередь промышленности и армии. Такое «антигосударственное» экономическое поведение вызвало эскалацию репрессий. После сбора урожая многие местные партийные и советские руководители были арестованы – например, начальник управления сельского хозяйства Воронежского областного комитета партии С. И. Булатов – за низкие выплаты колхозникам за трудодни, а также секретарь комитета партии Татарской области за потерю скота^[304]. «Антигосударственные тенденции» или сельскохозяйственные забастовки против закупок продолжались осенью 1936 и зимой 1937 года^[305].

Другой распространенной формой крестьянского сопротивления в 1936 году было «антимашинное (или антикомбайновое) настроение» среди председателей колхозов и населения. Вредительские поломки техники были нередки во время коллективизации и представляли контрнарратив культу технологий как элементу советской этики. Официальные источники интерпретировали умышленные и случайные поломки, а также случаи халатности как преднамеренное вредительство, совершенное классовыми врагами. В 1931 году они составляли 2250 случаев в СССР, или 14,9 процента от всех случаев «вражеских посягательств» на колхозы^[306]. С внедрением техники в колхозах новое явление повреждения машин, которое Виола сравнила с луддизмом^[307], выглядело оправданным в крестьянском сознании. Не связанные прямо с политикой, антикомбайновые инциденты отражали

искусственность и неэффективность колхозной системы. Часто они были выражением скрытой вражды внутри села, обостренной новыми привилегиями. В сравнении с беспаспортным большинством, комбайнеры и трактористы стали привилегированной группой в колхозе; они получали паспорта, и более того – в отличие от рядовых колхозников – зарплату и минимальный доход в денежной и натуральной форме, гарантированные государством с 1935 года^[308]. Другая причина неприязни к комбайнам: в особых условиях 1936 года, когда урожай был столь низким, обязательная его часть шла механизаторам в качестве оплаты и в убыток для других членов. «Сейчас урожай такой плохой, но за комбайн надо платить зерном», поэтому председатели колхозов «Красный пахарь», «Чапаев» в Саратовской области и «Подольский» в Западной области отказались от использования комбайнов^[309]. Парадоксально, но комбайны, облегчающие сельский труд, конкурировали с рядовыми колхозниками, оставляя их без работы. Если бы комбайн собрал весь урожай зерна, колхозники не заработали бы трудодней и не получили бы зарплату осенью. Хуже того, крестьяне жаловались на низкое качество уборки комбайном – до 10 и даже 20 процентов зерна терялось, унесенное ветром или как-то иначе^[310]. Газета «Правда» признавала, что даже в передовых колхозах зерноуборочный комбайн может собирать только половину зерна на полях, и советовала крестьянам использовать более простые машины для сбора остального^[311]. Анонимные формы протеста – вброс железных предметов в машины и замусоривание полей железными палками для повреждения комбайнов – были зарегистрированы в 1936 году и рассматривались как вредительство^[312]. Эгоистичные экономические мотивы указывались в ноябрьском 1933 года докладе политического отдела машинно-тракторных станций, в котором говорилось о жалобах колхозников на большие суммы, уплаченные за использование техники, и их убеждении, что ручной труд был более производительным^[313]. Антимашинные протесты были результатом демотивирующей организации труда в колхозах.

Наиболее распространенным способом спасения крестьян от надвигающегося голода и колхозного крепостного права было бегство. Для предотвращения этого была ограничена свобода передвижения колхозников. В 1933 году государство выдало горожанам внутренние

паспорта, регулирующие доступ к работе и жилью. Во избежание панической голодной миграции, сельские жители (за исключением механизаторов) были исключены из паспортизации и зависели от сельского совета, который мог отклонить или выдать удостоверение личности (справку), разрешающее выезд. Это напоминало условия крепостничества. Только в 1976–1981 годах советские крестьяне получили паспорта и право на передвижение.

Начиная с июля 1936 года, когда засуха вызвала неурожай, целые бригады, в том числе бригадиры, комсомольцы и партийцы, бежали в промышленные центры или совхозы. В августе бегство стало массовым. НКВД арестовывал тех, кто агитировал за побег, но это было бесполезно. Крестьяне говорили: «Засуха. В колхозе хлеба все равно не будет, нужно найти работу в других местах или умереть с голоду»^[314]. Трактористы тоже бежали: «Нет смысла работать. Колхоз не дает денег и хлеба, мы не хотим ходить голодными, раздетыми и босыми». Толпы осаждали сельские советы, требуя разрешения на выезд. Многие уходили без бумаг. Вследствие нехватки рабочей силы уборка урожая оказалась под угрозой: задержки привели к дополнительным потерям зерна^[315].

Только 6 ноября «Правда» наконец-то признала засуху, но не бедствие:

В сельском хозяйстве грозный враг встал на пути неизменных колхозных успехов – небывалая засуха почти на всем необъятном пространстве Союза. ...Перед всеми этими завоеваниями социализма... такими как дисциплина колхозного труда, социалистический энтузиазм на полях, подкрепленные армией созданных большевиками тракторов, – грозные призраки бедствия отступили. Для них нет места в стране победившего социализма^[316].

В таких вот условиях крестьяне были вынуждены обсуждать конституцию. Экономическая ситуация в деревне влияла на настроение и поведение колхозников. Неудивительно, что посещаемость собраний была низкой. Руководитель колхоза объяснял: «Колхознику сейчас не до обсуждения конституции, т.к. он почти голодный»^[317]. Именно на фоне плохого урожая, угрозы голода и

бегства колхозников, исключение крестьян из конституционных гарантий, таких как свобода передвижения и социальное обеспечение, только усилило их желание оставить село и переехать в город или на стройку. Там, став рабочими, они могли иметь право на социальные пособия и полное гражданство.

Глава 9

Либеральный дискурс

Широкий спектр мнений, высказанных в 1936 году, стал еще одним отражением осознанного участия населения в политической жизни, а не просто поддакивания пропаганде. Классифицируя полифонию общественных реакций, можно выделить несколько тем, вызвавших наибольший интерес населения: прямые тайные выборы, гражданские права, принадлежность к социуму, верховенство закона, социальное обеспечение, демократические процедуры и местное управление. Комментарии граждан, характеризующие советскую массовую политическую культуру, можно тематически отнести к двум основным категориям. Первая – это комментарии в поддержку демократических, гражданских, умеренных, примирительных, толерантных (например, в отношении религии) ценностей и признание индивидуальных прав, которые близки к нашему пониманию либеральных ценностей.

Вторая группа мнений поддерживала регулирование, исключение и дискриминацию и может быть отнесена к антилиберальному дискурсу. Нетерпимость к какому-либо иному, агрессия по отношению к санкционированным меньшинствам, ненависть к врагам, всеобщая враждебность, но уважение к власти, приверженность ценностям, воспринимаемым как одобренные руководством, обычно ассоциируются с авторитарным (Х. Арндт, Т. Адорно) или тоталитарным (А. Эткинд и Л. Гозман, А. Крылова и другие) типом личности и политической культуры. Некоторые мнения, свидетельствующие о приверженности коллективизму (в противоположность индивидуализму), этатизму, клиентелизму и персонификации власти, часто ассоциируются с традиционными крестьянскими обществами. Эта классификация^[318], продиктованная характером моих источников, будет определять стратегию для последующего анализа. Эти категории будут рассматриваться в контексте официальной культуры, продвигающей добродетели Нового Человека: преданность социализму, нетерпимость, коллективизм, антирелигиозность, скромность, человечность, альтруизм, самосовершенствование и нелиберальная субъектность^[319]. В этой

главе я утверждаю, что озабоченность многих граждан по поводу индивидуальных и гражданских прав, функционирования советов, избирательной реформы и законности, а также политическая активность говорят в пользу существования либеральных элементов в советской массовой политической культуре.

Демократия была главным вопросом в дискуссии, и простые люди имели свои собственные идеи на этот счет. Донской казак, работавший бухгалтером, сказал после войны в интервью:

Я считаю, что русский народ не готов к демократическому правлению. Ему нужен период подготовки к демократии. Но русский народ настолько мудр, что может развивать самоуправление. Свободным голосованием, как в 1913 году [автор имел в виду 1613 год] люди собрались на Земский Собор. Если бы они могли собираться таким образом, выбирать своих представителей, если бы система партий не была подавлена, они могли бы это сделать ^[320].

Другой корреспондент считал, что только с помощью иностранцев самоуправление может быть успешным в Белоруссии:

(Считаете ли вы, что белорусам было бы хорошо иметь собственное независимое государство?) Да, было бы неплохо, но американцы должны оставаться там надолго. (Вопрос: Что значит, американцы должны там оставаться?) Американские солдаты, как в Германии, потому что люди в наших краях не знают, как себя вести. Их следует научить, что красть, лгать и убивать – это плохо ^[321].

Еще один корреспондент, мелкий колхозный служащий и учитель из Украины, «очень сильно подчеркивал демократические устремления российского крестьянства, заявив, что они не были одурачены псевдodemократией при выборах своего председателя колхоза и других лиц» ^[322].

9.1. Юридические новшества Конституции

Юридические нововведения конституции вызвали живой интерес у граждан. Частью «умеренной» тенденции в политике в 1934–1936 годах стал переход к большей законности и частичной реабилитации верховенства права. После десятилетий применения «революционной» внеправовой практики и массовых арестов крестьян во время коллективизации новый поворот воплощал тенденцию к большей стабильности и порядку, который время от времени инициировался правительством для сохранения контроля.

Среди нововведений конституции были новые правила выборов судей, повышение роли защиты и необходимость согласования арестов у прокурора. Они соответствовали проведенной в 1934–1936 годах реорганизации судебной системы, направленной на возрождение правовых процедур и совершенствование отправления правосудия. Но главной целью реорганизации была централизация и контроль над судьями, прокурорами и следователями^[323]. Эта реорганизация соответствовала двойственной модели, сохранявшейся в советской политике: с одной стороны, правительство укрепляло правовую систему, с другой стороны, продолжало осуществлять внесудебные операции. Согласно проекту конституции, суды всех уровней должны были избираться соответствующими советскими органами, а народные суды низшего уровня – избираться прямым, равным и тайным голосованием всего электората каждого региона. В Ленинграде и Смоленске от 5 до 7 процентов авторов комментариев предлагали, чтобы все судьи и прокуроры избирались в демократическом порядке^[324]. В Горьковском крае в 15 из 400 комментариев поддерживалось избрание квалифицированных судей, которые будут регулярно отчитываться и могут быть отозваны, а 10 комментариев были за назначение судей, один голос против адвокатов в суде и один за введение смертной казни^[325]. Уставшее от произвола население одобряло законодательные новшества конституции, которые породили ожидания и требования прекратить репрессии. Многие полагали, что арестованные будут теперь помилованы и освобождены из тюрем^[326].

Как руководители, так и простые люди были недовольны низкой квалификацией юристов. В 1934–1935 годах правительство попыталось улучшить юридическое образование судей^[327]. Стандартизированное образование потенциально повышает единообразие и усиливает государственный контроль над судебной

системой. Как показывает советская официальная статистика, к 1 июня 1936 года более 50 процентов прокуроров и народных судей Российской Федерации не имели юридического образования, а лишь 5 процентов окончили юридические факультеты на университетском уровне^[328]. Для решения проблемы низкой компетентности 10 июля 1934 года Центральный комитет партии издал приказ о проверке всех судей, в результате которой 12 процентов из них были отстранены от должности как некомпетентные. Но замещающие оказались не лучше^[329]. Участники дискуссии поддержали идею избрания и отзыва судей и прокуроров, настаивая на том, чтобы судьи имели соответствующее образование и квалификацию^[330]. Конституция, однако, не требовала каких-либо правовых знаний или формальной подготовки судей. Во всех областях, не только в судах, ощущалась нехватка квалифицированных кадров.

Частью судебной реорганизации было расширение полномочий института защиты в советских судах, и это получило одобрение в обсуждении. В 1920-е годы когорта старых адвокатов была уничтожена, и советские суды демонстрировали неуважение к институту адвокатуры. В 1935 году прошла «специальная адвокатская чистка», во время которой «много было вырвано тогда из наших рядов самых талантливых и честных»^[331]. Только рост новых советских кадров, «усвоивших нашу советскую точку зрения», сделал поворот в пользу адвокатуры «своевременным и уместным», заявил в сентябре 1936 года глава Комиссариата юстиции Николай Крыленко. Идея независимости всех сторон в суде, однако, была сформулирована Крыленко весьма своеобразно. Крыленко, имевший склонность к незаконности и упрощению процедуры, ясно дал понять, что хотя защита должна быть независимой, «определенный» политический контроль и «определенное» направление защиты со стороны государственных органов необходимы, поскольку «наша защита должна быть советской»^[332]. Независимость судей – не подлежащих увольнению или внешнему контролю со стороны других институтов в системе управления, – является важнейшей характеристикой эффективного современного государства. Но начиная с 1936 года местные партийные комитеты регулярно проверяли работу судов и прокуратуры. Несколько попыток проигнорировать директивы партии и советских властей были предприняты некоторыми судьями, которые

ссылались на конституцию в свою поддержку. Независимость оставалась нереализованной после 1936 года, поскольку наем, финансирование и надзор за юридическими лицами оставались под партийным и советским контролем^[333].

В ходе подготовки к выборам народных судей путем тайного голосования журнал «Советская Юстиция» опубликовал список качеств, необходимых советскому судье в соответствии с новой конституцией. Порядок был следующий: а) верность социализму и партии Ленина и Сталина; б) политическая, большевистская стойкость и бескомпромиссность в борьбе с врагом; в) политический опыт; г) образование и культура; д) вдумчивое и серьезное отношение к людям; е) спокойствие и прозорливость. Эти качества должны обеспечить «независимость и подотчетность судебных работников только закону»^[334]. Лояльность была на первом месте, квалификация – на четвертом. Такой приоритет был типичным требованием для всех советских функционеров.

Акцент, сделанный в проекте закона на открытом судебном процессе и праве обвиняемого на защиту (статья 111), нашел положительный отклик в обществе и вызвал ряд предложений снизу. Живой интерес вызвала статья 109 о народных судьях, получившая 1551 комментарий, заняв шестое место по популярности. Население, которое едва ли имело историческую возможность развивать сильные традиции правовой культуры, сейчас, после произвола коллективизации, выразило интерес к законности – не слишком многочисленные, но повторяющиеся требования (32 в моих архивных записях) о создании независимого, открытого суда и подотчетности судей (26 рекомендаций лишь в одной сводке). Некоторые корреспонденты вполне обоснованно предложили платить судьям из центрального бюджета для обеспечения независимости от местных властей. В своих комментариях заинтересованные граждане хотели больше верховенства права, меньше произвола: «Лишение права голоса должно налагаться только судом, а не сельским советом», как это делалось ранее в соответствии с конституцией 1918 года^[335]. Одобрение правовых нововведений может отражать стремление к нормализации в обществе в условиях нестабильности и некоторую преемственность с дореволюционной культурой, когда судебные

разбирательства являлись обычным средством разрешения конфликтов, даже в сельской местности^[336].

Эта группа комментариев указывает на существование определённого уровня правосознания в общественном сознании, хотя большинство в целом продемонстрировало слабое понимание того, как действует закон. Статья 127 Конституции^[337] закрепляла требование прокурорского разрешения на арест, продвигаемое прокурором Андреем Вышинским с целью ограничения полномочий НКВД. Необходимость санкции прокурора была введена ранее в июне 1935 года, следуя секретной инструкции Политбюро от 8 мая 1933 года «О порядке ареста». Вот это конституционное положение о прокурорской санкции вызвало многочисленные протесты среди сельского населения – 1098 из 3218 замечаний по данной статье^[338]. Непонимание народа объяснимо: сельские жители в глаза никогда не видели прокуроров и даже милиции не хватало: «У нас на селе прокурора нет. Значит, человек будет безобразничать, хулиганить и никто к нему не подступись, пока прокурор не разрешит?»^[339] Люди рассматривали требование о санкции прокурора как препятствие правосудию, особенно в отдалённых селах. В соответствии с обычным правом мелкие преступления, такие как кража лошадей, обычно решались на месте путем прямых немедленных действий, часто просто кулаками^[340]. Восемь процентов ленинградских респондентов и 13,3 процента жителей Смоленска отвергали необходимость применения санкции прокурора^[341]. Люди часто требовали, чтобы каждый гражданин имел право задерживать преступника, пойманного на месте преступления^[342].

В условиях правового невежества, привычного произвола и частых откатов власти к внеправовым мерам, в сочетании со свежей памятью о массовых депортациях раскулачивания, должностные лица и население имели лишь смутное понимание, кто имеет право на арест. Из-за отсутствия милиции во многих селах и наличия законного оружия у членов партии местные органы слишком часто злоупотребляли властью в ходе гражданской войны, а затем коллективизации. Хотя закон предоставлял право на арест только милиции, прокуратуре и НКВД, местные власти – председатели колхозов, советские или партийные секретари – использовали арест

как распространенную практику, например, для принуждения крестьян в колхоз. Аргументы протестов против санкции прокурора на арест (отсутствие милиции или прокуроров в селах) определенно свидетельствуют о том, что недовольство вызвано скорее традициями обычного права и непониманием судебной процедуры, чем одобрением населением самоуправления местной власти.

Несмотря на недопонимание, обсуждение конституции играло важную просветительскую роль, информируя людей об их правах. Известно, что в последующие десятилетия конституция стала оружием всего советского диссидентского движения, которое постоянно указывало на несоответствие между законом и практикой. Эта модель возникла в 1936 году. В условиях внеправового хаоса Большого террора жертвы постоянно требовали выполнения положений конституции. Как написала Молотову жена арестованного в декабре 1936 года: «Право на труд записано в нашей сталинской конституции», но она была уволена и не могла найти работу^[343]. Респондент послевоенного интервью вспоминал такой эпизод:

Весной 1938 года в нашей школе на Донбассе был арестован 35-летний учитель, женатый, с двумя детьми. В Конституции говорится, что задержание какого-либо человека милицией может производиться только с разрешения прокурора. Когда двое милиционеров пришли в 11 часов ночи, чтобы арестовать его, он не открыл дверь и спросил через нее, есть ли у них разрешение прокурора на его арест. Они ответили: «Нет». Учитель сказал им, что, согласно Сталинской Конституции, они не имеют права арестовывать его без разрешения прокурора. Милиционеры заявили, что у них есть только приказ начальника отделения. Но учитель требовал разрешения прокурора. Затем один милиционер остался, а другой пошел к начальнику милиции и рассказал ему эту историю. Начальник милиции... приказал милиционеру не обращать внимания на требование учителя и, если учитель окажет дальнейшее сопротивление и не откроет дверь, выбить дверь и насильно арестовать его. Когда они начали выбивать дверь, учитель открыл дверь и был арестован. Позже его жена сказала мне, что его обвинили в контрреволюционной

деятельности, в том, что он рассказывал политические анекдоты^[344].

Конституционный принцип о санкции прокурора в 1937–1938 годах на практике игнорировался. Другой интервьюируемый, украинский механик, рассказывал:

В сталинской Конституции, которую мы все должны были изучить, говорилось, что арест возможен только при предъявлении санкции прокурора и при наличии судебных гарантий. Но когда в 1937 году НКВД привел меня прямо с рабочего места в тюрьму, я не увидел никаких следов этих гарантий, и если бы я попытался воспользоваться своими конституционными правами, это только ухудшило бы мое положение^[345].

Замечу, что современные социологические исследования показывают: правовое сознание в российском обществе по-прежнему находится в зачаточном состоянии^[346].

9.2. Работа Советов и избирательная реформа

Работа советов и избирательная реформа были сердцевинной новой конституции как для ее авторов, так и для читателей. Равные выборы с тайным голосованием являются ключевым элементом демократии, и именно это нововведение было предложено лично Сталиным в 1935 году, став стимулом для реформы всей конституции. Новая избирательная система отменяла классовые ограничения, неравенство избирателей в городах и селах, а также не прямые многоступенчатые выборы. Однако, несмотря на политику «социального примирения», репрессии по признаку социального происхождения продолжались.

Инструкции М. Калинина и ЦИК (см. главу 6) об организации обсуждения конституции направляли народное недовольство на членов местных советов и плохих управленцев. Это было нетрудно – настроить население против «бояр»: винить во всех бедах тех, кто находился в середине властной иерархии, было уже исторической традицией. После революции крестьянские массы изначально поддерживали советы как потенциальный инструмент автономного самоуправления. Но постепенно они разочаровывались в сельских и районных советах, которые становились все более контролируемыми партией-государством. В 1920-е годы центральная партийная бюрократия подчинила себе советы, взяв на себя их управленческие функции. В конце концов советы из органов самоуправления превратились в бесправные органы для сбора налогов и продвижения государственных интересов. Сельчане судачили: «Среди крестьян разговоры, что в ВИКе [волостной совет] сидят не наши, которые знали бы нужды крестьян, а... ответственные должности занимают назначенцы...»^[347] Люди сомневались в независимости избранных депутатов. Под давлением вышестоящей администрации и государственной бюрократии депутаты были ограничены в представлении интересов народа. Неэффективность советов, система назначения на должности, запрет на участие зажиточных крестьян в выборах и навязывание сторонних кандидатов – из города или членов партии – вызвали недоверие населения к этим органам и демотивировали участие в ежегодных выборах. В 1922 году явка избирателей составила всего 22,3 процента, а в 1924 году она была

настолько низкой, что результаты выборов во многих населенных пунктах были отменены. Официальные лица (а позднее и советская историография) объясняли такое неучастие отсталостью, общим равнодушием к политике, плохими коммуникациями и огромными расстояниями. Однако главной причиной было разочарование в этом институте из-за его бессилия. Из 2073 частных писем от 1924–1925 гг. 96 процентов были посвящены недовольству местными советскими властями^[348].

Народ окончательно потерял доверие к власти и перестал ходить на сходы «собрания», теперь назначены перевыборы советов... но граждане прямо-таки говорят, что нам там делать нечего, наш голос не слышен, не пойдем и все. Пусть один предвика Чердаков по примеру мартовских перевыборов, сам себя и других избирает.

Власть снизу доверху есть назначенская, председателя и секретаря сельсовета граждане не избирают, а откуда-то присылают, хорош ли, плох ли, не твое дело. Мы раньше при царизме и то избирали старосту и старшину, а теперь при соввласти нам нет ни малейшего доверия^[349].

Требования равного представительства всех слоев крестьянства и политического паритета между крестьянами и пролетариатом продвигали принцип всеобщих равных прав на протяжении послереволюционного десятилетия. Крестьяне апеллировали к этому основополагающему принципу демократии, когда указывали на нарушение их прав в Конституции Российской Федерации (РСФСР) 1925 года:

Разбирая закон Конституцию, невольно бросается в глаза статья 9, где жителю города дано больше преимуществ, чем крестьянству, там сказано, что рабочие имеют представительство на съезд на 25 000 жителей одного представителя. А крестьянство от 125 000 жителей тоже одного; мне как крестьянину кажется странным это, и думается, что здесь есть сынки и пасынки... Ему [крестьянину] за все эти заслуги – да одна пятая часть избирательных прав... Я вношу статью на суждение самих масс и

прошу рассмотреть этот вопрос на очередном Всероссийском Съезде Советов^[350].

В 1920-х годах крестьяне часто требовали изменения конституции в свою пользу, свободных выборов с несколькими кандидатами и равенства бедных и богатых крестьян в советах^[351]. Непропорционально высокое представительство бедных крестьян, продвигаемых партией в местные советы, а также отстаивание советами государственных интересов, а не интересов крестьян, дисквалифицировало советы в глазах большинства сельских жителей^[352].

В середине 1930-х годов, в новых социальных условиях, после раскулачивания и когда остальные деревенские жители были уравнены в колхозах, проблема представительства богатых крестьян отступила, но не проблема эффективности советов. Они подвергались многочисленной критике сверху и снизу, особенно в отдаленных сельских районах. Советы были уполномочены собирать налоги и пошлины, выдавать паспорта и документы, удостоверяющие личность, тем, кто хотел покинуть село. Основными источниками жалоб крестьян были произвол и злоупотребление властью (например, аресты и произвольное наложение штрафов), хищения и пьянство советских руководителей^[353]. Пренебрежение правовыми процедурами являлось нормой, а произвол раскулачивания лишь усугубил ситуацию. Сводка ЦИК о советских выборах 1934 года и указ от 15 мая 1936 года показали, что большинство советов не выполняли наказы избирателей, а депутаты не отчитывались о своей работе перед избирателями^[354]. В этих условиях совершенствование работы советов было необходимо.

Демократический характер конституции и целенаправленные усилия организаторов кампании породили новую волну надежд, а также критики среди населения. В многочисленных требованиях снизу (45 в моих записях, 4 процента в данных Гетти и 2 процента в отчете Горьковского края) мы слышим разочарование работой системы советов и желания большей подотчетности, прозрачности местной администрации и оперативности ответов на запросы. Статьи 142 и 95, касающиеся регулярной отчетности депутатов перед избирателями и отзыва неэффективных депутатов, получили соответственно 1048 и

395 замечаний из 43 427 зарегистрированных, с 305 рекомендациями относительно периодичности отчетов^[355]. Эти комментарии апеллировали к одному из столпов демократии – депутаты должны нести ответственность перед избирателями. Но учитывая практику фиктивных выборов, депутаты больше зависели от своего начальства, чем от своих избирателей.

Воронежские руководители сообщали ЦИК: «Ожидания и требования к советам возросли; большинство всех предложений (о конституции) касаются местных властей». Правда писала: «Советский гражданин... безжалостно критикует недостойных руководителей, бюрократов, которые не помогают ему сделать свою работу более эффективной, а жизнь более культурной»^[356]. Здесь запрос на критику во время отчетной кампании в советах летом и осенью 1936 года вполне отвечал постоянно тлеющему всеобщему недовольству. Некоторые участники отвергали право местных депутатов на неприкосновенность. Подвергая критике местных бюрократов, люди иногда сомневались и в партийной верхушке: «А отчитывается ли Верховный Совет регулярно перед избирателями?» «Сталина кто выбирал – мы или без нас кто-нибудь?»^[357] Но критика в адрес высших должностных лиц не предусматривалась. Вместо этого кремлевские руководители планировали дисциплинировать чиновников среднего звена руками народа. Британский дипломат Маккиллоп заметил в сентябре 1936 года, что советский гражданин, которого призывали критиковать,

должен... отказаться от своих критических полномочий, когда речь заходит о неприкасаемом истеблишменте – лиц на высоких должностях, – но содействовать им в выявлении и ликвидации неэффективных работников среди тех мелких должностных лиц, с которыми он ежедневно соприкасается и, тем самым, снизить чувство безнаказанности среди избираемых лиц^[358].

Люди приветствовали новый закон о выборах как возможность привести к власти своих подлинных представителей, которые будут защищать их интересы против партийного государства.

Теперь при выборах нужно будет организоваться так, чтобы в совет не попали чужие нам люди, а чтобы были избраны свои. ... При новых выборах, используя Конституцию, народ избирет народное правительство, которое даст полную свободу. [В результате] кто захочет – останется в колхозе, а кто не захочет – будет хозяйничать по-старому, получив в свое пользование кусок земли. Коммунисты и евреи освободят Украину и уйдут в Великороссию, а Украина будет самостоятельной. При новой власти восстановят церкви [\[359\]](#).



Собрание правления колхоза «Новая жизнь». Московская область. 1930-е гг. Библиотека Конгресса США / Library of Congress, Prints and Photographs Division [reproduction number: LC-USW33-024194-C]

За такие разговоры житель Украины Ватаженко был арестован. Люди настаивали на проведении выборов с несколькими кандидатами на всех уровнях: «Перед выборами как в сельские так и в районные советы, вплоть до Верховного [Совета], нужно партийным и общественным и организациям рекомендовать не одну, а несколько кандидатур лучших людей, чтобы народ мог сам себе выбрать» [\[360\]](#).

Они отстаивали право выдвигать кандидатов от не аффилированных объединений – от местных организаций и трудовых коллективов, сельскохозяйственных и спортивных коллективов, тракторных станций, групп домохозяек (44 предложения) и от отдельных лиц (25 предложений по расчетам ЦИК)^[361]. Обычные люди рассматривали выдвижение кандидатур отдельными лицами и самовыдвижение как прямую демократию. Но не Сталин. Он отклонил самовыдвижение на июньском Пленуме ЦК 1937 года^[362]. Колхоз, однако, в конце концов, стал номинирующим органом в соответствии с последующими разъяснениями 1937 года к закону о выборах. Выдвижение кандидатов было решающим этапом, позволявшим партии-государству контролировать выборы. Ленинградские рабочие ясно это видели: «Формально будет тайное голосование, но положение от этого не меняется, так как кандидатуры в советы будут намечаться сверху». «[В любом случае], будем выбирать только низовых работников. Кандидатуры же в высшие органы будут выдвинуты сверху. А наше дело только подать голос, а от себя нельзя выдвигать кандидатов»^[363].

Глава XI «Избирательная система» получила огромное количество комментариев – в общей сложности 6369 – 14,2 процента от всех предложений, систематизированных ЦИК^[364]. Из этого числа статья 135, которая ввела всеобщее право голоса и отменила институт лишенцев, получила 4716 замечаний и стала второй после самой востребованной статьи 120 о пенсионных пособиях^[365].

Неудивительно, что вопрос о правах граждан оказался в центре обсуждения. Он представлял собой радикальный сдвиг в политике и затрагивал личные интересы миллионов людей, исключенных ранее из полноценного гражданства. После революции конституция 1918 года узаконила классовый принцип, который лишил прав гражданства многих людей, называемых «бывшими» – священников, кулаков, бывших полицейских, торговцев и дворян^[366]. Первоначально эта группа составляла 2–3 процента населения – если верить Сталину^[367]. В конституции 1924 года эта категория была расширена. Был детализирован список дореволюционных должностей и титулов, которые не позволяли их владельцам и семьям голосовать, и добавлена категория нелояльных Советской власти. Во второй половине 1920-х годов большевики вновь ужесточили ограничения на избирательное

право, исключив офицеров Белой армии, членов «контрреволюционных партий», жертв политических репрессий и членов их семей, сделав группу в три раза больше. По разным оценкам, эти отверженные составляли 7,7 процента взрослого населения в городах и 3,5 процента в сельской местности – более 5 миллионов человек^[368]. По оценкам Фицпатрик, в 1929 году их число составило 8,6 процента от общего числа взрослых, а по оценке Сергея Красильников – 3 716 855 человек, или 4,89 процента от общего числа избирателей. Коллективизация расширила этот круг в результате депортации кулаков, но, по словам Молотова, в 1934 году после некоторого смягчения политики лишённые избирательных прав составили 2,5 процента, или более двух миллионов из 91 миллиона избирателей^[369]. Решение о лишении избирательных прав принималось местными избирательными комитетами с подачи советских, ОГПУ или финансовых органов. По словам А. Добкина, в этой группе преобладало пожилое и нерусское население. Доля духовенства с семьями составляла 20 процентов в сельской местности и 5–8 процентов в городах РСФСР; купцов – до 40 процентов в городах РСФСР; ремесленников и «эксплуататоров», использующих наёмный труд, – до 27 процентов в городах и селах^[370]. Для лишённых это был вопрос жизни или смерти, поскольку государство лишало их не только права голоса, но и права на жильё, продовольственные карточки, образование и работу, наказывало их повышением налогов и, что особенно опасно, делало их первыми объектами периодических массовых операций. Документы описывают волны самоубийств среди лишённых^[371]. И Красильников, и Добкин пришли к выводу, что остракизму подверглись не столько политические оппоненты режима, сколько независимые, энергичные и предприимчивые элементы общества, способные самоорганизоваться и заложить фундамент гражданского общества.

Ликвидация дискриминации являлась главным нововведением конституции, которая взбудоражила общество. Аржиловский в своём дневнике отметил указ ЦИК от 14 марта 1937 года, которым предписывалось прекратить судебные дела, ограничивающие право голоса по причине социального происхождения, имущественного положения или прошлой деятельности. Он сомневался: «Чтобы от нас, бывших людей, ни исходило, все будет не так... ...Мы прокляты до

конца жизни и как бы ты ни перековался – тебе не поверят и при первой возможности заклюют и заплюют»^[372]. Он был прав. Примирительное послание конституции и предоставление права голоса «чуждым элементам» не оказало прямого влияния на практику НКВД, который продолжал преследовать определенные группы по причине их социального происхождения или прежней принадлежности к запрещенным в настоящее время партиям. В конечном итоге количество «чуждых элементов» среди арестованных в 1936 году не уменьшилось и составило 26,9 процента. Превентивные массовые операции были направлены против кулаков и мулл в Азербайджане (приказ Политбюро 16 декабря 1936 года), церковников (циркуляр НКВД от 27 марта 1937 года) и бывших меньшевиков (циркуляр НКВД от 29 апреля 1937 года)^[373]. Нарратив примирения, очевидно, относился к идеологической сфере – что должно быть, – а не к политической реальности. НКВД подчищало «отжившие свое» группы, и это не противоречило образу нового общества, представленному в конституции.

Статья о всеобщем избирательном праве разделила общество. Комментарии против интеграционной политики примирения будут рассмотрены в главе 10. Здесь я сосредоточусь на одобрительных высказываниях. Это новшество вызвало прославление населением великих демократических принципов, которое охотно озвучивали газеты. Граждане спешили вписаться в общий поток. Более прагматичную поддержку высказывали те, кто считал, что их права нарушены: верующие, кулаки, колхозники и даже рабочие. Приветствуя всеобщее право голоса, верующие хотели большего; они хотели изменить прежнюю жесткую политику: освободить заключенных священников и прихожан, вновь открыть церкви, обеспечить соблюдение религиозной свободы и положить конец злоупотреблениям и произвольным поборам с церкви^[374]. Колхозники были другой группой, недовольной своим статусом второго сорта: недоступностью социальных льгот, высокими налогами в колхозах, исключением из процесса принятия решений и невозможностью покинуть колхоз. «В конституции для колхозника нет никаких улучшений. Она открыла путь для кулака и священника, но для нас ничего не изменилось». «Конституция хороша только для... рабочих и служащих»^[375]. Крестьяне оперировали именно такими понятиями,

как гражданство и дискриминация, когда требовали свою долю социальных выплат и участия в принятии решений (см. главу 12).

Рабочие, формально являвшиеся «привилегированным» классом, также воспользовались случаем и выражали громкие жалобы на эксплуатацию. Они просили, чтобы конституционная норма о семичасовом рабочем дне, предусмотренная в статье 119 для «подавляющего большинства трудящихся», соблюдалась на практике, и сообщали о том, что в провинциях они работают по 12, 17 и даже 19 часов без какой-либо компенсации за сверхурочные или выходные дни^[376]. Рабочий И. А. Аненков, из г. Обоянь Курской области, попросил предоставить ему право на земельный участок, небольшой домик и скот для выращивания дополнительного продовольствия. Рабочие жили на такую низкую зарплату, что «не могут прокормить свои семьи, поскольку колхозы все еще производят слишком мало продовольствия для рынка».

Согласно нового закона Конституции свобода слова и свобода печати, то разрешите написать свое мнение. Я вот утерять свое здоровье за годы строительства и на производстве работать не могу. Я лично обессилел, ослаб, износился и ничем не обеспечен, и как жить не знаю. У меня двое детей и жильем не обеспечен, нет квартиры. Хотя б иметь возможность получить бесплатно усадебной земли для огорода и сделать хотя б землянку или плохонькую хатку и жить как в квартире и не наносить вреда и ущерба государству [прося пенсии]. Человек, живущий на земле пролетарий, неужели не имеет права пользоваться кусочком земли как усадьбой... Я никогда сроду не имел своей хаты и огорода, а теперь явилось желание иметь огород и пожить в своей хате и не шляться по квартирам, у меня в поисках квартир все здоровье пропало, а когда жилья нет, то и работать невозможно. Хотя б немного пожить спокойно и независимо... и [прошу] разрешить кустарное ремесло личного труда одиночки без найма других. ...И разрешить торговлю строительными материалами для индивидуального строительства, [такими] как лес, кирпич^[377].

Раньше подавляющее большинство промышленных рабочих владели своей долей земли в сельской общине, а также избами, в которые они обычно возвращались после выхода на пенсию. После коллективизации такая практика прекратилась, о чем свидетельствует обращение этого рабочего. В этой просьбе перечислялись повседневные трудности, с которыми пролетариат сталкивался в стране диктатуры пролетариата: недоедание, дефицит, бездомность и жалкая пенсия. Но судьба депортированных кулаков была куда хуже.

9.3. Права спецпереселенцев в свете Конституции

Наиболее активной группой, поддерживающей всеобщее избирательное право, были высланные в специальные поселения кулаки численностью 1 056 633 человека на сентябрь 1936 года. Во время коллективизации в 1930–1931 годах 1,8 миллиона крестьян, включая членов их семей, были депортированы на Север, Дальний Восток и Сибирь на принудительные работы с целью колонизации отдаленных районов, эксплуатации природных ресурсов и, на официальном языке, для перевоспитания в социалистических граждан. К 1 января 1932 года в специальных поселениях оставалось только 1,3 миллиона человек: 500 тысяч бежали или умерли^[378]. Эти ссыльные крестьяне с энтузиазмом приветствовали получение ими права голоса, но они также ожидали освобождения и свободы передвижения. Предоставление избирательных прав ссыльным привело к правовой и административной неразберихе вокруг их свободы передвижения, коренящейся в значительной степени во внеправовой практике депортации крестьян, без официального приговора и точных сроков ссылки. Массовое выселение во время коллективизации осуществлялось не судебной властью, а советскими административными органами. Согласно закону, указывают Линн Виола и Сергей Красильников, такая ссылка в административном порядке влекла за собой индивидуальную (а не семейную) депортацию, свободный (а не принудительный) труд и ограничивалась пятью годами. Чрезвычайная внесудебная практика депортации целых семей с привлечением к принудительному труду и без сроков высылки нарушила закон и создала правовой вакуум вокруг вопроса об освобождении, что позволило властям манипулировать этим вопросом с помощью подзаконных актов и инструкций в соответствии с их сиюминутными потребностями^[379].

Возвращение ссыльных началось уже в 1934 году,^[380] но после опубликования, а потом принятия конституции лица, высланные во время коллективизации, массово обращались за разрешением на возвращение домой, и многие из них покинули спецпоселения без разрешения. НКВД сообщал о массовом возвращении депортированных в январе 1935, июле 1936 года и принимал меры к

его прекращению^[381]. Писатель Михаил Пришвин в дневнике от 10 июня 1937 года изобразил странников, появившихся на русских дорогах – ссыльных крестьян, идущих домой пешком. Картина трагическая:

Вот как наступило летнее тепло, на шоссейной северной дороге появились люди с желто-зелеными лицами, идущие как черепахи, покачиваясь. Спросите, откуда они идут, – «из Архангельска». Семь лет работал, всех похоронил, а изба [в родной деревне] цела. Иногда это дети уже кулаков, а сами кулаки кончились на лесозаготовках. Идут они месяца по два.

Эти «призраки» побудили Пришвина написать Молотову:

Неужели же они лет за пять работы своей на северных реках по лесосплаву не заработали себе билет на обратный проезд, хотя бы в товарном вагоне? Не говоря о человеческом чувстве сострадания, которые возбуждают эти воистине несчастные тени прошлого, такое пешее хождение, ночевка в деревнях в течение месяцев, мне думается, политически нам сейчас крайне нежелательны. Ведь даже если они научились на севере вовсе молчать, то не молчит их вид, до последней степени тягостный и никак не отвечающий той картине жизни счастливой страны, которую все мы стремимся создать^[382].

Статья 135 Конституции, устанавливающая всеобщее право голоса и восстанавливающая гражданство миллионам, в течение долгого времени была предметом обсуждения в деревнях и спецпоселениях, на Лубянке и в Кремле. Период с 1930 по 1936 год был периодом зигзагов в политике – от уступок к ограничениям – в отношении прав специальных поселенцев. Указом ЦИК от 3 июля 1931 года для спецпереселенцев был установлен пятилетний срок, который в принципе означал окончание срока их ссылки в 1934–1935 годах, но частичное и избирательное восстановление их прав началось раньше. Для мотивации труда были сделаны уступки молодежи и хорошим работникам, которые продемонстрировали свою лояльность. Например, в мае 1932 года ЦИК восстановил права группы ударников

в составе 931 депортированных лиц. Важной уступкой молодежи стал указ ЦИК от 17 марта 1933 года, который предоставил право голоса детям депортированных, достигшим совершеннолетия.

ОГПУ стремилось извлечь выгоду из этой уступки, поручая местным отделениям использовать этот шанс для мотивации молодежи повышать производительность, для вербовки их в качестве информаторов, а также «в целях расслоения [населения] кулацкой ссылки» – старая практика ЧК – ОГПУ. Указ ЦИК от 27 мая 1934 года определял, что трудолюбивые лояльные депортированные, номинированные сотрудниками ОГПУ, могут получить гражданские права уже после пяти лет ссылки, а ударники среди молодежи даже ранее^[383]. Но через несколько дней, 9 июня, внутренний циркуляр ОГПУ № 43 был направлен в территориальные управления с требованием ограничить предоставление прав. Во-первых, этот циркуляр «О порядке восстановления спецпереселенцев в гражданских правах», подписанный заместителем главы ОГПУ Г. Ягодой, главой ГУЛАГа М. Берманом и Г. А. Молчановым (Секретно-политический отдел ОГПУ), предписывал местным офицерам не проводить «массовой реабилитации», а отбирать граждан каждого индивидуально. Во-вторых, циркуляр предусматривал обременительную бюрократическую процедуру реабилитации. В-третьих, он предлагал использовать уступку для «отрыва молодежи от к.-р. [контрреволюционной] части стариков, также для приобретения новой агентуры [среди молодежи]». Наконец, документ позволял реабилитированным покинуть специальные поселения, но поручил ОГПУ уговаривать их остаться и ввести для этого ряд льгот^[384]. Мотивами было закрепление населения на осваиваемых землях и недопущение возвращения в родные места и сведения счетов.

Похоже, что руководство было твердо убеждено в том, что молодежь будет на стороне власти. В репортаже о политических настроениях уральских депортированных чекисты подчеркивали, что настроение молодежи очень отличается от протестных настроений и действий старших ссыльных.

Считая себя невиновной, молодежь ропщет по адресу родителей... Момент расслоения [ссылного населения] ярко подчеркивается фактами резко обостренных взаимоотношений со

взрослыми. Молодежь группами приходит в комендатуры, конторы Леспромхозов, заявляет свой отказ от связи с родными и настоятельно требует улучшения условий своей жизни. В Октябрьскую годовщину молодежь имела намерение принять участие в празднике^[385].

При вербовке информаторов целевой группой была молодежь. По данным ОГПУ, в уральских спецпоселениях в среднем на каждые 20 семей приходилось по одному информатору, и около 30 процентов информаторов составляли молодые люди^[386].

Центральное место занимал вопрос о праве ссыльных на возвращение. К 1 ноября 1934 года было реабилитировано 31 364 ссыльных, и, несмотря на давление, 75 процентов из них покинули специальные поселения, в Северном крае – 90 процентов. Чтобы остановить их отъезд, 25 января 1935 года ЦИК утвердил предложенный ОГПУ запрет на выезд реабилитированных из места ссылки. Это был разрыв с прежним «Временным положением [ОГПУ] о правах и обязанностях спецпереселенцев» от 25 октября 1931 г., который регулировал всю жизнь крестьян в изгнании и предусматривал «полное восстановление всех гражданских прав через пять лет после депортации»^[387]. Этот пункт положения поддерживал дух тысяч депортированных лиц, но теперь он был отменен.

Непоследовательность в отношении права спецпоселенцев на возвращение на родину, вступление в колхоз и возвращение имущества нашла свое выражение в дебатах на II съезде колхозников-ударников в феврале 1935 года. В принятом Колхозном уставе содержалась статья, допускающая прием в колхозы перевоспитавшихся кулаков, которые доказали свою лояльность советской власти^[388]. Однако на съезде, а затем и во время обсуждения конституции колхозные активисты выражали беспокойство по поводу возможной мести со стороны кулаков. «Я думаю, что в результате пострадают те, кто был активистом во время декулакизации и ликвидации кулаков. Если к власти придут кулаки, они будут преследовать этих активистов, потому что кулаки продолжают испытывать большую ненависть»^[389]. Сигельбаум и Гелдерн согласны с замечанием Фицпатрик о том, что «руководство партии оказалось более склонно к примирению с большей частью крестьянства, чем активисты»^[390]. В то время как

Колхозный устав вдохновлял депортированных, в августе 1935 года произошло обратное движение, связанное с разъяснением руководства ГУЛАГа, направленным всем комендантам спецпоселений – разрешить вступление в колхоз только в местах ссылки, а не в местах проживания репатриантов^[391]. Такие манипуляции, когда секретные инструкции попирали принципы публично объявленной политики, являлись обычной практикой.

В этот момент, в условиях полной неопределенности, был опубликован проект конституции, который вызвал новую волну надежд и многочисленные случаи самовольного отъезда поселенцев. В связи с общей путаницей в правовом статусе депортированных лиц, возвращенцев часто принимали в их родных колхозах, которые в то время испытывали нехватку рабочей силы^[392].

Следующей проблемой возвращенцев являлся вопрос об имуществе. Они требовали не только права голоса и членства в колхозах, но и возврата их домов и другого имущества^[393]. Понятно, что это встретило сопротивление среди тех, кто выиграл от коллективизации. Некий В. Н. Чимородов из Воронежской области протестовал: «Конституция гласит, что попы и кулаки являются полноправными гражданами и имеют право на возврат конфискованных домов, которые сейчас находятся в колхозе. По этой причине мы просим запретить им голосовать (имеется в виду запретить полное восстановление гражданских прав, включая имущественные. – О. В.)»^[394]. Именно незаконный характер коллективизации породил новые конфликты пять лет спустя. В некоторых местах народные суды санкционировали восстановление имущественных прав бывших кулаков (на Северном Кавказе), в других местах возвращенцы занимали свои конфискованные дома безо всякого разрешения^[395].

В условиях такой неопределенности в отношении их статуса спецпоселенцы ожидали, что принятие конституции поможет им. В газеты и органы власти направлялся непрерывный поток вопросов и жалоб о правах депортированных кулаков. Многие из них были депортированы без суда и не знали своих сроков: «Мы считаем себя лишенными прав не по решению суда, а только властью НКВД, поскольку не слышали ни приговора, ни суда, а просто выслали нас в другой район и все»^[396]. Эти крестьяне спрашивали о своем статусе. На многочисленные запросы секретариат Президиума ЦИК ответил в

январе 1937 года: «Возврат раскулаченного (конфискованного) имущества не допускается, так как оно было конфисковано в соответствии с законом. Конституция не подразумевает такого возвращения»^[397]. Письмо начальника ГУЛАГа от августа 1937 года И. И. Плинера Ежову отразило понимание необходимости уточнения правового статуса специальных переселенцев в соответствии с новой конституцией:

За последние три-четыре месяца, писал он, усилилась подача жалоб трудпоселенцами в центральные и местные правительственные учреждения, в которых они жалуются на то, что, несмотря на принятие новой Конституции, в их правовом положении не произошло никаких изменений... Не считая целесообразным в настоящее время разрешать выезд с мест поселения бывшим кулакам, оставить в силе постановление ЦИК СССР от 25 января 1935 года, запрещающее восстановленным в правах трудпоселенцам выезжать из мест поселения [до]... 1943 года^[398].

НКВД считал, что конституция для органов не обязательна. Для слишком многих депортированных реабилитация в соответствии со статьей 135 конституции была номинальной, поскольку им не разрешалось покидать место ссылки^[399]. В отличие от опубликованной и обсуждаемой конституции, недоступность публикаций законов и секретных инструкций ГУЛАГа была для граждан дополнительной причиной мучений.

Повторный поток писем с аналогичными запросами последовал в ходе подготовки к выборам 1937 года^[400]. Инструкция ГУЛАГа от 15 октября 1937 года подтвердила избирательное право поселенцев, хотя вновь ограничила их право на передвижение. Центральная избирательная комиссия и НКВД договорились о том, что справки, удостоверяющие личность избирателя, должны выдаваться комендантами поселений с последующим их изъятием на избирательных участках в обмен на бюллетень для голосования^[401]. Восстановление гражданских прав было неполным и саботировалось на любом административном уровне. Таким образом, мы видим обычную практику, когда конституция, закон или указ,

предоставляющие права гражданам, подвергались урезанию нормативными документами и подзаконными актами. Нормативные акты «гасили» силу закона – пишут составители сборника документов о специальных переселенцах Линн Виола и Сергей Красильников. Авторы воздерживаются от употребления термина «правовой статус спецпереселенцев», поскольку понятие законности не отражало реалии их состояния. «Это был квазиправовой порядок, нормы и правила которого устанавливались и изменялись политическим руководством, не сдерживаемым никакими законодательными и судебными институтами. <...> Право служило инструментом в руках режимных органов [НКВД], в чьем ведении находились группы спецконтингента»^[402]. В конце концов, к апрелю 1937 года 136 350 бывших депортированных, хотя и реабилитированных, все еще проживали в специальных поселениях или вблизи них^[403]. Эта извилистая политика реабилитации продолжалась до июля 1937 года, когда, согласно печально известному приказу № 00447, тысячи бывших кулаков, бежавших или вернувшихся из ссылки, стали жертвами новой массовой операции, направленной в первую очередь против возвращенцев^[404].

Статья 121 провозглашала право на образование. Бесплатное образование было выдающимся достижением социализма. Дети лишенцев формально получили доступ к высшему образованию в соответствии с постановлением правительства от 29 декабря 1935 года. Белорусский корреспондент рассказывал, что его отец был раскулачен, арестован и лишен избирательных прав. В 1933 году молодой человек попытался поступить в Ленинградский университет, но безуспешно. В 1936 году, благодаря новой конституции, как он считал, он все-таки поступил в Витебский педагогический институт^[405]. В начале 1936 года Вышинский предложил распространить действие этого указа на детей депортированных, но не получил одобрения. Лишь отдельные заявки, например, от групп молодых людей из Ленинграда и Игарки, были удовлетворены в 1936 году^[406]. Только весной 1939 года, в соответствии с новым указом НКВД, дети спецпереселенцев получили право переезжать в близлежащие города с учебными заведениями. Однако, как всегда, существовала большая дистанция между законом и практикой: в письмах молодые люди жаловались на невозможность реализовать свое право на образование. Ученик седьмого класса

Василий Мелусов 23 июля 1939 года написал коменданту спецпоселения в селе Березовка Пихтовского района Сибири.

В мае я посылал Вам письмо [о разрешении на учебу]... но Вы ничего не сообщили. Но 25 июня я послал заявление в Томский лесотехнический техникум, через комендатуру, но вот уже прошел месяц, а мне нет никакого извещения. ...По-видимому, Вы мои документы с целью удержали, чтобы больше не получать [мне] образования. Но ведь статья 121-я Конституции (Основного закона) СССР говорит прямо, что граждане СССР имеют право на образование. Для проживающих в комендатуре выходит не так^[407].

Для многих молодых граждан невозможно было реализовать не только право на образование, но и само право на свободу. Указ ЦИК 1938 года об освобождении шестнадцатилетних детей спецпереселенцев был выполнен лишь на треть: к 1941 году из 165 050 детей только 50 569 были освобождены. Либеральные меры реализовывались с трудом^[408]. В конце концов, ссылка и все ограничения на кулаков и спецпереселенцев официально закончились только после смерти Сталина – в 1954 году.

Одобрение предоставления права голоса спецпоселенцам в дискуссионных материалах не может быть напрямую истолковано как отражение либеральных взглядов как таковых, но они были составной частью дискурса в поддержку новой политики примирения и индивидуальных и политических прав граждан.

9.4. Скепсис в отношении выборов

Конституция вселила новые надежды в граждан, которые приветствовали новое курс государства на гражданские права. Слишком многие, однако, были скептически настроены: «Всеобщее и тайное голосование – только на бумаге, все равно пройдут только кандидаты от коммунистов»; «У нас хотя и тайное голосование, но будут проводить кого надо»^[409]. Массовое неверие в новые свободы отражало накопленный за два десятилетия опыт, когда многое было обещано, но мало реализовано. Граждане могли припомнить лишь одно действенное отступление от жесткой большевистской политики – Новую экономическую политику. Но даже эта единственная уступка была отменена в 1928 году. Старшее поколение помнило дореволюционное прошлое, было свидетелем множества нереализованных обещаний и деклараций, и поэтому имело веские основания для недоверия. Недавним разочарованием был первый пятилетний план. Военная разведка США сообщила: «Еще одной причиной серьезного недовольства был блеф по поводу пятилетнего плана. Им [народу] обещали после завершения плана период отдыха и процветания»^[410]. Архивные источники отражают массовые ожидания и отрезвление^[411]. Результаты первого пятилетнего плана были действительно неутешительными: реальная заработная плата в промышленности снизилась примерно на 50 процентов и продолжала снижаться до 1934 года. В городах снизился уровень жизни, а деревня была опустошена голодом. Рабочий говорил: «Хорошее государство было бы без коммунистов, потому что они только обещают улучшить положение рабочих. Когда мы наконец увидим это улучшение? Первый пятилетний план уже закончился, и где их обещания?»^[412].

Хотя конституция демократизировала избирательную процедуру, люди подозревали, что фальсификации и подтасовки будут использованы на будущих выборах, чтобы гарантировать необходимые для партии результаты. «Какая [же это] новая демократия, когда партия составляет список [кандидатов] и представляет массу на голосование, а та без разбора и голосует?»^[413] Аржиловский зафиксировал в дневнике такой разговор:

Что-то даст нам новая Конституция? <...> Вчера в конторе проговорился председатель здешней артели Строшков.

– Конституция – это одно, а власть на местах – это другое. Все будет по усмотрению: кого можно допустить [как кандидата], а кого и нельзя.

И он, пожалуй, прав, этот краснорожий бандит. Самую хорошую критику могут истолковать в сторону подрыва коммунизма. Лично я и не жду ничего нового...^[414]

Но неверие было преступлением. Аржиловский был арестован, его дневник конфискован, скептические заявления о социализме были подчеркнуты офицером НКВД – и автор приговорен к смертной казни. Свиная Гонтарева из Мостовского района Одесской области отправили в трудовой лагерь на пять лет за дискредитацию конституции в ноябре 1936 года, после разговора с другими рабочими, что правительство лжет в конституции, и что свободы не будут реализованы^[415]. То же самое произошло с другим рабочим в феврале 1937 года, который сказал: «У нас нет свободы слова. В какой газете я могу критиковать секретаря ЦК Андреева? У нас нет демократии, наша демократия – подделка, в любой буржуазной стране больше демократии, чем в СССР»^[416]. Некий Гапонов в Ленинграде предвидел аресты народных кандидатов вместе с их сторонниками. Другие предсказывали:

Советское голосование было обставлено так, что исход его был предрешен. Интересно какова будет теперь техника выборов у нас и как они будут обставляться для гарантирования нужных партии результатов;

Если даже народ выберет своих представителей, то большевики постараются их убрать, так как их власть, их диктатура. Пусть большевики дадут свободу партиям и посмотрим тогда чья возьмет;

Подсчет голосов будет сделан так, как это выгодно большевикам^[417].

Каждый день приносил подтверждения этим скептическим комментариям. Выборы делегатов на местные и республиканские

съезды летом и осенью 1936 года проводились по старым нормам (включая неравное представительство городских и сельских жителей в советах) по распоряжению ЦИК от 2 августа 1936 года после выступления Сталина на июньском Пленуме ЦК. Но избиратели спешили реализовать свои новые права на практике. «Правда» с удовлетворением отмечала, что проект конституции подталкивал избирателей реализовать свое право отзывать неэффективные кадры уже сейчас – еще до официального утверждения конституции – во время осенних выборов и отчетной кампании в местных советах.

В то время как население пыталось реализовать новые свободы, они то и дело нарушались. Должностные лица продолжали вести себя по прежним репрессивным шаблонам. В октябре НКВД с тревогой сообщал о выдвигании и избрании «антисоветских элементов», лишенцев или бывших контрреволюционеров на местные съезды советов. НКВД оперативно исключал таких делегатов из списка участников съезда: в Маловишерском, Подпорожском, Новосельском районах Ленинградской области, Зельдском районе Одесской области и других^[418]. Кулак-лишенец Афанасий Попов на Кавказе был лишен депутатского мандата прямо на съезде, а в Винницкой области были арестованы делегаты «Хоптияр, подозреваемый в шпионаже, и Зайдман, троцкист»^[419]. Органы безопасности и партия непосредственно вмешивались в ход выборов, блокируя нежелательных кандидатов и навязывая свои кандидатуры. В Тихвинском районе Ленинградской области избиратели отклонили кандидатуру председателя сельсовета Соколова, но представитель района сказал: «Вы можете голосовать против него, но мое слово окончательное: Соколов останется председателем»^[420]. Как и предсказывали скептики, прежняя практика партийного и чекистского манипулирования и контроля над выборами продолжалась: нежелательные кандидаты были исключены из списков избирателей или арестованы.

Другим методом манипулирования была неформальная система квот, или «разнарядка»^[421]. Так, например, глава совета Горьковского края инструктировал коллектив: «При выборах [на краевой съезд советов] нужно обеспечить... женщин чтобы было не менее 34 процента, чтобы беспартийных было 40-45 процентов граждан, чтобы рабочих... было 22 процента, а колхозников 30 процентов»^[422]. Такая

сортировка имела место в момент выдвижения кандидатур. Пленум Горьковского краевого комитета партии в сентябре 1936 года непосредственно поручил партийным руководителям провести проверку кадров кандидатов и организовать руководство выборами депутатов^[423]. Таким образом, уже осенью 1936 года местные выборы делегатов на съезды советов стали тестом для новых свобод. Старый механизм фильтрации кандидатов продолжал успешно работать. НКВД сообщал, что социально чуждые элементы использовали отчетную кампанию и выборы на съезды советов для антисоветской агитации^[424]. Избранные бывшие кулаки и члены запрещенных партий были заблокированы благодаря системе учета «неблагонадежных элементов» НКВД.

Осенью 1936 года, когда НКВД настойчиво предупреждал высшие партийные органы о намерении народа использовать процедуру тайного голосования для исключения членов партии из местных администраций, чекисты уже ссылались на прецеденты^[425]. В 1937 году количество таких предупреждений увеличилось, так как советские и партийные чиновники осознали угрозу своим позициям у власти. Их опасения прозвучали в ходе дебатов по новому избирательному процессу на Пленуме ЦК в феврале – марте 1937 года. Арч Гетти проанализировал эту дискуссию с точки зрения сопротивления чиновников инициативам центра^[426], но сам предмет дискуссии – активизация антисоветских сил в обществе – был также осмыслен лицами, принимающими решения. Я считаю, что восприятие партийной элитой критических голосов в обсуждении конституции как угрозы привело к тому, что репрессии распространились не только на чиновников и элиту, но и на массы: указами НКВД от 27 марта, 25 апреля и 8 июня 1937 года были организованы операции против верующих и церковников;^[427] операции против бывших кулаков и других антисоветских элементов начались в июле 1937 года. Продолжались также эксперименты по проведению свободных состязательных выборов, объявленных А. А. Ждановым на пленуме для чистки кадров. Выборы в местные комитеты ВКП(б) в мае 1937 года привели к 50-процентной ротации кадров и более чем 70-процентной ротации профсоюзов^[428].

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по выборам в Верховный Совет СССР
.....1937 года
.....округ №..... по выборам в Совет Союза

Оставьте в избирательном бюллетене
фамилию **ОДНОГО** кандидата, за кото-
рого Вы голосуете, остальных вычеркните

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты	Кем выставлен кандидатом , в депутаты

Председатель..... окружной избирательной
комиссии по выборам в Совет Союза.....

Образец бюллетеня для голосования, где предполагаются несколько кандидатов. Правда, 15 октября 1937 года

2 июля 1937 года газеты опубликовали регламент выборов в Верховный Совет – бюллетени были напечатаны для размещения нескольких кандидатов. По словам Гетти, испуганные местные чиновники «пытались убедить Москву в опасности состязательных выборов» и тем самым ускорили начавшиеся в июле 1937 года массовые операции Большого террора^[429]. Состязательные выборы были тайно отменены в октябре 1937 года непосредственно перед выборами в Верховный Совет.^[430] Пришедшие на избирательные участки в декабре люди были разочарованы тем, что в каждом бюллетене было указано только одно имя. Интеллигентная и

критически настроенная ленинградка Любовь Шапорина записала в дневнике:

Во всех учреждениях проходили проработки положения о выборах. Ставился вопрос: имеете ли вы право, получив бюллетень, уйти домой, чтобы обдумать кого избрать. Ответ был таков: конечно, имеете право пойти домой, посидеть часа два, дабы всесторонне обсудить вопрос, а затем уже вернуться и опустить бюллетень в урну...

Я вошла в кабинку, где якобы я должна была прочесть бюллетень и выбрать своего кандидата в Верховный Совет. Выбирать – значит иметь выбор. Мы имеем одно имя, заранее намеченное. В кабинке у меня сделался припадок смеха, как в детстве. Я не могла долго принять соответствующе спокойный вид. Выхожу – идет Юрий с каменным выражением на лице. Я подняла воротник до глаз – было невероятно смешно. На дворе встретила Петрова-Водкина и Дмитриева. В. В. [Дмитриев] говорил о чем-то постороннем и дико хохотал. Стыдно ставить взрослых людей в такое глупое, невероятно нелепое положение. Кого мы обманываем? Мы все хохотали^[431].

Как мы видим, скепсис населения в отношении избирательной реформы был вполне оправдан. Это недоверие демонстрирует способность к рациональному и критическому мышлению в народном сознании – способность анализировать политический процесс, связывать причины и последствия. Эти скептические комментарии свидетельствуют о дистанцировании некоторых людей от государства, и о силе их противостояния лживости государства, воплощенной в его конституции. Либеральный нарратив был выражен в поддержке юридических новшеств, подотчетности администрации советов, всеобщего избирательного права и особенно в реакциях на провозглашенные свободы личности.

9.5. Новые свободы в массовом восприятии

Индивидуальные права, гарантированные от вмешательства государства, и защита прав меньшинств, как правило, считаются важнейшими элементами либеральной демократии. Дискуссия 1936 года характеризует взгляды населения на провозглашенные в проекте конституции принципы – свободу собраний, печати, религии, свободу передвижения, неприкосновенность личности, жилища и частной переписки.

Свобода объединения в общественные организации, провозглашенная статьей 126^[432], резко контрастировала с реальностью: в 1930-х годах государство-партия подавляло все независимые общественные объединения любого рода. После разгрома партии социалистов-революционеров и меньшевиков в начале 1920-х годов ВКП(б) оставалась единственной партией в стране, хотя эта однопартийная система никогда не была институционализирована в предыдущих конституциях. Описывая ее как партию самых активных и политически сознательных граждан, статья 126 Конституции 1936 года усилила роль партии, особенно в формуле «Коммунистическая партия Советского Союза представляет руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных». Эта формула подтвердила статус партийной организации на заводах, в школах, колхозах и местных советах как куратора их исполнительных органов и тем самым институционализировала партийное государство. Следующей конституцией 1977 года партия была провозглашена как «руководящая и направляющая сила советского общества».

Простые люди, читающие статьи 125 и 126, часто упускали из виду, что политические свободы гарантируются гражданам «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистической системы». Это было важное ограничение, препятствовавшее критике режима. Хотя в статье не упоминались политические партии, она все же породила в обществе ожидания возрождения многопартийной системы. Некий Григорий Горунев, названный в докладе НКВД бывшим эсером, истолковал статью 126 следующим образом: «Конституция разрешает партии и свободы, поэтому теперь мы организуем собственную партию и прессу и будем проводить свою

собственную политику»^[433]. Инженер из Ленинграда Глебов рекомендовал правительству разрешить политические партии, иначе, предостерегал он, они уйдут в подполье^[434]. Люди все еще не забыли о своем опыте многопартийной системы, о чем свидетельствуют многочисленные ностальгические упоминания дореволюционного прошлого или западных политических систем. Комментарии носили в основном абстрактный характер, одобряя свободы в принципе; однако крестьяне достаточно громко требовали создания крестьянских союзов для защиты своих интересов.

Мы просим вас [правительство] разрешить Крестьянский союз, потому что без него мы как стадо без пастуха; нам некуда обратиться за советом;

Предлагаю внести в статью 126, в которой говорится в целях развития организационной самостоятельности дать право всему колхозному и единоличному крестьянству организовать непосредственный крестьянский союз при каждом сельсовете и каковой бы непосредственно сносился во всех нуждах и пояснениях с центральными земельными управлениями, ввиду бюрократического отношения сельсоветов и правлений колхозов, каковые в большинстве случаев ведут колхозное крестьянство не к зажиточной культурной жизни и благоустройству крестьянской жизни, а к развалу колхозов и их ухудшению^[435].

Голоса сельских жителей требовали равных прав с рабочими, эффективного представительства во власти и защиты их конкретных политических и экономических интересов. Эти требования крестьянской политической партии или профсоюза имели широчайшее распространение в 1920-х годах, но сократились после выселения наиболее активных и предприимчивых крестьян из села во время коллективизации, однако требования все еще звучали во время обсуждения конституции^[436]. Политическое движение деревни за Крестьянский союз наглядно демонстрирует способность сил модерна трансформировать даже такой консервативный слой, как крестьянство. Это подрывает постулат Макса Вебера о паттерне крестьянского поведения в европейских революциях: «переходить от крайнего радикализма [во время революции] к состоянию апатии или

политической реакции, как только будут удовлетворены их непосредственные экономические требования»^[437].

И здесь скептики тоже внесли свой вклад в дискуссию: «В любом случае, те, кто осмелится организовать партию, будут стерты с лица земли». Те, кто мечтал о демократическом плюрализме, пропустили неутешительное замечание в интервью Молотова французскому журналисту Шастенэ, опубликованном в «Известиях»: вопрос о многопартийной системе в СССР «не актуален, поскольку у нас дело вплотную подошло к полной ликвидации борющихся между собой классов, представительство которых выражают партии»^[438]. «Правда» в своих публикациях и статьях, написанных государственными деятелями, часто подчеркивала несовместимость многопартийной системы с гармоничным миром социализма: «В нашей стране нет условий ни для одной партии, выступающей против большевистской»^[439]. Наконец, Сталин в своем выступлении на VIII съезде Советов отверг необходимость создания других партий потому что все классы в стране сейчас дружелюбны, без антагонистических интересов, выразив тем самым свой идеал однородного коммунистического общества^[440].

Хотя верховенство государства было признано массами как данность (как обсуждается в главе 10), поддержка прав личности также нашла свое место в общественном дискурсе. Один из корреспондентов советовал:

Из всех различных форм правительства ту надо считать наилучшей, которая полнее обеспечивает народу счастье и безопасность... Ведь каждый... чувствует, что покушение на основные важнейшие права человеческой личности и гражданина не только притупляет гражданственность, но даже возбуждает в человеке чувство ненависти к государству и стремление разрушить и уничтожить ту государственную власть, которая сводит к нулю главный смысл человеческого и гражданского существования^[441].

Статьи об индивидуальных правах оказались в резком противоречии с недавним опытом коллективизации. После раскулачивания, когда конфисковывались даже подушки, зеркала и пальто, как правило, без

всяких описей, – а проще говоря, были разграблены, – личное имущество теперь было объявлено охраняемым законом. Новая конституция провозгласила неприкосновенность домашних хозяйств колхозников, единоличников и ремесленников, включая домашний скот и кур. «Заработанное честным трудом имущество, доходы, сбережения, дом, усадьба, инструменты и личные вещи, находятся под защитой социалистического государства»^[442]. Новое семейное законодательство подтвердило права личной собственности.

Статья 9 разрешала мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей. Это породило надежды на то, что давление на независимых крестьян с целью присоединения к колхозу прекратится. Большинство коллективизированных крестьян интерпретировали эту уступку единоличникам как начало возвращения к доколхозной системе – это было популярным предметом слухов в сельской местности. Их логика была такова: если больше не будет давления на колхозников, то колхозники смогут свободно выходить из колхозов, и в данном случае, как они подразумевали, никто не останется в колхозе. Мечтатели фантазировали и дальше: после отмены колхоза крестьяне получат землю^[443].

Многочисленные ожидания конца колхозов сопровождались небольшим количеством запросов на право выезда за границу и на такую роскошь, как получение иностранных газет^[444]. Такие просьбы звучали весьма экстравагантно в стране, где разрешения на выезд за границу давались в НКВД и утверждались Политбюро. Конституция вдохновила любителей свободы, таких как некий Савин из Дяцинского района Западно-Сибирского края. В своем письме в «Крестьянскую газету» он потребовал свободы торговли, выходных дней для всех, включая колхозников, понижения налогов, прекращения репрессий и усиления борьбы с преступностью. Но его основной упор был сделан на свободу вероисповедания:

Дать всем гражданам полную свободу, не притеснять в вероисповедании какой бы то ни было нации и открыть все храмы православные и другие моленные, освободить всех тех, которые были сосланы православные священники и другие лица, к храмам православным и другим молениям со стороны сельсоветов и

других учреждений чтобы препятствий не было никаких, граждане свободно должны молиться, кто как хочет^[445].

Письмо Савина продемонстрировало широкие взгляды и терпимость, когда он защищал права меньшинств. В письме не указано, был ли он верующим или нет, но он поднял голос не только в защиту православных, но и всех верующих. Однако такая терпимость наблюдалась редко: игнорирование прав меньшинств (единоличников и верующих, а тем более сектантов) являлось характерной тенденцией в понимании демократии участниками дискуссии. Даже позднее, в 1990-е годы, российские граждане проявляли озабоченность в первую очередь своими собственными правами, игнорируя права других, в том числе меньшинств. В 2006 году от трети до половины молодых людей в России были готовы пренебрегать или нарушать права «других» – меньшинств и девиантов^[446]. Такое понимание демократии было заметно даже среди российских «демократов», которые руководили реформами в 1990-х годах^[447].

Статья 127, гарантирующая неприкосновенность личности, получила сильный резонанс и 3218 комментариев (пятое место по популярности). «Колхозники очень довольны тем, что по новой конституции установили неприкосновенность личности и не придут как бывало члены сельсовета арестовывать колхозников за неуплату тех или иных платежей»^[448]. Некая Ткаченко, оклеветанная и исключенная из партии, обратилась к Калинин: «Имею ли я право, по советским законам, смыть с себя и семьи черное пятно клеветы? ... Хочу знать, в какой степени основной закон обеспечивает прочность положения и неприкосновенность личности клеветнику и мне, честному гражданину в наших советских условиях?»^[449]. Статья 127 отвечала растущему чувству собственного достоинства и самоуважения среди граждан.

Самоуважение и индивидуализм проявились в десяти запросах (данные ЦИК) о защите граждан от унижения ругательствами и оскорблениями. Эти замечания касались статьи 123: «Всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения, караются законом». (См. об этом в главе 10). Голоса в дискуссии против устной агрессивности, мотивированные ощущением достоинства и индивидуальной

автономии, можно отнести к либеральному дискурсу. Нецензурная лексика (мат) после революции буквально затопила общественное пространство и распространилась на новые группы населения – женщин и детей. Современник, филолог Селищев, наблюдал попытки партийных и молодежных изданий в 1920-х годах осудить распространение вульгаризмов. Впрочем, использование грубых выражений и унижительных сравнений Лениным в его полемических работах и партийными руководителями в отношении врагов в печати сводили на нет эти усилия. Селищев считал социальным источником брани и вульгарности преступные группировки и отмечал, что это явление распространялось из городской заводской среды в села и среди молодежи^[450]. Направляясь в 4 часа ночи 27 февраля 1937 года в хлебную очередь, Аржиловский на улице

слышал, как одна молодая работница «выражалась». Говорила она тем же самым языком, который в ходу среди мужчин. Остальные женщины смеялись ее выходкам. А в самом деле: все женщины слышат постоянно нецензурные выражения, знают весь их тайный смысл – почему не попробовать? Равенство должно быть во всем^[451].

Наблюдатель саркастически истолковал бытовую агрессию как результат стремления к равенству.

В ответ на вульгаризацию языка и в соответствии с просветительской парадигмой в большевизме, попытка «лингвистической инженерии» (выражение Катарины Кларк) в 1920-х годах привела к официальной кампании «борьбы за культурную речь»: комсомол вел борьбу с нецензурной бранью, педагог Макаренко и писатель Максим Горький призывали взрослых следить за своей речью. Вежливость стала новым требованием к советской элите и чиновникам^[452]. Некоторые местные советы – в Свердловской, Омской и Кубанской областях – ввели штрафы за ругательства и тем надеялись пополнить свои скудные бюджеты^[453]. Несмотря на эти усилия, в обществе по-прежнему звучала брань и процветала грубость. Кампании в прессе противопоставляли разговорный язык, по умолчанию ассоциируемый с пролетарским происхождением, культурной речи, которую массы инстинктивно ассоциировали с

«буржуазными» манерами и воспитанием. Шапорина, дворянка по происхождению, писала в 1946 году о знакомой: «Культурная, очень воспитанная, я ее часто ругала за то, что она слишком „барыня“, зная по себе, как это „барство“ мне мешало и мешает в современной жизни, мешает с волками по волчьей выть»^[454]. Помимо антибуржуазного смысла в нарочитой грубости разговорной речи, общего ожесточения нравов в результате войн и исхода культурной элиты после революции, некоторые историки рассматривают столь распространенную брань как отдушину для постоянно подавляемой фрустрации советских граждан и как средство символического самоутверждения для населения, принужденного к молчанию^[455]. Более убедительным объяснением кажется использование мата, во-первых, как антиантирелигиозная декларация, во-вторых – как вызов (зачастую бессознательный) безжизненному и унылому официальному новоязу. Мат был своего рода тайным языком подчиненной группы, используя термин Джеймса Скотта. Столкнувшись с потоком словесного насилия, члены старой интеллигенции, а также те лишённые корней, маргинализированные элементы, которые отчаянно жаждали новой советской идентичности, защищенности и интеграции, верили, что новая конституция может волшебным образом прекратить сквернословие^[456]. Это еще одно свидетельство общей веры в силу слов и текстов (конституции) для изменения реальности. Корреспонденты в 1936 году предлагали ужесточить наказания, чтобы прекратить сквернословие^[457]. Уже существующие указы против сквернословия, однако, не работали. Разрыв между законом и практикой в СССР был обыденным явлением: в ходе обсуждения люди нередко требовали введения закона, который уже действовал, но редко применялся. Эпидемия брани оставалась неизлечима в течение десятилетий: в 1999 году половина опрошенных россиян сообщили, что были в то или иное время жертвами словесных оскорблений^[458].

Этот запрос на человеческое достоинство был частью субъектности модерна и новой чертой для рабочих и крестьян в их трансформации в современную личность^[459]. Вдохновленное освободительными надеждами революции, самоуважение было частью официального нарратива цивилизованности^[460]. Рост самооценки сопровождал процесс формирования российского рабочего класса. Стивен Смит

показал, что уже во время революции 1905 года «у русских рабочих развилась повышенная чувствительность к изначальной ценности человеческой личности». В ходе забастовок требования вежливого обращения на рабочем месте сопутствовали экономическим и политическим требованиям. Традиционная форма обращения на «ты», используемая бригадирами и начальниками при общении с рабочими, стала восприниматься как невыносимая для первого поколения пролетариев. В период 1901–1913 годов Фабричная инспекция зарегистрировала десятикратный рост ежегодных жалоб на «плохое обращение», и требование уважительного обращения было в одной пятой всех забастовочных резолюций 1907–1914 годов^[461]. Одним из нововведений Февральской революции 1917 года стал приказ № 1, вводящий, среди прочего, более формальное обращение «вы» к солдатам в армии.

Механизмы модернизации – миграция в города, производственная дисциплина, образование – положили начало процессу индивидуализации бывших крестьян и пролетариев. Признаком этого стало восприятие факта лишения прав как источника стыда, а получение полноценного гражданства воспринималось многими бывшими отверженными как восстановление чести^[462]. В наших источниках мы слышим голоса лишенцев, которые защищали свое достоинство. Кустарь И. Анохин требовал восстановления прав и протестовал против практики вывешивания списков лишенцев в общественных местах сел и небольших городов накануне выборов:

У меня семья, подрастающие дети и вывешивание моего имени на заборе, как бесправного гражданина, порочит мое честное трудовое имя... [Это накладывает] на меня печать отверженного.

Другой голос:

Я являюсь... убежденным чуриковцем [членом секты Чурикова] и, находясь в свободной советской республике, я как свободный гражданин, имею право свободно мыслить, ходить и проводить время, где я считаю для себя полезным^[463].

Эти проявления самоутверждения и индивидуализации заслуживают внимания в контексте многовекового крестьянского коллективистского общинного менталитета и антииндивидуалистических советских нравов. В официальном дискурсе достоинство и порядочность занимали довольно неоднозначное место и часто отодвигались на второй план после подчинения индивидуума идее всеобщего блага и самоотречения в пользу коллектива. Слово «индивидуалист» имело негативный оттенок в советском новоязе. Не самоуважение, а скромность была одной из идеальных черт нового советского человека, прививаемых пропагандой, в том числе через аскетические образы Ленина и Сталина – как примеры для подражания. Эти установки были удобны тем, кто находился у власти на любом уровне, чтобы быть уверенными, что их подчиненные не претендуют на места вышестоящих, и запечатлены в идиоме «не высовывайся!» Отражая подсознательное чувство своей «ничтожности», многие письма и обращения граждан начинались с извинений за беспокойство адресата.

Свобода передвижения была востребована в стране с 1,3 млн сосланных крестьян, колхозным рабством и административной системой «режимных» городов с ограниченным проживанием. Девять комментариев, собранных ЦИК, требовали предоставления права на поселение в любой точке страны без ограничений; и семь (по моим подсчетам) – права на свободную смену места работы. Право на передвижение не было включено в конституцию, но требование исходило органически снизу. Эти граждане не были согласны с ограничением свободы передвижения в результате создания колхозов, исключения колхозников из системы внутренних паспортов и введения регистрации по месту жительства в городах. Летом 1936 года, в условиях массового бегства из колхозов перед лицом голода, для простых людей, которые часто сравнивали свое положение с беглыми крепостными крестьянами, свобода передвижения была жизненно важной.

Статья 128 о неприкосновенности жилища получила различные толкования – большинство участников дискуссии высказались за ограничение этого права (как будет показано в главе 10); другие одобряли это. Этот принцип в западных конституциях был основан на частной собственности. После национализации недвижимости в 1918 году в ходе ликвидации частной собственности в СССР

неприкосновенность жилища была фикцией. Государственное владение недвижимостью сделало государство распределителем жилья в соответствии со своими интересами в пользу привилегированных социальных групп. Экономика дефицита превращала любой ресурс в инструмент перераспределения благ и, следовательно, контроля. В этих условиях права жильцов были неизбежно уязвимы. Советские горожане получали свою «жилплощадь» бесплатно, обычно после многолетнего ожидания, в соответствии с убогими нормами, согласно письменному ордеру местного совета, который был всемогущим в распределении жилья. Ордер давал «право на занятие» или «использование жилой площади», но не владения. Городской жилищный кризис, произвол и коррупция распределяющих агентств, а также неопределенность статуса различных жилищных объектов сделали «жилищную проблему» ключевой в городах и поселках. Жильцы не имели права продавать, покупать, обменивать или сдавать в аренду по своему усмотрению свое жилье. Они полностью зависели от власти в этой жизненно важной сфере. Распределение жилья и институт прописки в определенном месте стали кабальными инструментами контроля над населением, регулирующими мобильность и образ жизни людей^[464].

Многие граждане прекрасно понимали слабость принципа неприкосновенности жилища при социализме без права частной собственности. Эта конституционная статья вызвала бесконечные запросы, касающиеся вопросов наследования, обмена, завещания и аренды жилья, которые не были четко определены законом^[465]. Отражая незаконную практику арестов, многие комментарии одобряли принцип, согласно которому только полицейский ордер дает право на вторжение в жилище и проведение обысков.

Более сложным был правовой статус общежитий и жилых помещений, принадлежащих конкретному заводу или фабрике, где выселение пенсионеров, больных или уволенных являлось обычной практикой. Работники Ленинградской обувной фабрики с энтузиазмом поддержали статью 128 и настаивали на том, что никто, кроме суда, не может выселить жильца или подселить к нему соседа^[466]. Однако такое толкование этой статьи было неверно: на казармы промышленных предприятий закон о неприкосновенности жилья не распространялся. В июле 1937 года секретарь ЦИК пояснил рабочему

Подольска М. А. Жукову, что данная статья не подразумевает, что выселение из заводского жилья является незаконным. Это, скорее, означает: «Никто не может войти в жилище гражданина без его согласия (кроме органов власти с соответствующим ордером). <...> Что касается вопроса о выселении жильца, который больше не работает на предприятии, то он регулируется правилами пользования (!) жилищным фондом. Статья 128 новой конституции не имеет к этому никакого отношения». Одно разъяснение ЦИК – «Выселение допустимо по решению суда» – противоречило другому разъяснению: «Указать судам, что они не должны принимать такие иски о выселении»^[467]. Многочисленные запросы и уклончивые ответы должностных лиц, которые предлагали просителям «обратиться к адвокату», демонстрируют, насколько несвободными и уязвимыми были советские граждане в своих основных правах.

В ходе обсуждения конституции новое поколение советских граждан впервые получило возможность приобщиться к языку гражданских прав. Например, недовольство женщины запретом на аборт в 1936 году выражалось именно в этих терминах – как ущемление личных прав всех женщин^[468]. Подпольная листовка 1939 года, подписанная Национальным Рабочим Союзом Нового Поколения, призывала к действию:

Борись за права, которые Сталин отнял у тебя! Нашей целью является восстановление религии, свободы политических взглядов, законности и равенства всех перед законом. Уважая права и свободы других, человек укрепляет свои права и свободы.

...Восстановление права на труд, свободу занятий и равенство является нашей целью.

...Все граждане России должны иметь право выбора занятий^[469].

Архивы сохранили два случая, когда школьники Москвы и Ленинграда создавали конституции своих классов и Декларацию прав школьника^[470]. Язык демократических прав был освоен многими.

Озабоченность людей своими личными и гражданскими правами, эффективной работой советов, избирательной реформой и верховенством закона, а также их политическая активность

подтверждают существование в сталинском обществе либеральной политической субкультуры с демократическими элементами. Нелиберальная система все же не исключала существования либерального субъекта, хоть и с ограниченной автономией^[471]. Свидетельства либерального дискурса опровергают монолитный аргумент о «смерти либерального гражданина в сталинской России», сформулированный в историографических дебатах о сталинской субъектности^[472]. Обсуждаемые здесь островки либеральной политической культуры, пусть и маргинальные, представляют альтернативу тезису о неизбирательном тотальном потреблении обществом идеологической продукции государства^[473]. Рассмотренные комментарии отражали творческую, независимую политическую активность и рациональный критический подход к закону, которые отличались от комментариев тех, кто услужливо восхвалял конституцию Сталина, бездумно принимая все исходящее от власти. Именно демократический характер конституции и кратковременный сдвиг в официальном дискурсе вдохновили эти «либеральные» голоса и позволили им быть услышанными летом и осенью 1936 года. Переходный момент дискуссии позволил «неустоявшимся идентичностям консолидироваться» вокруг того или иного набора ценностей. Но прежняя и последующая практика режима не позволила этому слою населения с гражданским потенциалом стать «компетентным, уверенным в себе, состоятельным» гражданским обществом. Они, как правило, оставались «искателями демократии»^[474]. Без надлежащего гражданского опыта, в сталинском СССР у них было мало шансов развить уверенность и компетентность. Фальшивый демагогический демократизм политической системы, а также жестокие преследования привели к изоляции либеральных элементов в обществе. Однако они все же существовали на «островах обособленности», таких как профессиональная и частная жизнь, а также в религиозных и интеллектуальных кругах. Как заметил один из корреспондентов в ходе дискуссии, эти «искатели» существовали в полуподполье. Лишь намного позже диссиденты начали свою самоотверженную деятельность по защите прав человека, но это произойдет только в 1960–1970-е годы. Эти немногочисленные диссиденты сделают конституцию своим знаменем.

Глава 10

Голоса против новых прав и свобод

Среди полифонии мнений существовали два основных характерных течения – либеральное и антилиберальное. Требования о защите гражданских прав и поддержка нововведений конституции контрастировали с массовым неприятием новых свобод, требований по продолжению сегрегации «бывших людей» и ужесточению наказаний, что является важным открытием данного исследования, заслуживающим анализа, и будет всесторонне рассматриваться в данной главе.

Начнем с некоторых оговорок по поводу мнений. Поскольку конституция была дарована населению Сталиным, массы были склонны поддерживать ее только в силу этого, послушно и некритично принимая все исходящее сверху, иногда даже не понимая, к примеру, концепции тайного голосования. Это явление хорошо известно социологам и в просторечии называется «держат нос по ветру». Однако оппозиция либеральным принципам конституции логически должна была иметь обратную тенденцию к минимизации, поскольку нонконформисты плыли против течения и должны были преодолеть фрустрацию и даже риск бросить вызов властям. Протесты против свобод противоречили официальной правде, провозглашенной в конституции самим Сталиным. Пытаясь проанализировать эти две тенденции – за и против свобод, – мы должны помнить об указанных факторах влияния – лояльности и страха, конформизма и индивидуального осмысления. Примечательно, что Народный комиссариат внутренних дел и партийные кураторы не называли антисоветским или нелояльным широко распространенное неприятие свобод «священной» конституции. Напротив, несанкционированные собрания верующих для обсуждения конституции, пусть и абсолютно законные, воспринимались организаторами как подозрительные. Очевидно, что неожиданные конституционные свободы не согласовывались с культурным кодом, который определял восприятие и поведение активистов и мониторящих настроения должностных лиц.

Расширение избирательных прав встретило ярко выраженную оппозицию. Отрицание этого нововведения отражает высокую нетерпимость и враждебность в обществе по отношению к людям, определяемым как «враги» или «другие», например, «бывшие люди», духовенство и единоличники. Начиная с Гражданской войны новая советская идентичность формировалась путем официального разжигания классовой ненависти и насаждения образов внутренних и внешних врагов. Когда конституция аннулировала один из столпов советской идентичности – внутренних врагов, – она встретила многочисленные протесты. 108 комментариев (в моих архивных записях), 7,7 процента в Смоленске, 17 процентов в Ленинграде и 30,6 процента комментариев в Горьковском крае были против распространения права голоса на бывших «врагов». Статья 135 Конституции гласила: «Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР... независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов [и быть избранными]».

Арч Гетти обобщает, что «в сельской местности, да и во всем СССР, около 17 процентов всех предложений представляли собой протест против предоставления бывшим лишенцам... права голоса»^[475], но происхождение этой цифры не совсем ясно. В информационной сводке ЦИК № 3/13 от 1 ноября 1936 года статья 135 получила 4716 предложений (10,8 процента), а часть XI «Избирательная система» получила 6369 замечаний (14,6 процента) из 43 427 полученных комментариев, но в любом случае эти цифры включают как протесты, так и одобрения^[476]. Половина – 48 процентов – из 4716 комментариев не соглашались со сталинским тезисом о том, что классовая структура советского общества изменилась, что классы полностью трансформировались, стали свободными и без политических противоречий между ними. Как мы увидим в 12-й главе, Сталин услышал это предупреждение.

Эта оппозиция «священной» конституции дает нам еще один важный аргумент в пользу эпистемологической ценности общественного мнения. Обычно предполагается, что комментарии в ходе обсуждения априори были предопределены официальными

рамками посредством запугивания, пропаганды и отбора и поэтому, как правило, носили скорее одобрительный и церемониальный характер. Однако противоконституционные высказывания, иногда спорящие с самим Сталиным, подрывают универсальность такого утверждения, впрочем, не отвергая его полностью. Большая группа комментариев, критикующих сталинский тезис о социальном примирении, кажется более независимой, чем голоса, прославляющие конституцию как «подарок» Великого Сталина советскому народу.

Споря с конституцией, эти граждане указывали на сохранение устойчивых враждебных антисоветских настроений среди населения:

Бывшие торговцы, кулаки и прочие эксплуататоры не настолько перевоспитались, чтобы забыть о своем прошлом благополучии. Во время выборов и особенно в предвыборную кампанию они могут сагитировать для своей пользы слабых неустойчивых граждан. Бывших людей надо ограничивать в правах^[477].

Такая агрессивная нетерпимость преобладала над голосами интеграции и примирения: «Я согласен со статьей. <...> Многие бывшие люди стали новыми людьми и участвуют в строительстве социализма»^[478]. Главным аргументом против предоставления права голоса и примирения с бывшими врагами был страх мести со стороны кулаков в случае избрания в совет: «Я считаю, что сейчас будет очень плохо для тех, кто был активистом во время раскулачивания и ликвидации кулаков. Если к власти придет кулак, он будет преследовать активистов, так как у него все еще имеется большая ненависть»^[479]. Другим важным аргументом было нежелание колхозников возвращать собственность кулаков. Колхозник П. Залещенко, Азово-Черноморский край, писал Калинин:

Я не могу понять одного вопроса. В нашем сельсовете пошли массовые возвраты имущества, как-то домов (хат), а также садов бывших кулаков, спекулянтов и ряда других зловредных людей советской власти и им в данное время все возвращается это имущество. ...Это имущество было отобрано советской властью у кулаков, спекулянтов и им подобных... в пользу колхоза, а в данный момент сельсовет обратно забирает это все у колхоза и

передает этим самым лицам. Мне в этом доказуют... это мол гласит сталинская конституция^[480].

В Черкесии вернувшиеся ссыльные силой захватили свое имущество обратно. В Шабалинском районе Кировского края колхозы приняли крестьян, вернувшихся без разрешения из специального поселения: семьи семьи Балыбердиных, Селезневых, Козловых и Валегжаниных вернули свои дома, усадьбы, имущество и коров. НКВД сообщал о восьми таких случаях и депортировал эти семьи обратно в спецпоселения^[481]. В Борисовке Курской области, напротив, 75 домов были возвращены раскулаченным в соответствии с конституцией, а 134 кулака были восстановлены в правах голоса. Осенью следующего года, однако, во время показательного процесса над местными чиновниками партийному секретарю в Борисовке, Федосову, были предъявлены обвинения в этих уступках^[482], которые теперь, после изменения оптимистического взгляда на общество, были признаны примирением с классовыми врагами. Несколько раз во время этих процессов крестьяне свидетельствовали, что кулаки, принятые в колхоз, мстили активистам. Сосланный в Кировский край В. Ф. Кулыгин считал, что еще слишком рано восстанавливать гражданские права всех высланных кулаков: «Многие, особенно пожилые, сопротивляются перевоспитанию и остаются враждебными советской власти»^[483]. Такие предупреждения, несомненно, привлекали внимание хронически подозрительного Сталина. Аргументы протестующих отражали глубокие слои народного менталитета, влияние классовой пропаганды, а зачастую и личные интересы. Бенефициары предыдущей политики выступали против нового поворота. Практика гражданской войны – нарушения законности, насилие – продолжалась в период коллективизации и теперь аукнулась в социальных разногласиях вокруг конституции.

Возражения против предоставления избирательных прав бывшим классовым врагам были настолько многочисленными, что правительство было вынуждено отреагировать на них. Член ЦИК И. А. Акулов в своей статье в «Известиях» отклонил эти возражения, поскольку те «не учли, что задача построения бесклассового социалистического общества уже выполнена, и, соответственно, классовой борьбы в СССР больше нет»^[484]. В своем выступлении,

опубликованном в июле, М. Калинин был более уклончив в ответах на критику:

Предоставляя избирательные права нашим оппонентам... мы позволяем им принимать участие в общественной жизни. ...Нет сомнений, что восстановление избирательных прав не приведет к увеличению числа наших врагов. Естественно, отъявленные враги Советской власти будут стремиться наращивать свою контрреволюционную работу. Но с другой стороны... те, кому, как лишенцам, отказали в возможности ясно продемонстрировать, что они за Советское правительство, войдут [теперь] в ряды трудящихся в качестве полноправных строителей социалистического общества. И не только это, но и всеобщность выборов позволит выявить и разоблачить прямых врагов Советской власти^[485].

Подобное послание, по-видимому, ставило цель открыть путь сторонникам и отпугнуть тех, кто осмелился бы агитировать за независимых кандидатов вроде священников.

Наконец, верховный лидер ответил на эти опасения на VIII съезде Советов и отверг идею о том, что в случае предоставления права голоса бывшим белогвардейцам, кулакам и священникам это может представлять угрозу для советской власти. Он также добавил, что даже если бы эти враги были избраны, партийные чиновники несли бы ответственность за плохое ведение пропагандистской работы. «Если наша агитационная работа будет вестись по-большевистски, то народ не пропустит враждебных людей в свои верховные органы. Значит, надо работать, а не хныкать»^[486]. Это заявление показало, во-первых, что Сталин услышал предостережения населения об опасности остающихся врагов, во-вторых, что он верил в силу пропаганды и идеологии, в третьих, его желание заставить чиновников работать в полную силу.

Заявление Сталина противоречило букве нового закона и поставило партийных чиновников в непростое положение: что им делать, если люди изберут религиозного человека в совет? Это законно по конституции, но нежелательно по словам Сталина. Они легко могли заплатить своей жизнью за неправильное прочтение официального

послания. Крестьянка Анна Мануйлова, член совета села Золотово Московской области, в апреле 1937 года написала в ЦИК, что сельские руководители обвиняют ее в посещении церкви.

В Сталинской Конституции ясно говорится о добровольном вероисповедании и также в выборах [верующие] могут выбирать и быть выбираемыми... Если я, верующая, член сельсовета схожу в церковь или помолюсь дома и все, а работу сельсовета веду правильно, разве это вред? ...Председатель колхоза [ответил мне, что я] увязываю вопрос религиозности с постановлением Конституции неправильно. Я ему ставлю вопрос прямо: когда будут пере выборы вы выбирайте в совет только безбожников, а верующих не надо, они вам враги. Он ответил: неправильно ты говоришь. Как тут понимать, кто прав, кто виноват?^[487]

Мы не знаем ответа ЦИК. Но логичным заключением местных чиновников было бы воспрепятствовать выдвижению и избранию в состав советов вновь обретших избирательные права людей любыми средствами, в том числе и путем их ликвидации.

Настойчивые протесты против расширения избирательных прав свидетельствуют о том, что сеющая рознь большевистская классовая идеология имела сильный резонанс в обществе. Язык и аргументы антилиберальных комментариев повторяли официальную риторику прошлого и демонстрировали настолько глубокое укоренение нравов гражданской войны в общественном сознании, что эти непримиримые смели выступать против нового курса на примирение и критиковать конституцию Сталина. Помимо права голоса, эти агрессивные голоса отвергали свободу прессы, собраний и слова для «врагов» и «бывших людей» (2 процента в данных Гетти). В ответ на многочисленные опасения, что враги могут использовать свободы для противодействия строительству социализма, статья М. Катаняна «Свобода собраний» в «Известиях» разъясняла, что новая конституция предоставляет свободу не вообще, а свободу, только соответствующую интересам трудящихся и направленную на укрепление социалистического порядка.

Не может быть собраний преступников – монархистов, меньшевиков, социал-революционеров и так далее. ...[В любом случае] ряды таких людей с каждым днем тают, они составляют незначительное меньшинство. Люди, которым не разрешено пользоваться этими свободами, исчезают, ибо у них нет оснований для существования. Советское государство будет продолжать неустанно вести войну с пережитками капитализма, подавляя их, с одной стороны... а, с другой стороны, перевоспитывать, переформировывать таких людей, вовлекая их в общую созидательную работу. Для созыва заседаний специального разрешения не требуется... хотя представители будут обращаться к тем, кто отвечает за помещения и должны будут подать заявление о предоставлении этих помещений в их распоряжение^[488].

Обозначив эти ограничения, Катанян заверил сомневающихся в том, что все под контролем. Однако рядовые пропагандисты не могли донести смысл конституции до обывателей и объяснить новый политический поворот, не навлекая на свои головы опасности.

Те непримиримые, кто возражал против новых свобод, могли отстаивать свои личные интересы, активисты, например, могли защищать свои приобретения и позиции, или они могли быть верными коммунистами, отстаивая социалистические принципы в их понимании. Тем не менее, и обычная инерция могла быть основанием для критики конституции: людям, вероятно, было трудно приспособиться к резким идеологическим поворотам. Марксистский тезис о возможности совершенствования человека и общества, унаследованный от эпохи Просвещения, нашел свое воплощение в оптимистическом подходе конституции к перевоспитанию «врагов». Но многие участники дискуссии были негибкими и упрямыми, придерживаясь прочно укоренившейся связи между классовым происхождением и политическими взглядами, и не верили в обращение «бывших людей». Нарратив о вездесущих врагах занимал прочное место в мирозерцании простых людей, а также чиновников. Отвергая интеграционный смысл новой конституции, участники дискуссии красноречиво обходят молчанием христианскую добродетель прощения врагов. Современные исследования

подтверждают, что отказ верить в покаяние преступника и простить его, даже если он искренне раскаялся, «заметно и безоговорочно преобладает» во всех слоях современного российского населения^[489].

Среди возможных мотивов такой непримиримой позиции может быть недостаточное понимание. Молодая студентка, например, сказала интервьюеру после войны, что правительство должно предоставлять свободу печати. Но на вопрос о конкретной роли правительства в отношении прессы она ответила:

Правительство обязано закрыть газеты, выступающие против системы. Все должно быть сделано на демократических принципах, но в рамках определенного контроля. Правительство должно следить за тем, чтобы пресса говорила правду и не публиковала ложь или фантазии. Все, что появляется в прессе, должно соответствовать действительности^[490].

Это было довольно распространенное представление о либеральных свободах – доступных большинству, но ограниченных для врагов или оппозиции. Такие свободы, как разрешение на торговлю и небольшой садовый участок, непримиримые участники иногда считали отступлением к капитализму и предательством революции. Одной из особенностей этих протестов было отсутствие благоговения, характерное для массовых восхвалений конституции, что может указывать на относительную искренность мнения. Люди колебались между новыми официальными нормами и тем, что они наблюдали в повседневной практике.

Многочисленные возражения звучали в дискуссии против легализации единоличных неколхозных хозяйств (статья 9), что казалось истинно верующим несовместимым с социализмом. «Мы против того, что единоличный сектор допускается существовать. Мы идем к бесклассовому обществу, а единоличные хозяйства – это частная мелко-буржуазная собственность – нужно упразднить»^[491]. Индивидуальные хозяева, признанные в конституции равными колхозникам, часто становились объектами враждебного отношения в ходе обсуждения. Единоличники – предприимчивая, ориентированная на рынок группа крестьян численностью от 7 до 10 процентов – сопротивлялась коллективизации и оставалась вне колхозной

системы^[492]. Их облагали повышенными налогами. Шаг конституции в сторону единоличников находился в оппозиции к предыдущему официальному курсу – удушить эту группу налогами и административным давлением. В июле 1934 года на совещании в Кремле Сталин призвал к наступлению на индивидуальных крестьян путем усиления налогового пресса «с целью избавить от колебаний колхозников [от соблазна оставить колхоз]». На II съезде колхозников-ударников в феврале 1935 г. глава сельскохозяйственного отдела ЦК, редактор «Крестьянской газеты» Я. А. Яковлев в своем докладе утверждал, что «цель правительства – покончить с нынешним делением села на колхозников и индивидуалов»^[493]. В 1935 году единоличники массово жаловались на налоги и государственные обязательства, которые возросли в 9–22 раза, разрушив их хозяйства^[494]. В 1936 году эта официальная линия легла в основу большого количества комментариев, требовавших ликвидации слоя индивидуальных хозяйств: «Единоличный сектор занимается агитацией с несознательными колхозниками, что единолично жить лучше. Ликвидировать, чтобы класс единоличников не стоял на пути и не мешал нам строить бесклассовое социалистическое общество»^[495]. Крестьяне, которые поддались принудительной коллективизации, вступили в колхозы и страдали от их неэффективности, видели относительную независимость и часто эффективность единоличников и кустарей. Напряженные отношения и внутренние счеты часто разделяли эти две стороны в селе. В своей нетерпимости и зависти коллективизированные крестьяне демонстрировали старый общинный конформизм, коллективизм и эгалитаризм. Борис Миронов считает эти особенности народной культуры, культивируемой в патриархальных семьях и сельских общинах, источником советского авторитаризма^[496]. Крестьяне, хотя и были несчастливы в колхозе, но не примирились с нарушителями общинного порядка и равенства в несчастье. Недовольство колхозников либерализмом по отношению к независимым фермерам – меньшинству в сельском мире – нашло отражение в заявлениях местных чиновников:

Остатки классовых врагов воспевают Конституцию и пункт... о единоличниках. Они ведут агитацию, что после принятия Конституции возвратят обратно единоличникам землю, освободят

их от налогов. Этим самым классовый враг подготавливает их (крестьян) к выходу из колхоза. Случаи выходов из колхозов уже есть^[497].

На самом высоком уровне Сталин ответил на это массовое требование в своем докладе на VIII съезде Советов в ноябре 1936 года, где он комментировал народные рекомендации: «Среди крестьян кроме колхозников имеются еще свыше миллиона дворов не-колхозников. Как быть с ними? Не думают ли авторы этой поправки сбросить их со счета? Это было бы неразумно»^[498]. Несмотря на вмешательство Сталина в защиту единоличников, принятие конституции не положило конец политике их вытеснения из общества. Официальное давление продолжалось и подталкивало местных администраторов и завистливых соседей к выдавливанию единоличников из села. К концу десятилетия налоговое бремя и остракизм ликвидировали эту социальную группу.

10.1. Религиозный дискурс

Агрессию в отношении санкционированных меньшинств можно рассматривать как свидетельство авторитарного характера политической культуры. Кроме единоличников еще одной мишенью антиизбирательной лихорадки при обсуждении конституции стало духовенство^[499]. Совет Горьковского края утверждал, что из 4000 систематизированных к 16 октября предложений получил «около 1000» антиклерикальных комментариев и ни одного одобрения^[500], однако такие круглые цифры могут вызвать сомнения в их точности. ЦИК получил 1061 возражение от частных лиц против предоставления права голоса священнослужителям, а также 730 возражений, озвученных на собраниях. 80 процентов возражений против предоставления избирательного права были направлены против священников. Еще 20 процентов протестов – 448 (включая 384 индивидуальных рекомендации) – отрицали право голоса для «бывших», «кулаков», «эксплуататоров», офицеров белой армии и царской полиции, заключенных и единоличников^[501]. ЦИК сообщал о таком же соотношении в сводке от 22 июля 1936 года: 52 предложения против духовенства и 28 против всех «бывших людей»^[502]. Сегрегацию группы «бывших» можно хоть как-то рационализировать по практическим соображениям. Ссылные кулаки, возвращающиеся домой, например, угрожали экономическим интересам тех сельских жителей, которые выиграли от раскулачивания, потому что кулаки требовали и часто отбирали свои дома и имущество. Бывшие офицеры вооруженных сил и полиции вполне логично воспринимались как угроза. Однако вопрос о том, почему мирные священники стали мишенью массового остракизма, требует обсуждения. В этом подразделе рассматривается отношение к религии и священникам в свете новых свобод.

Предыдущие конституции 1918 и 1925 годов провозглашали свободу совести, антирелигиозной и религиозной пропаганды. Последняя свобода была ограничена в 1929 году и не была восстановлена в 1936 году. В нарушение прежних конституций, антирелигиозная пропаганда и преследования преобладали в государственной политике в 1920–1930-х годах с периодами относительной умеренности между пятью

волнами гонений: гражданской войной, 1922, 1929, 1937 и 1958 годами. В официальном дискурсе борьба с религией рассматривалась в терминах модернизации, как движение к просвещению и рационализму. Религиозное мировоззрение считалось несовместимым с коммунистической идеологией. Политическим аргументом в борьбе было то, что Православная церковь была опорой монархии и союзником белых в гражданской войне. Девятнадцать лет спустя после революции реальной целью антирелигиозной кампании и репрессий было скорее социальное дисциплинирование и инженерия, чем модернизация. Диктатура считала религию опасной из-за «ее неформального и неконтролируемого характера, нетерпимого в авторитарном обществе»^[503].

После раскола институциональной иерархии Патриархии на тихоновскую и обновленческую ветви в начале 1920-х годов, а затем соглашения с государством, заключенного митрополитом Сергием в 1927 году, самым разрушительным для народной религии был 1929 год. Решение Политбюро от 24 января 1929 года об активизации антирелигиозной работы было основано на решимости Сталина покончить с религией в рамках проводимого им «социалистического наступления». С февраля 1929 года тайная инструкция ЦК партии «Совершенствование антирелигиозной работы» положила начало новой волне репрессий и произвольного закрытия церквей. Роковой правительственный указ «О религиозных организациях» от 8 апреля 1929 года регулировал жизнь приходов. Он требовал регистрации всех членов прихода, получения разрешения на все виды деятельности и запретил благотворительность и паломничество. Указ был попыткой как-то регулировать произвол на уровне местных советов и централизовать контроль. Грегори Фриз определяет стратегию правительства с 1929 года как «направление местного радикализма на борьбу с контрреволюционными религиозными кругами», при этом удерживая «местных активистов под контролем и настаивая на оформлении одобрения [закрытия церквей] со стороны населения и официального утверждения» со стороны комиссии ЦИК по культам^[504]. Несмотря на статью 36 указа, что «ликвидация церквей может быть санкционирована только мотивированным указом ЦИК», церкви часто закрывались в спешке, нарушая действующие законы, по решению только сельского совета, с конфискацией ценностей и

арестами священников. Это не было чем-то новым. В предыдущий период закрытия церквей рвение местных властей и комсомола в искоренении религии часто вступало в противоречие с буквой закона. Съезды партии в 1923 и 1924 годах неоднократно предостерегали от чрезмерного применения административных мер местными активистами при закрытии храмов.

Комиссия ЦИК по культам под руководством П. А. Красикова функционировала в 1930–1938 годах и предпринимала попытки как-то регулировать произвол на местном уровне. Созданная с целью надзора за соблюдением закона о церкви и регулирования религиозной жизни Комиссия неоднократно доводила жалобы верующих и случаи нарушения закона до сведения ЦК ВКП(б) и генерального прокурора, обвиняя местные органы в многочисленных серьезных нарушениях закона в отношении священников и верующих, но без успеха. В мае 1936 года ЦИК и Комиссия по делам культов направили местным властям циркуляр с требованием прекратить «борьбу с религиозными убеждениями с помощью административных мер» (то есть насилием и беззаконием). Они предупредили, что нарушители закона, закрывающие церкви без одобрения ЦИК, будут сурово наказаны. Комиссия заблокировала ликвидацию 15 процентов церквей в 1934 и 1935 годах, 36 и 32 процента в 1936 и 1937 годах соответственно, но она была не очень эффективна – как высшие, так и местные власти во многих случаях игнорировали ее или иногда даже оказывали сопротивление^[505]. Советское правительство сначала разожгло «революционное» рвение на местном уровне, а затем попыталось обуздать его с помощью комиссий и законов.

Размышляя над этими попытками контроля местного произвола сверху, Шейла Фицпатрик предположила, что «эти неоднократные призывы к терпимости... свидетельствуют не столько об умеренности и рациональности лидеров партии в вопросах религии, но и – что, возможно, более важно – о нетерпимости и воинственном антирелигиозном рвении у рядовых партийцев»^[506]. Ярость высказываний против священников, выраженная в ходе обсуждения конституции, была созвучна практике «саботажа» местными властями периодических попыток регулирования антирелигиозной политики сверху. Фриз предполагает, что в центре существовали внутренние разногласия по поводу методов антирелигиозной работы между

воинственным Союзом безбожников (спонсируемая общественная организация) и умеренной Антирелигиозной комиссией ЦК, ликвидированной в декабре 1929 года, когда началась полная секуляризация^[507]. Активисты и местные советы часто полагались на свои революционные инстинкты, а не на букву закона, когда закрывали церкви без всякой юридической процедуры, произвольно налагая поборы на священников, и в целом были склонны к толкованию законов в пользу ограничений и запретов. Сергей Максудов подчеркивает, что сельские активисты «делали в деревне не то, что им предписывалось, а то, что им нравилось, что им хотелось»^[508].

Многочисленные сообщения чиновников об оживлении религиозной сферы после публикации конституции могут отражать «одержимость режима предполагаемой подрывной деятельностью верующих и церковников после принятия новой конституции» как «единственной организованной альтернативной группы, способной к коллективным действиям с высоко развитой инфраструктурой и сетью коммуникаций»^[509]. Сообщения Комиссии по культам, документы НКВД и личные письма подтверждают объективное увеличение религиозной деятельности в связи с конституцией^[510]. После многих лет жестоких гонений священники и верующие с радостью приветствовали статью 124, которая подтвердила свободу совести и была воспринята как обещание изменить официальную репрессивную политику. Лишь немногие скептики ядовито указывали, что религиозная свобода, предоставленная предыдущей конституцией 1925 года, не соблюдалась и поэтому прихожане не должны верить в новую конституцию. Бывший архимандрит Киево-Печерского монастыря П. Иванов написал в Комиссию по культам: «Эти права принадлежали гражданам СССР и по прежней конституции, но только... на деле было формальное и открытые издевательство, глумление и преследование. ...Вот почему никто из верующих... абсолютно не доверяет не только [статье] 124, но и всей в целом Конституции»^[511].

Однако среди большинства прихожан конституция породила новые надежды, о чем свидетельствует статистика Комиссии по культам. В июле 1936 года количество петиций (некоторые с 700 подписей) увеличилось на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 1935 года; количество посещений комиссии увеличилось на 53

процента. В следующем месяце число петиций увеличилось на 36 процентов по сравнению с предыдущим годом, а число посетителей – на 95 процентов. В этих ходатайствах и жалобах преобладали требования об открытии церквей – 37,7 процента (1965 ходатайств). Жалобы на чрезмерное налогообложение составили 18,1 процента (945). Верующие, требующие осуществления свобод, были более активными, чем нетерпимые противники религиозной либерализации: в июле и августе комиссия получила 2318 жалоб от верующих, а ЦИК получил 52 предложения против духовенства и религии в июле и 1791 за пять месяцев^[512]. НКВД сообщал:

Недавно в связи с опубликованием проекта новой конституции наблюдается активизация деятельности духовенства и верующих (открытие ранее закрытых церквей, создание новых религиозных общин, недопущение закрытия церквей). В этих случаях духовенство использует проект новой конституции в антисоветском направлении, собирает подписи в селах и готовит заявления в органы власти с просьбой об открытии церквей^[513].

Ознакомившись с проектом, прихожане начали религиозные процессии, моления о дожде во время засухи, а некоторые вновь открыли церкви без разрешения^[514]. Тон требований верующих стал более настойчивым. В. Ф. Чернов из Бирска (Башкирия) требовал:

1. Статью 124 соблюдать твердо и местную власть в низах поставить в определенные рамки.
2. Непосильными налогами как храмы, так и духовенство не облагать, а делать процентное начисление доходов [т.е. налогообложение].
3. Запретить всякие «издевательства» над церковью, духовенством и верующими.
4. Разрешить беспрепятственно, без особых на это разрешений местных властей проведение собрания верующих и церковного совета, ходить духовенству по домам с молебнами и требами.
5. Не допускать давления на рабочих и служащих за религиозные убеждения.
6. Не закрывать путем административного давления храмов, если не будет на то согласия религиозной общины^[515].

Священник М. Сорокоумовский направил список из 22 требований в Комиссию по культам^[516]. Прихожане требовали освобождения арестованных священников и верующих, а бывшие священнослужители просили предоставить им работу, которая ранее была им запрещена, а теперь разрешена, но дискриминация на практике продолжалась. Верующие требовали от властей открытия церквей путем подачи массовых петиций, забастовок и проведения массовых демонстраций на заседаниях советов. В селе Нарышкино Горьковского края колхозники, требуя открытия церкви, не выходили на поля убирать урожай^[517]. Верующие не требовали больше, чем позволяли положения новой конституции, но местные власти и НКВД интерпретировали эти просьбы как подрывные и арестовывали прихожан, требовавших открытия церквей, как например в Воронежской области. Когда верующие и священники в Валдайском районе и Саратовском крае организовали 33 религиозных шествия в июле, чтобы помолиться о дожде, они столкнулись с репрессиями и штрафами. Священник был удивлен: «Как же так, конституция говорит о свободе уличных шествий, а меня оштрафовали. Почему?»^[518]

Голосам за либерализацию религиозной политики противостояло множество требований продолжения дискриминации. Военственные активисты подняли свой голос и отвергали религиозные свободы. Какие у них были аргументы? Повторяя пропаганду, они утверждали, что церковь была старым врагом, который боролся против революции, и что священники не вкладывают свой труд в строительство социализма. Они боялись, что избранные в советы священники могут отомстить своим преследователям. Красноармеец Калганов возражал против избирательных прав священников, потому что они были предателями рабочего народа, и в будущем войне они могут предать социалистическую родину^[519]. Антиизбирательные требования дополнялись многочисленными предложениями о том, чтобы все храмы были закрыты и переоборудованы в культурные учреждения (16 требований, ЦИК). Свобода религиозных ритуалов, особенно крещения и обрезания, должна быть ограничена (280 требований, ЦИК), религиозная пропаганда должна преследоваться (7 требований, ЦИК), религиозное образование детей и священников запрещено, а священники и их дети (вместе с бывшими кулаками и преступниками) должны быть исключены из военной службы^[520]. На самом деле почти

все эти ограничения действовали и ранее, и многие участники дискуссии весьма агрессивно требовали их сохранения.

Свидетельства нетерпимости по отношению к священникам, церкви и религии особенно интересны, если учитывать высокую степень религиозности населения. Через два месяца после обсуждения конституции в январской переписи 1937 года 57 процентов населения СССР заявили, что являются верующими. Историческая литература дебатировала уровень народной религиозности в 1930-х годах – был ли он по-прежнему высоким или снизился из-за антирелигиозной пропаганды? Большинство исследователей считают, что реальное число верующих было еще выше, поскольку накануне переписи среди верующих шли скрытные, но горячие споры о том, следует ли утаивать свою веру или сообщать ее переписчику. Преобладала тенденция скрывать религиозность чтобы избежать ожидаемых репрессий, лишения продовольственных карточек и так далее^[521]. Некий Карпов, счетчик в переписи, отчитывался перед своим начальством:

Когда начинаешь спрашивать о религии, что мол верующий или нет, то массы отвечают с большой осторожностью и недоверчивостью и упоминали, что это ловушка, мол скажи, что верующий, то впоследствии найдут концы и спрячут [в тюрьму], лучше быть неверующим. Теперь население находится в непонимании^[522].

Вопрос о религиозной принадлежности был включен в перепись по настоянию Сталина. Он лично утвердил окончательный вариант вопросника. Счетчиков инструктировали интересоваться «нынешними убеждениями», а не религией, данной человеку его родителями, например, при крещении^[523]. Очевидно, что организаторы хотели оценить прогресс секуляризации и эффективность своей антирелигиозной политики. Именно этот вопрос переписи вызвал нервность и даже протесты в обществе. Накануне восемь ленинградских рабочих написали в ЦИК:

Просим вас отменить графу в анкете о переписи в вопросе религии. Конституция дала право совести, исполнять обряды религиозных отпавлений, но этот вопрос при переписи многих

верующих заставит говорить неправду, потому что до Конституции это преследовалось. А потому как видно из газет многие не доверяют не только простым смертным (т.е. переписчикам. – *О. В.*), но даже лицам занимающим высокие партийные должности и целые учреждения. Вам понятно, что великие противники Религии из времен Римской жизни [в Древнем Риме] не применяли таких способов для розыска верующих. Мы просим Вас довести нашу просьбу до товарища Сталина и отменить это распоряжение опроса верующих. Это большая несправедливость, ответственность за которую падет на виновных от Бога^[524].

Эти свидетельства объясняют логику сокрытия религиозности, демонстрируют высокий уровень тревоги и недоверия к государству и конституции на низовом уровне и устойчивость религиозности в 1930-х годах. Данные переписи руководство восприняло как провал государственной атеистической пропаганды. Крестьяне не работали в полях в религиозные праздники, а рабочие, связанные производственной дисциплиной, выражали возмущение необходимостью выхода на работу в эти дни. Услуги священника по-прежнему пользовались большим спросом в обществе, как показал Аржиловский, работавший счетчиком переписи населения: «Все таки призрак религии еще существует; даже духовенство может кормиться. <...> Несмотря на 20-летие перевоспитания, все-таки еще есть люди верующие и на вопрос анкеты о религии отвечают определенно: верую. Старая привязанность, старые навыки...»^[525]. Сводки НКВД сообщали об уважении к священникам среди депортированных крестьян. Высланные на Дальний Восток отказывались от работы в религиозные праздники, хотя и под угрозой репрессий и голода. Толпа из 200 человек попросила разрешения посетить церковь и послать к ним священника^[526].

Каждый раз, когда угроза репрессий отступала, сразу же возрождалась народная религиозность: так это было летом 1936 года под влиянием конституции или позже, когда в эмиграции некоторые бывшие советские молодые люди, выросшие при атеизме, обращались в веру^[527]. Население оккупированных нацистами территорий вновь открывало церкви. В 1955 году многие взрослые крестились^[528],

многие обратились к религии во время Перестройки. Все это свидетельствует о стойкости веры в крестьянской культуре, несмотря на репрессии и модернизацию. Стивен Смит утверждает, что жестокий натиск сталинской модернизации и специфика российского кризиса активизировали «магические ресурсы народной культуры»^[529] как защитный механизм адаптации.

Альтернативный взгляд в историографии на религиозность отвергает ее высокий уровень в СССР. И. Курляндский утверждает, что антирелигиозная кампания в целом была успешной, особенно среди молодежи, горожан и комсомольцев^[530]. Он полагает, что в ходе переписи многие люди зарегистрировались как верующие только потому, что они были крещены родителями, но фактически не были активными прихожанами церкви. Логично, что поскольку местная церковь была закрыта – люди не могли посещать ее, и открытое отправление религиозных обрядов неизбежно сокращалось из-за отсутствия священников и церквей. Как ожидали большевистские визионеры – с разрушением церквей отомрет и религия. Услужливая советская статистика подтверждала упадок религии. В 1934 году опрос в колхозах Черноземной области показал, что в группе взрослых только 38 процентов женщин и 10 процентов мужчин все еще совершали религиозные обряды, а в группе молодежи – только 12 процентов женщин и 1 процент мужчин^[531]. Статистика, однако, оценивала внешнее соблюдение ритуалов, а не внутренние убеждения. По данным переписи населения, 45 процентов молодых людей признались, что они являются верующими. Кроме того, точность всех советских опросов и статистики следует воспринимать с большой осторожностью, поскольку результаты могли быть скорректированы на всех уровнях в соответствии с ожиданиями идеологических властей. Можно также задаться вопросом, насколько искренне люди отвечали на прямые вопросы о вере, зная официальную репрессивную позицию в отношении религии.

Однако не прямые данные об упадке религиозности в СССР представляет еще один интересный документ, полученный правительством. В своей записке от 26 октября 1936 года начальник Государственного реестра НКВД М. М. Алиевский проанализировал корреляцию дат свадеб и рождений с периодами поста и воздержания в православной традиции – Великим постом в марте и Рождественским

в декабре. Он отметил увеличение количества свадеб (из 100 свадеб в год в сельской местности) в 1910, 1926 и 1935 годах в Европейской части России: 1,2, 7,6 и 9,5 в период поста в марте и 1,2, 3,3 и 8,1 в декабре. Аналогичным образом, сезонные падения рождаемости, характерные для царской России из-за воздержания во время постов, в 1935 году выровнялись и стали почти такими же, как и в остальные месяцы^[532]. Если сезонные колебания числа свадеб и рождений в царской России свидетельствовали о приверженности сельского населения религиозным обрядам (хотя и с тенденцией к снижению, как показал Борис Миронов в «Социальной истории России периода империи»), то в 1935 году их равномерное распределение было интерпретировано в пользу усиления секуляризации.

Из-за чрезмерно оптимистичных сообщений местных должностных лиц и неточных данных о закрытии церквей центральные власти к 1936 году предполагали, что только 28 процентов всех религиозных общин и 23,5 процента религиозных зданий все еще функционируют^[533]. В докладе Комиссии по культам о положении религиозных организаций в СССР и их отношении к проекту новой конституции от октября 1936 года сообщается, что из дореволюционных 72 963 религиозных зданий в апреле 1936 года в СССР функционировали 29 процентов и служили 21,4 процента священников – из 112 629 в 1914 году^[534].

Такие опросы и статистические данные производили на правительство впечатление успеха в антирелигиозной деятельности. В своей пропаганде перед переписью политическое руководство артикулировало высокие ожидания в отношении социального прогресса. В день переписи «Правда» предсказывала рост населения, грамотности и образования и настаивала на том, что религиозные убеждения практически искоренены^[535]. При подготовке к переписи «категории социального статуса были значительно упрощены и сформулированы таким образом, чтобы подчеркнуть однородность общества и прогрессивный смысл ликвидации всех социальных различий»^[536]. Но даже при таких манипуляциях результаты переписи были несовместимы с идеологическими схемами и шокировали сталинистов, планировавших покончить с классовым разделением во втором пятилетнем плане (1933–1937 гг.) и преобразовать граждан в новых людей-атеистов. Грегори Фриз объясняет: «Вероятно, партия

разделяла традиционное мнение интеллигенции о том, что православие является в основном ритуальным (обрядовое), основанным не на сознательной вере, а на обычае». Поэтому руководители предполагали, что после разрушения церковной иерархии и приходской инфраструктуры и прекращения богослужений «автоматически исчезают и суеверия». Соответственно, местные власти считали, что после закрытия церквей «с религией покончено», и прекратили свою антирелигиозную пропаганду^[537].

Результаты переписи, как и предупреждения о врагах, прозвучавшие в ходе народного обсуждения, не соответствовали идеологическим конструкциям сталинистов, которые выдавали желаемое за действительное: рост населения (как свидетельство достижений социализма) оказался ниже экстраполированных цифр предыдущей переписи, грамотность не была всеобщей, общество было разделено, религиозность не сошла на нет. Правительство Сталина отвергло неожиданные результаты переписи как ложные, засекретило их и арестовало организаторов-статистиков. В новой переписи 1939 года вопросы о религии были опущены.

Большевики приложили немало усилий, чтобы покончить с религией в стране: гонениями, разрушением церковной структуры, всеобщим образованием и антирелигиозной пропагандой. Но они недооценили жизнестойкость народной религии. После закрытия храмов и разрушения института церкви народная религиозность не исчезла. Комиссия по делам культов отмечала, что религиозные чувства в ответ на репрессии приобретают измененные формы. Помимо легальных религиозных групп и общин (двадцатки) (1735 в Горьковском крае в 1935 году), функционировали тайные кружки бывших монахинь и христианские общины, как Толстовская коммуна в Западно-Сибирском крае. Люди молились по домам или в пещерах^[538]. Многие верующие, лишённые традиционных богослужений, особенно в сельской местности, обратились к менее видимым альтернативам Православию. Языческие практики и суеверия скрыто сосуществовали с сельским христианством на протяжении веков. В условиях гонений на христианство многие крестьяне обратились к привычным подпольным ритуалам магии и язычества. Другой формой уклонения и адаптации было обращение к различным сектам, которые размножились из-за амбивалентного отношения государства в 1920-х

годах, и к другим христианским конфессиям. Менее заметные и институционализированные, например, адвентисты и баптисты, обрели новых последователей, хотя это не означает, что их не преследовали^[539].

Помимо психологической потребности в духовном, трансцендентном измерении, потребность в защите и утешении находила свое выражение в альтернативных религиозных практиках: религиозных слухах, многочисленных «обновлениях икон», возвещении чудес и знаков, паломничестве к святым местам и источникам. Слухи об Апокалипсисе и появлении «священных писем» от Богоматери или из Иерусалима подтверждали божественный контроль и отражали религиозное мировоззрение крестьян. Сельская публичная сфера слухов, однако, неизбежно приобретала политическую окраску, объявляя Сталина антихристом, колхозы – творением антихриста и обсуждая преследование религии в СССР^[540]. В 1930-х годах власть одержала победу в публичном пространстве, вытеснив ритуалы из видимой сферы, но потерпела поражение на низовом уровне: повседневная народная религиозность приняла неинституционализированные, зачастую импровизированные формы и ушла в подполье, где оказалась вне контроля государства. Крестьяне нашли новые способы сохранения веры: приспособились к условиям без мест отправления культа или священников (например, вступление в беспоповцы, секту старообрядчества без священников); придумали новые эрзац-ритуалы – свадебные и похоронные – с дистанционным освящением священниками колец или могильной земли. Люди преодолевали большие расстояния, чтобы найти священника, который мог бы совершить похоронную службу над горсткой земли с могилы, и когда эта освященная земля рассыпалась на могиле, считалось, что умерший был похоронен по христианскому обряду. В отсутствие церкви для венчания обручальные кольца освящались подобным священником без новобрачных – и брак считался законным. До трехсот священников, чьи церкви были закрыты в Воронежской области, стали бродячими «попами-передвижками» и теперь служили тайно по домам, а иногда и в пещерах; в области тайно практиковали 26 святых и целителей всех видов. Комиссия по делам культов заключала: «Религиозность населения административно загоняется в подполье. Она выливается в тайные формы... нелегальных групп»^[541].

Антиизбирательный и антиклерикальный дискурс в ходе дискуссии, в отличие от религиозности, продемонстрированной в ходе переписи населения, отражал разнообразие политической культуры. Очевидно, что мы слышим голоса различных групп. Но иногда в одной личности переплетались противоречивые приверженности, отражающие конфликт между неформальными нормами, действующими в реальности, и официально провозглашенными нормами. В интервью после войны верующая 30-летняя женщина поддержала правительственный контроль над религией:

В Советском Союзе церковь и государство полностью разделены, не имеют ничего общего. В демократическом мире церковь должна быть связана с правительством. Церковь должна получать помощь от правительства, а правительство должно осуществлять контроль над церковью, чтобы та не вела пропаганду против правительства^[542].

Мы наблюдаем такую противоречивую лояльность бывшей советской верующей, которая была свидетелем преследования религии, но оправдывала действия государства в этом конфликте.

Что мотивировало антиклерикальные требования? Резкий сдвиг в официальной линии – от преследования религии к декларации примирения – мог вызвать замешательство и защитную реакцию со стороны активистов – комсомольцев и членов Союза безбожников. Этот актив, вероятно, был особенно громогласным в дискуссии, потому что эти люди извлекали выгоду из социальных изменений, защищали свои интересы и часто несли ответственность за организацию кампании по обсуждению конституции. Нельзя исключать, что члены Союза воинствующих безбожников – поддерживаемой государством антирелигиозной организации, численность которой, по оценкам Центрального комитета, составляла от 3,5 до 7 миллионов человек^[543], – ранее принимали участие в многочисленных преследованиях и теперь боялись мести. Возможно, их голоса были непропорционально представлены в дискуссии и внесли вклад в нарратив недовольства священниками. Их антирелигиозные комментарии можно рассматривать как отголосок предыдущих воинственных мобилизационных кампаний.

Кроме членов Союза безбожников, молодое поколение, прошедшее советскую школу, усвоившее официальную секулярную риторику классовой борьбы и сделавшее ее своей собственной, могло сопротивляться стремительному идеологическому повороту и защищать свои убеждения. Быть атеистом для них означало быть современным и советским. Антирелигиозная позиция рассматривалась как важная часть новой советской идентичности. Маленький человек, вырванный из сельского мира и уязвимый, как сын кулака Степан Подлубный, в своем дневнике запечатлел стремление к мимикрии, новой идентичности и интеграции, чтобы выжить в современном городском мире^[544]. В 877 комментариях к статье 1 «СССР – социалистическое государство рабочих и крестьян» обсуждалось, кто принадлежал к нему, а кто – нет^[545]. Наиболее многочисленными были предложения изменить формулу на «государство трудящихся», тем самым поддержав утверждение Сталина о новой однородности общества. Фицпатрик объясняет психологический фон такой аффилиации: «Во многих людях опыт дискриминации (или страха перед ней. – О. В.) породил особенно сильную и тревожную форму советского патриотизма, выражающую желание принадлежать к сообществу»^[546]. Для многих, кто искал новую идентичность, обсуждение конституции давало прекрасную возможность развить чувство принадлежности, продемонстрировать новую персону, формально и публично дистанцироваться от старой идентичности и «истерически принять советские ценности»^[547].

Помимо растущего безразличия к религии в молодом поколении, плохое отношение к священникам как к стяжателям в российских массовых представлениях до и после революции могло способствовать негативности 1936 года^[548]. Демократическая пропаганда в России XIX века создала образ жадных и хитрых церковников, которые обирают верующих, используя крещения, свадьбы и похороны^[549]. Этот образ культивировался пропагандой после 1917 года и нашел в общественном сознании плодородную почву. Москвичка Галина Штанге подслушала разговор в поезде в сентябре 1937 года:

У них есть священник, который приходит к ним навестить, он говорит и пишет книги на 12 языках... Думаешь, он просто ходит туда, чтобы провести время? Нет, он распространяет свою

пропаганду. Он говорит людям: «Давайте я вас обвенчаю», а другим – «Давайте я покрещу ваших детей». И это работает. ... [Другой голос]: Ты знаешь эту церковь на Мариинской улице? Эта церковь пожертвовала 25 тысяч рублей в пользу испанцев (республиканцев в Гражданской войне. – О. В.). Интересно, откуда у них взялись такие деньги? [Первый голос]: Люди ходят в церковь, вот тебе и деньги. И, конечно же, они должны доказать, что они не против советского правительства, поэтому они делают эти пожертвования^[550].

Рабочий Аржиловский, нищий и живущий впроголодь, берет как подаяние деньги, которые предложил знакомый священник, – и вместо благодарности отмечает в дневнике, что «призрак религии еще существует» и «даже духовенство может кормиться»^[551]. Однако к середине 1930-х годов в общественном воображении постепенно угасло представление о священнике как корыстолюбце. Из-за гонений на духовенство простые люди стали больше сочувствовать им^[552].

Комментарии народа против церкви и священников в 1936 году выражали враждебность общества по отношению к группам санкционированных отверженных, указывая на авторитарные элементы в народной культуре и раскол в обществе. Революция выпустила из бутылки джина ненависти. За фасадом социалистического общества тлели угли неявной гражданской войны.

Следующий вывод из этой истории – возможная переоценка Сталиным состояния общества. Многочисленные народные антиклерикальные и антиизбирательные поправки к конституции были отвергнуты Сталиным на VIII съезде Советов. Он упомянул поправку, требующую «запретить отправление религиозных обрядов», отметив, «что эту поправку следует отвергнуть, как не соответствующую духу нашей Конституции», а также поправку о лишении «избирательных прав служителей культа, бывших белогвардейцев, всех бывших людей», с комментарием: «Говорят, что это опасно, так как могут пролезть в верховные органы страны враждебные Советской власти элементы, кое-кто из бывших белогвардейцев, кулаков, попов и так далее. Но чего тут собственно бояться?»^[553]

Если в результате прежних бодрых донесений с мест у Сталина сложилось впечатление ослабления и угасания религиозных

верований, то вдохновленное конституцией возрождение религиозной деятельности в 1936 году, о чем сообщали советские и чекистские органы и вновь подтвердила перепись, могло бы убедить его, что он ошибся в своей оценке секуляризации, что церковники (как духовенство и религиозные общины именовались на партийном жаргоне) сговариваются в подполье и по-прежнему представляют угрозу на выборах. Хотя в своем выступлении он отверг несогласие участников дискуссии с новыми свободами, тревожные сообщения об активизации религиозной деятельности, вероятно, запали ему в сознание и повлияли на решение о возобновлении гонений на верующих как завершающий удар по «пережиткам прошлого» и другим врагам, и в конце концов привели к отмене конкурентных выборов.

Волна арестов духовенства, верующих и закрытия церквей последовала в 1937–1938 годах. Основными группами репрессированных в селах во время Большого террора стали возвратившиеся кулаки, верующие и сектанты. Если Сталин и руководство искренне верили в наступление социализма и социальной гармонии, то осознание своей ошибки в оценке прогресса заставило их пересмотреть свои прежние представления. В частности, случай с духовенством – его самомобилизация после принятия конституции и накануне выборов в Верховный Совет – произвел впечатление на должностных лиц, вызвал опасения поражения на выборах и способствовал началу массовых репрессий в июне 1937 года, направленных против простых людей. Ф. Синицын считает, что у верующих были большие шансы быть избранными в советы, тем более что они активно демонстрировали желание воспользоваться своими конституционными правами^[554].

В 1937 году Союз безбожников Горьковской области отвечал на озабоченность чиновников сообщениями о возрождении религиозной жизни, которое члены этой добровольной организации интерпретировали как контрреволюционную активность: распространение священных иерусалимских писем, запугивающих колхозников карами, распространение слухов о войне, конце света, «Варфоломеевской ночи» (угроза расправы над коммунистами и колхозниками), организация «чудес» (появление иконы в источнике в Ардатовском районе), религиозные шествия на полях и кладбищах,

благотворительность, запрещенная законом 1929 года. Контрреволюционной считалась организация «хороших церковных хоров», развлечения для детей, например, танцы, игры, изготовление и раздача игрушек, поскольку это привлекало людей и поднимало авторитет церкви. По мнению Союза безбожников, церковники использовали для своих целей «юродивых» («святую» Васяну в селе Апраксино Болдинского района). Некоторые священники странствовали как мелкие торговцы и вместе с другими товарами продавали предметы культа, другие помогали неграмотным крестьянам читать и понимать конституцию (село Лапшанга Варнавинского района), помогали женщинам на полях (село Рождествено Чернухинского района); епископ села Сергачи собирал пожертвования для испанцев, муллы – для ремонта мечетей. Они отмечали религиозные праздники и выступали против колхозов. В результате этой деятельности «священники повышают свой авторитет, чтобы подготовиться к предстоящим выборам в Верховный Совет», – говорилось в заключении доклада^[555].

В 1937 году НКВД неоднократно сообщал о консолидации церковников, решивших использовать конституцию для открытия церквей и подготовки к выборам: в Павловском, Гагинском, Нарукском районах Горьковской области, в Лядском, Новгородском, Подпорожском районах Ленинградской области, Чубаревском и Солонянском районах Днепропетровской области. Собрания духовенства и верующих рассматривались в сводках как сговоры^[556]. Власти отреагировали новой волной пропаганды под лозунгами «Священникам не место в советах!», «Священники – шпионы» и тому подобное. Е. Ярославский, председатель Союза безбожников, ясно дал понять: «Мы не можем представить, что советские массы будут голосовать за священника и избирать его в Совет!» Статья 141 служила юридическим инструментом для блокирования выдвижения кандидатов-священников: «Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами». Данная статья дискриминировала религиозные объединения. Манипулирование выдвижением кандидатов было обычной практикой в ходе

предвыборных кампаний^[557], но самым эффективным инструментом были репрессии. На февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 г. А. А. Жданов сообщил о возрождении и консолидации церковников и предложил использовать «нажим» против их попыток войти в состав советов. После этого 27 марта 1937 года НКВД направил в местные управления секретный циркуляр, призывающий их принять все меры для предотвращения проникновения церковников и сектантов в низовой советский аппарат и прекращения их пропаганды, и предложил НКВД внедрить агентов в их ряды^[558]. НКВД 8 июня издал приказ о ликвидации церковных деятелей и сектантов. В 1937 году восемь тысяч церквей были закрыты, 136 тысяч человек арестованы по «церковным делам», 85 тысяч из них были расстреляны; в 1938 году 28 тысяч были арестованы и 21 тысяча – расстреляны^[559].

Ожидания Сталина в отношении общества как успешно советизированного изменились после обсуждения конституции и переписи населения. Это способствовало возобновлению государственного насилия.

10.2. «Обязанность ненавидеть»: ожесточение общества

Еще одним ярким нарративом в народных комментариях были призывы к усилению контроля и ужесточению наказаний^[560]: 5 процентов ленинградских комментариев, согласно Гетти. С. Екельчик в своем исследовании взаимоотношений советских граждан и государства в послевоенном Киеве отметил, что «типичная для... мировоззрения противостояния ненависть к врагам появилась в сталинское время как важнейший компонент идеальной советской идентичности, наряду с любовью и благодарностью к лидеру»^[561]. В середине и конце 1930-х годов наметилась официальная судебная тенденция к значительно более суровым наказаниям, применяемым к преступникам: более длительные сроки заключения и возрастание числа приговоров, ведущих к тюремному заключению, чему косвенно способствовал Сталин^[562].

В 1936 и 1937 годах «Правда» не уставала напоминать читателям, что бдительность – это черта каждого настоящего советского гражданина. Историки связывают возникновение такого разъединяющего мировоззрения с революцией и гражданской войной^[563]. Мобилизационный потенциал таких эмоций, как ненависть и подозрительность, был в полной мере использован сталинизмом. Несколько предложений об отмене смертной казни в дискуссионных материалах контрастируют с многочисленными требованиями о распространении смертной казни на такие преступления, как хищение государственного имущества (94 предложения ЦИК) и антисоветские преступления, установленные статьей 58 Уголовного кодекса^[564]. Внимание участников всенародного обсуждения к хищениям и смертной казни было отголоском жестокого указа от 7 августа 1932 года, вводившего смертную казнь за хищение социалистической собственности. Указ уже был изменен ЦИК в марте 1933 года, и приговоры пересмотрены, с освобождением 32 процентов осужденных^[565], но массы продолжали требовать смерти для расхитителей, поскольку этот суровый указ, вероятно, в значительной степени отвечал общественным настроениям.

Та же враждебность проявилась и в сельских показательных судебных процессах 1937 года, когда, по сообщениям местных газет, крестьяне часто призывали к вынесению смертных приговоров обвиняемым местным чиновникам, хотя прокурор и не запрашивал такого наказания и судья выносил более мягкий приговор (вспомним здесь евангельское «Распни!» – *О. В.*). Фицпатрик предостерегает, что подобные требования не всегда следует принимать за чистую монету, поскольку такие требования часто направлялись властями, но они вполне могли иметь место в сельских делах такого рода, где крестьяне хорошо знали обвиняемых и могли сводить старые счеты с ними^[566]. Однако общий контекст широко распространенной в обществе ненависти заставляет нас поверить в подлинность этих эмоций. Статья 131, в которой расхитители социалистической собственности квалифицируются как враги народа, тем самым политизируя преступление, находила поддержку среди бдительного населения. ЦИК зарегистрировал 118 предложений о распространении ярлыка «врагов народа» на спекулянтов, попрошайек, воров, бездельников и 60 предложений на родственников, которые «укрывали» нарушителей закона^[567]. Последнее подразумевает понимание политической принадлежности государству выше семейной принадлежности. Более того – эти 60 человек, требующие преследования жен и матерей предполагаемых преступников, полагали, что за правонарушение ответственны как трудовой и партийный коллектив, так и члены семьи. Такое отношение имело корни в традиционной крестьянской общинной системе взаимной ответственности – круговой поруке. Пять предложений сделать доносительство гражданским долгом в действительности отражало существующую практику: люди получали наказание за то, что не донесли о предполагаемом заговоре^[568]. Один гражданин предлагал законодательно запретить свободную смену места работы, которая и так фактически была ограничена; некоторые крестьянки предлагали заключать в тюрьму женщин за аборт (недавно объявленный вне закона) и мужчин, часто менявших жен^[569].

Люди считали своим гражданским долгом ненавидеть^[570]. Слова «суровое наказание» и «отдать под суд» были излюбленными в лексиконе национальной дискуссии, в отличие от слова «милосердие», которое абсолютно отсутствовало в дискурсе^[571]. Даже «Правда» отметила чрезмерно агрессивную лексику региональной газеты:

Слово «заставить» – наиболее часто употребляемое слово. «Наказать», «отдать под суд», «принять меры», «уволить» – таковы основные требования большинства публикаций. За шесть месяцев газета призвала наказать 229 человек^[572].

В комментариях населения предлагалось ввести уголовное наказание для родителей, которые не пускали детей в школу (обычно из-за антирелигиозной пропаганды в классе или из-за отсутствия обуви), убивать воров на месте преступления без суда и «ужесточить наказания за уголовные и политические преступления». Авторы ограничивающих, запрещающих и ужесточающих рекомендаций видели мир полным врагов, которые вынашивали коварные планы по разрушению страны. Согласно социально-психологической литературе такое мировоззрение, наряду с принятием насилия, принадлежит авторитарному типу личности. Историк Георгий Мирский размышлял незадолго до своей смерти:

За Сталина стоят и будут горой стоять все те, кто презирают такие понятия, как свобода слова, права человека, ценность человеческой жизни, терпимость, снисходительность, уважение к чужому мнению. А таких всегда будет много. Может быть, существует такой авторитарный тип, тоталитарный человек? Может быть, сталинистами не становятся, ими рождаются?^[573]

Советское население было хорошо натренировано в ненависти. Характерные для конституционных комментариев проявления беспощадности следовали за упражнениями в ненавистнической риторике во время раскулачивания, после убийства С. Кирова, на показательных судебных процессах, и в августе 1936 года во время процесса над Объединенным троцкистско-зиновьевским центром. Примирительная линия конституции резко контрастировала с агрессивной риторикой этого судебного процесса, подавая противоречивые сигналы публике. В какой-то день в августе граждане обсуждали конституцию и примирение с «бывшими людьми», а на следующий день на другом собрании кричали: «Повесить этих рептилий!», требуя смертной казни без всяких «юридических тонкостей» для подсудимых. Когда в сентябре 1936 года Н. Бухарин и

А. Рыков были на время избавлены от суда и преследования, анонимное письмо на имя С. Орджоникидзе требовало их смерти: «Всех надо убивать, кто идет, говорит даже против Сталина, всем в глотки и другие места надо забить колья»^[574]. Конфронтационный и консолидирующий типы мобилизации сочетались в 1936 году, но конфронтационный получал все большую поддержку. Недостатка в одобрении государственного насилия и дискриминации не было.

В периодических ритуалах ненависти режим культивировал силовые элементы традиционной культуры с ее тенденцией приписывать свои неудачи злонамеренным действиям других людей, а не собственным просчетам, случайностям или безличным силам^[575]. Революционное насилие в течение двух десятилетий превозносилось в официальном дискурсе классовой борьбы, который подогревал революционное рвение и давнее социальное недоверие простолюдина к дворянству, аристократии и интеллигенции. Атмосфера охоты на ведьм в ходе августовского процесса отнюдь не побуждала участников дискуссии принимать идею примирения, содержащуюся в конституции, поскольку это был внезапный отход от норм классовой ненависти. В дискуссионных материалах и письмах к властям мы слышим эхо агрессивной риторики, употреблявшейся газетами в ходе судебного процесса. В сентябре член партии Г. Ваненко написал Молотову письмо со следующими рекомендациями: «В связи с [предстоящим VIII] Съездом Советов... а также в связи с работой по-новому (Новая Конституция – сталинская) надо пересмотреть весь руководящий партийный и советский аппарат, очиститься от троцкистов и подозрительных». Ваненко подробно перечислил почти все ветви власти и вооруженные силы, подлежащие проверке^[576]. Эти «рекомендации» на самом деле были реализованы правительством во время Большого террора 1937–1938 годов. Степень массовой поддержки политических репрессий измерить невозможно, но степень злобы была высокой: значительная часть требований и одобрений чисток сопровождалась предложениями самых варварских методов казни врагов и воров – посадить на кол, содрать кожу, медленно пытаться раскаленным железом или день за днем расчленять. Мобилизационная кампания вокруг августовского показательного суда над троцкистами способствовала агрессивному дискурсу в ходе дискуссии.

Архаическая культура насилия подпитывалась жесточайшим опытом войн (1914–1922 года) и голода и оборачивалась низкой ценой человеческой жизни, брутализацией норм и криминализацией общества^[577]. Высокий уровень тревожности населения наряду со страхом за свое окружение и будущее, чувство незащищенности и беспомощности, неуверенности в собственных силах, формировали психологическую основу внутренней агрессивности у граждан. Это стало психологическим фоном для будущего Большого террора. Массовые репрессии, а затем опыт и последствия Второй мировой войны способствовали банализации насилия в обществе, о чем свидетельствует послевоенный рост преступности. История государственного и криминального насилия в России в XX веке имела долгосрочный эффект. Современные опросы 1999 года показывают, что около 25 процентов россиян участвовали в драках, становились жертвами грабежей и насилия в семье. 58 процентов молодых людей, проходивших службу в вооруженных силах, стали жертвами физического насилия со стороны своих сослуживцев. В 2007 году почти половина россиян выступала за восстановление и расширение смертной казни, что, впрочем, в целом соответствует мировому уровню^[578].

10.3. Этатистский код политической культуры

Ненависть к врагам была движима патриотизмом и любовью к советскому государству и лидеру. Убеждение, что государство должно контролировать жизнь страны даже за счет личных интересов и прав граждан, пронизывало комментарии. Прямые и косвенные высказывания граждан как в публичной, так и в неформальной обстановке свидетельствовали о прочном увязывании личных интересов с государством, уважении к власти и даже готовности пожертвовать жизнью ради государства и любимого лидера. Иногда, публично и в частном порядке, советские граждане метафорически сожалели о своей неспособности предложить свою жизнь в обмен на жизнь умерших лидеров – Ленина, Кирова или Орджоникидзе^[579]. Нарратив жертвования жизнью во имя революции и социализма был частью официального канона, навязанного, в частности, газетами и социалистическим реализмом. Эта модель была представлена в культовом романе Н. Островского «Как закалялась сталь», изданном в 1932–1936 годах. Главный герой подорвал свое здоровье, был парализован, а затем умер, героически работая без отдыха в тяжелейших условиях на благо общества в течение многих лет. В августе 1936 года в репортажах о гражданской войне в Испании вновь зазвучала тема жертвования жизнью для революции. Этика самопожертвования, так глубоко коренящаяся в православном менталитете, отказ от индивидуальности, упование на мощь государства пронизывали историко-культурные традиции.

К числу многочисленных проявлений того, что советские люди ставили государство и общественное благо выше индивидуальных и семейных ценностей, относятся массовое осуждение хищения социалистической (то есть государственной) собственности, признание государственной измены самым недопустимым преступлением, требования перлюстрации и цензуры частной корреспонденции и наказания родителей, дети которых не посещали школу (обычно из-за религиозных мотивов)^[580]. Естественно, такие высказывания были спровоцированы официальным нарративом патернализма, который всегда культивировался большевиками и закреплялся в конституции. «Правда» просвещала своих читателей:

«Единство интересов общества и личности, государства и каждого гражданина – одна из самых ярких особенностей советского строя»^[581]. Предоставление права голоса и объявленное конституцией расширение социального обеспечения вызвали должную благодарность со стороны получателей этих даров. Колхозница писала

Сколько за последнее время построено у нас в Рудне... Сталин заботится, а мы еще плохо оправдываем [его заботу], еще плохо работаем, еще нас преодолевает [одолевает] частная собственность и мы особенно много уделяем внимания своему домашнему хозяйству и своему приусадебному участку, а нужно больше обращать внимание на колхозную работу. За эту заботу спасибо т. Сталину!^[582].

Конечно, можно поставить под сомнение искренность сильных государственных эмоций, проявленных многими участниками кампании. Значительную долю любви к государству можно отнести за счет праздничного формата дискуссии, который программировал ответные реакции, а также за счет более материальных причин. Поскольку советское правительство закрыло почти все возможности для частной инициативы и предпринимательства, государство оставалось единственным источником всех благ и теперь представляло себя как заботливого благодетеля. Патернализм, как показала Кэтрин Вердери, был в центре как официальной идеологии партии, так и ее усилий по мобилизации массовой поддержки. Патерналистский дискурс «подчеркивал квазисемейную зависимость» и «определял моральную связь подданных с государством через их права на долю в перераспределяемом социальном продукте»^[583]. Льюис Сигельбаум особо подчеркивал дисциплинарную функцию патернализма, когда получение доступа к благам «зависело от того, насколько люди соответствовали роли просителей и благодарных потребителей»^[584].

Ученые, пишущие о патернализме как модальности власти в СССР, как Джеффри Брукс, в основном рассматривали официальную самопрезентацию партии, например, в прессе. Однако все они признают приемлемость такой модальности для общества, особенно те авторы, которые работали с индивидуальными письмами и

анализировали их лексику. В послевоенном интервью 30-летняя русская студентка оправдывала приоритет государства:

Я думаю, что государство должно быть во всем и должно быть везде – в прессе, в театре, в школе, где угодно. Нет такой области, в которую государство не имело бы права вмешиваться. У гражданина много обязательств перед правительством: патриотизм, помощь правительству в разных ситуациях. Существует много общих точек соприкосновения между правительством и его гражданами. Гражданин должен быть патриотом и следить за людьми, которые пытаются навредить государству, или даже убирать их. Короче говоря, каждый гражданин должен быть бдительным.

Сорокалетний тракторист аварец с Кавказа в интервью высказал то же самое мнение:

Правительство должно иметь цензуру, чтобы не допускать никакой межнациональной розни или вредной критики какой-либо ветви власти. Правительство не должно допускать раскола своего народа на несколько частей [национальностей]. Государство должно разрешить осуществление цензуры на языках национальностей. Если одна из этих национальностей начнет вести пропаганду, направленную против другой, это будет пагубно. (Респондент долго думал.) Если народ живет под руководством правительства, то нет такой сферы жизни, в которую правительство не должно вмешиваться. Хороший отец вмешивается во все дела своих детей. Если он равнодушный отец, то ему плевать, что делают его дети. Но хороший отец будет знать все, что делают его дети, и вмешиваться во все, кроме случаев, когда они выбирают жену, чтобы жениться. Но в делах государства таких случаев нет. (Поэтому вы считаете, что хорошее правительство должно быть как хороший отец?) Да^[585].

Отметим здесь несогласие корреспондентов с демократическим мейнстримом западного общества, в котором они теперь жили. Такое несогласие свидетельствует об относительной независимости их мнений. Семейная метафора убедительно указывает на корни этого

этатистского нарратива в традиционном патриархальном крестьянском менталитете. В ходе Гарвардского проекта исследователи пришли к выводу, что советские беженцы плохо понимали, как работают институты в политической системе, и не видели необходимости «в строго конституционном аппарате гарантий, прав и мер защиты» демократии. Они предпочитали хорошего, доброго и сострадательного правителя, который «заботился» бы о народе и не угнетал его^[586]. Люди мирились со слабыми институтами и почитали лидера на самом верху.

Вместе с послевоенными интервью комментарии к конституции дают достаточно доказательств распространенных упований на государство. Патерналистская позиция правительства нашла глубокий резонанс в общественном сознании, о чем свидетельствует культ лидера в массовых представлениях^[587] и ожидания социального обеспечения. Помимо материальной заинтересованности обывателя в пенсиях и гарантиях, навязанный сверху харизматический режим легитимации (по Веберу) находил плодородную почву в традиционных патриархальных отношениях, которые трансформировались в СССР в отношения «моральной экономики дара»^[588]. Советские люди, особенно бенефициары режима, охотно приняли на себя функции реципиентов, предписанные им государственным дискурсом и заявляли о своей готовности к погашению долга^[589]. Общей темой в многочисленных одобрительных комментариях была благодарность Великому Сталину за конституцию.

Мы слышим эту благодарность, признание приоритета государства над личностью, обожание сильной власти и сильного лидера в семи рекомендациях (по оценкам ЦИК) переименовать Москву в «Сталин», в идее увековечить конституцию памятником и мраморными плитами с золотыми буквами наподобие Библейских скрижалей (28 предложений) и в призывании чумы на головы предателей и заговорщиков против жизни дорогого лидера^[590]. Чрезмерная озабоченность дизайном государственного герба (90 комментариев, собранных ЦИК) отражала гиперактивизм масс, которые едва ли разбирались в сложностях функционирования государства и закона, но хорошо понимали простые символы серпа и молота. Они жаждали реализовать свое право на самовыражение и спешили

продемонстрировать лояльность государству в акте самоидентификации с общей волей.

Моше Левин считал, что эти этатистские отношения уходят своими корнями в историко-культурные традиции страны, в частности, крестьянские: «Авторитарные импульсы исходящие сверху из партийной и государственной администрации... [были] подхвачены импульсами снизу... исходящими из низших слоев, глубоко погрязших в патриархальности»^[591]. Он напомнил о давней национальной традиции добровольного подчинения власти и отказа от инициативы, закреплённой в поговорке: «Начальству виднее». Именно это советское массовое упование на государство как на благодетеля порождало циклические волны надежд в народе и затем неизбежное разочарование – в результатах конституции 1936 года или даже самой Октябрьской революции или, позднее, горечь от нереализованных мечтаний о деколлективизации после победы во Второй мировой войне, а затем, наконец, и разочарование в результатах Перестройки.

10.4. Милитаризм, пораженчество и регламентация

Выражения любви к Красной армии были частью этого государственнического настроения. Такие заявления отражали не только высокую степень милитаризации, но и статус этого института в обществе – ступеньки к вертикальной мобильности. Красноармеец Беспалов из Архангельска писал: «Красная армия переродила меня, как и многих других, и сделала настоящим гражданином СССР»^[592]. Готовность пролить кровь на будущих полях сражений была одним из способов доказать свою лояльность. Требования ввести всеобщую подготовку к противовоздушной обороне, вооружения всей нации, военного образования для обоих полов (90 комментариев, ЦИК) и поразительное число голосов в пользу воинской обязанности для женщин (281) выявляют государственнический код политической культуры и значительный успех в милитаризации общества.

Упомянутый гендерный фактор может толковаться по-разному – как свидетельство милитаризации сознания, или этатизма, или модернизации, или как результат риторики социалистического освобождения женщин. Желание женщин служить в армии может отражать расширение участия женщин в общественной жизни, что является признаком современности, или отражать социалистический гендерный эгалитаризм, или, как считает Роджер Риз, быть результатом исторических прецедентов участия женщин в российских войнах прошлого^[593]. Конечно, советская пресса, литература и кино активно способствовали формированию образа доблестной Новой советской женщины, готовой сражаться за Родину. Все это привело к «беспрецедентному участию советских женщин в боевых действиях» во время Второй мировой войны^[594]. Большое число голосов за призыв женщин на военную службу свидетельствует о значительном изменении традиционных патриархальных гендерных ценностей в обществе 1930-х годов, особенно в молодом поколении.

В 1920-х годах огромные усилия государства по внедрению милитаристских и патриотических ценностей в массовую культуру через пропаганду, образование, военную подготовку, Общество друзей авиации и химической обороны еще не принесли ощутимых результатов. Мобилизационная кампания военной тревоги 1927 года

породила огромную волну пораженчества в поколении, прошедшем две войны, особенно среди крестьян^[595]. Они массово отказывались защищать страну в случае новой войны. Однако в середине 1930-х годов, с приходом молодого поколения, мы видим агрессивный патриотизм уже хорошо укорененным. Бранденбергер считает, что «национал-большевизм был привлекательным и вдохновляющим» для многих в конце межвоенного периода^[596]. Пораженчество снизилось, но не полностью отступило.

Милитаризация была краеугольным камнем сталинской экономики, идеологии и социальной мобилизации. В основе чрезвычайного режима всего советского проекта лежал тезис о «капиталистическом окружении». Официальный миф осажденной крепости на протяжении десятилетий мобилизовывал население на производительный труд и готовность к защите достижений социализма. В то время как капиталистическая угроза спланировала истинных советских патриотов, пропагандируемая готовность капиталистических стран к вмешательству неожиданно для организаторов часто рассматривалась в массовом сознании позитивно, как освободительный фактор. Вопреки культу Красной армии и патриотизму, представленному в конституционной дискуссии, обычным сюжетом в разговорах было ожидание освобождения от большевиков посредством иностранного вмешательства. Историк Веселовский в 1918 году и Шапорина в августе 1941 года писали в дневниках, что люди ждут немцев: «Говорят, что немцы лучше грузин и евреев»^[597]. Обязанность защищать социалистическую Родину, прописанная в конституции, была признана не всеми. В жаргоне НКВД, с позиций государства, это настроение называлось «пораженчеством», а в крестьянском разговорном языке, с позиций простого человека, приход немцев означал бы не столько поражение Красной армии, сколько освобождение от ига советской власти. Люди не только пассивно ожидали освобождения, но и были готовы действовать – если верить многочисленным записям НКВД о «повстанческих настроениях» среди казаков и крестьян. Эти настроения включали как упования на иностранное вмешательство, так и предполагаемую подготовку военных действий в тылу для помощи захватчикам^[598].



Пионеры в противогазах участвуют в тренировочном походе. Ленинградская область. 1935. Фотограф Виктор Булла. ЦГАКФФД СПб

Этот нарратив ожидания «интервенции» распространился среди разочаровавшихся, для кого ожидания внутренней трансформации или смягчения режима были исчерпаны. Сводки сообщали об угрозах, что 50–60 процентов будущих призывников повернут оружие против правительства. Всплеск надежд на смягчение в связи с конституцией временно оттеснил надежды на иностранное вмешательство, однако, по сообщениям британских дипломатов в октябре 1936 года, «общее моральное состояние народа было недостаточно высоким, чтобы правительство могло с уверенностью рассчитывать на его верность в условиях длительной войны»^[599]. Паника Сталина в июне 1941 года подтверждает, что он относился к таким настроениям очень серьезно.

Милитаризация сознания находила отражение в разнообразных предложениях тотальной регламентации жизни. В своих комментариях люди предлагали ввести цензуру, всеобщие обязательные физические упражнения, присягу на верность как в армии, так и в гражданских учреждениях, введение обязательного разрешения на проведение

публичных собраний и демонстраций и даже «обязать женщин рожать детей» (две рекомендации, ЦИК)^[600]. Беременность и материнство в тот период рассматривались государством как производственная деятельность наряду с другими видами деятельности, что подразумевалось, в частности, запретом аборт^[601]. Склонность подчиняться правилам, исходящим от центральной власти, указывает на такие ценности, как уважение к власти и стремление к упрощению – элементы собственно тоталитарного сознания. Эта склонность также была косвенным следствием слишком быстрого «перехода от локальной патриархальности к централизованной власти»^[602]. Тенденция к единообразию, описанная Казимиром Добровольским, носила преимущественно консервативный и стабилизирующий характер и находилась в близком родстве с традиционной крестьянской культурой, как отметил другой знаток русской деревни: «Русский крестьянин был одержим страхом нарушить многочисленные запреты, правила и требования сельского мира»^[603]. Жажда упорядоченных форм поведения компенсировала утрату старого крестьянского мира с его стабильностью.

Статьи конституции об основных правах человека, таких как неприкосновенность переписки, жилища и личности, вызвали не меньше критики, чем одобрения. Примечательно, что поступило 21 предложение о введении надзора за частной перепиской. Не ведая о том, что эта незаконная практика применялась с 1918 года, бдительные граждане хотели помешать врагам вступать в сговор и отправлять советские секреты за границу^[604]. Напротив, в трех комментариях одобрялась неприкосновенность корреспонденции, в четырех предлагалось расширить неприкосновенность на телефонную и телеграфную связь, и в одиннадцати – на банковскую информацию^[605]. Другие опасались, что неприкосновенность жилища даст свободу действий вредителям и заговорщикам или что сдача жилья в аренду может принести нелегальную прибыль; некоторые добивались конфискации жилья, которое не поддерживается надлежащим образом^[606]. Конфиденциальность не заботила людей; в русском языке нет органичного слова для этого понятия, а только заимствования, и поэтому приватность частной жизни не обсуждалась. Обычные граждане часто соглашались на вмешательство государства

за счет ущемления их индивидуальных прав. По всей вероятности, граждане, стремящиеся к нормализации и безопасности, ассоциировали регламентацию с порядком и стабильностью. Единообразие, навязываемое официальной культурой, находило отклик в традиционных представлениях в народном сознании, поскольку упрощение помогало бесхитростным умам постичь хаотичный и сложный современный мир.

Замечания и рекомендации против новых свобод созвучны выводам, сделанным Хелбеком на основе изученных дневников: нелиберальные взгляды были распространены во всем обществе и не ограничивались только конкретными социальными группами, такими как лишенные гражданских прав или бывшие изгои^[607]. Дискуссионные комментарии показали, что тоталитарный режим отвечал чаяниям множества маленьких людей, которые верили в революцию и выиграли от нее. Новый режим предлагал им если не материальное благополучие, то по крайней мере признание, смысл жизни, возможности для вертикальной мобильности, социальные льготы (сосредоточенные в руках государства), и освободил их от «бремени свободы» и выбора. Когда в 1936 году конституция предложила свободу, плюрализм, разнообразие форм и права меньшинств (по крайней мере в формате дискурса), бенефициары, активисты и молодые адепты коммунизма, как Лев Копелев^[608], отвергали их и отстаивали нелиберальный статус-кво – их собственный вновь приобретенный социальный капитал и/или награбленную добычу, – но в отношении других (кого они считали врагами) они зарезервировали сегрегацию, цензуру и репрессии. Эти граждане примкнули к государству с восторгом и держались революционной идеологии, оправдывавшей перераспределение богатства и социального капитала, но только в свою собственную пользу. Они не хотели нового раунда перераспределения материальных и социальных благ – например, возвращения собственности кулакам.

Глава 11

Другие комментарии

11.1. Требования социального обеспечения

Среди статей конституции, вызвавших интерес и озабоченность населения, лидировали статьи о социальном обеспечении. Глава X «Основные права и обязанности граждан», которая получила 53 процента всех замечаний в ходе обсуждения (23 428 из 43 427 комментариев), провозглашала:

Статья 118. Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы... 119. Граждане СССР имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства *рабочих* до 7 часов, установлением ежегодных отпусков *рабочим и служащим* с сохранением заработной платы, предоставлением... широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов. 120. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также – в случае болезни и потери трудоспособности. Это право обеспечивается широким развитием социального страхования *рабочих и служащих* за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов. 121. Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается всеобщезобязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, системой государственных стипендий... (курсив мой. – О. В.).

Распространение социальных льгот на всех рабочих и служащих, отмена прежних ограничений (см. ниже) реально явилось большим достижением социализма и продемонстрировало веру руководства в ожидаемую социальную гармонию. Статьи 120 и 119 о праве на пенсию и праве на отпуск получили соответственно 4966 и 4060

комментариев. Обе статьи получили 31,9 процента предложений в Ленинграде, 21,9 процента в Смоленске и 6,5 процента в Горьковском крае^[609]. Причиной такого всплеска комментариев стало бросающееся в глаза исключение крестьян из системы государственных социальных пособий. Государственное пенсионное обеспечение, оплачиваемый отпуск, медицинское обслуживание, пособия по беременности и родам, выходные дни по-прежнему предоставлялись только горожанам, что приводило в ярость ущемленных сельских жителей, которые составляли две трети населения страны. Престарелые и больные колхозники могли рассчитывать только на поддержку за счет скудных общественных фондов колхозов.

История советского социального обеспечения заслуживает дальнейшего изучения^[610]. Теоретически, социалистический проект, в понимании лидеров, включал в себя предоставление государством социальных льгот населению. Хотя исторически первые попытки организовать государственную социальную защиту в различных формах предпринимались в Великобритании и Германии, принцип социальной поддержки был начертан на всех знаменах первого социалистического государства. После захвата власти большевики издали указы о всеобщем социальном страховании (по безработице, болезни, о бесплатной медицинской помощи) для всех наемных работников и сельской бедноты, но недостаток средств не позволил ввести эти льготы всем и сразу. С введением новой экономической политики скудные социальные пособия были зарезервированы только для промышленных рабочих^[611]. Этот привилегированный класс рабочих получал более высокие продовольственные пайки, приоритет в обеспечении жильем, субсидируемую жилплощадь и бесплатную медицинскую помощь. В 1929 году промышленные рабочие стали первой группой, получившей пенсию по старости, которая была выплачена 70 тысячам человек, проработавших 25 лет – женщинам в возрасте старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет. До этого лишь инвалиды могли претендовать на мизерную пенсию^[612]. В 1930-х годах число городских жителей, имеющих право на страхование, увеличилось с 10,8 миллиона человек в 1928 году до 25,6 миллиона человек в 1936 году и 31,2 миллиона человек в 1940 году. Скудные государственные ресурсы распределялись по классовому принципу приоритетности промышленных рабочих. С переходом социального

страхования от Комиссариата труда во Всесоюзный совет профсоюзов во время реформ 1931 и 1933 годов пособия рабочим стали включать оплату отпуска по беременности и родам, санатории, стипендии студентам и пособия на погребение. Однако, как заключила Кароли, эти реформы превратили систему социального обеспечения в своего рода привилегию, предназначенную для наиболее продуктивных рабочих^[613].



Выходной день в колхозе. Чапаевск. Украина. 1930-е годы. Библиотека Конгресса США / Library of Congress, Prints and Photographs Division, [reproduction number:LC-USW33-024220-C]

Классовые и политические подходы определяли социальную политику в отношении инвалидов. В этой группе социальные льготы также стали политическим инструментом дискриминации в отношении социально чуждых. Журнал «Социалистическое страхование» писал в 1929 году: «Закон о социальном обеспечении должен быть инструментом рабочего класса; он должен служить интересам пролетариата и быть направлен против наших врагов».

Постановление от 25 ноября 1929 года положило начало исключению социально чуждых инвалидов из некоторых льгот. Вакансии, зарезервированные для лиц с ограниченными возможностями, дискриминировали «бывших» людей^[614].

За фасадом социального государства миллионы инвалидов-ветеранов Первой мировой и Гражданской войн жили в тяжелейших условиях. Постановлением правительства от 16 ноября 1918 года им предоставлялась лишь небольшая поддержка – 15 рублей в месяц в 1924 году^[615]. Инвалиды царской армии были исключены из социальной системы, так как Первая мировая война считалась империалистической^[616]. В середине 1920-х годов из 634 тысяч раненых и инвалидов-ветеранов лишь 145 тысяч были охвачены социальным обеспечением, из них 21 тысяч проживали в интернатах и 105 тысяч получали пенсию в 1927 году значительно ниже прожиточного минимума. Остальные были брошены на произвол судьбы. В Манифесте 1927 года было объявлено об удвоении социального обеспечения инвалидов войны. Государственная поддержка этой группы, однако, была настолько невелика, что даже двукратный рост (если он был достигнут) был незначительным жестом. Не были выполнены положения закона 1927 года о повышении пенсий до 40 процентов от минимальной заработной платы. Незначительные привилегии для семей военнослужащих Красной армии, такие как налоговые льготы, то и дело не выполнялись на местном уровне.

Как сообщал правительству в 1927 году народный комиссар социального обеспечения И. А. Наговицын, общий объем фондов социального обеспечения в Российской Федерации составлял лишь 0,67 процента всего бюджета, во Франции – 11,5 процента, в Германии – 37,7 процента, в Англии – 8,64 процента. В это время на поддержку ветеранов тратилось в общей сложности 45 198 тысяч рублей, а Российская империя в 1913 году – до катастрофических мировой и гражданской войн – тратила более 40 миллионов рублей^[617].

Статьи 119 и 120 Конституции предусматривали отпуск и пенсии для рабочих и служащих, но оставили остальные две трети населения в неопределенности. Попытки государства переложить ответственность за социальное обеспечение на такие общественные организации, как сельские комитеты взаимопомощи (подобно тому, как

помощь голодающим в 1921–1922 годах правительство переложило на сельскую общину), были не более чем демагогическими, поскольку у последних не было достаточных ресурсов. Принятый в феврале 1935 года Колхозный устав возлагал на колхозные фонды обязанность по уходу за больными, престарелыми и инвалидами крестьян: «Создать, по решению общего собрания, фонды помощи инвалидам, старикам, временно потерявшим трудоспособность, нуждающимся семьям красноармейцев, на содержание детских яслей и сирот – все это в размере не свыше 2 % валовой продукции»^[618]. Когда в феврале 1935 года на II съезде колхозников-ударников обсуждался декретный отпуск, Сталин лично вмешался и предложил два месяца отпуска с половиной заработка женщины. (Опять же, из колхозных мизерных фондов.)

Проблема заключалась в том, что в условиях неэффективности колхозной системы большинство колхозов не могли выделить достаточно средств на эти цели. Особенно летом и осенью 1936 года, в условиях сильной засухи, не только престарелым колхозникам, но и работающим членам колхоза угрожал голод. Председатель Ломоносовского колхоза Северного края Моргун хорошо знал о нехватке местных фондов (см. главу 8) и в своих рекомендациях по конституции сформулировал типичное требование: обеспечить колхозников «централизованными» ресурсами, то есть государственными пособиями^[619]. Поскольку колхозники не видели достаточной поддержки со стороны колхозов или комитетов взаимопомощи^[620], они редко упоминали их в дискуссии. Тем не менее, «Правда» печатала похвалы крестьян: «Статья о поддержке стариков и больных радует меня, как пожилого человека». Эти фальшивые публикации могли только сбить читателей с толку и свидетельствовали о весьма незначительной конкретной поддержке, полученной колхозниками: «Когда я вступил в колхоз, однажды я поранился и не мог работать целый месяц. Так колхоз позаботился обо мне, обеспечил питанием и привез врача»^[621].

Откликаясь на настоятельные требования о равном обеспечении жителей деревень и горожан за счет государства, «Правда» публиковала тщательно отредактированные выступления крестьян. 3 июля газета напечатала речь председателя Шапкинского сельского совета Богородицкого района Горьковского края Екатерины

Митряхиной на местном собрании сельских активистов, организованном партийным комитетом. Основные пункты ее выступления соответствовали тысячам аналогичных требований, например, о предоставлении оплачиваемых отпусков «колхозникам, которые работают круглый год без отдыха», но с лукавым добавлением «за счет колхозных средств», вероятно, внесенным редактором:

Вторая рекомендация, продолжала она, касается статьи 120, которая гласит, что граждане СССР имеют право на поддержку в старости и болезни. ...Здесь говорится «граждане СССР», а не только рабочие и служащие, соответственно, колхозники тоже имеют [право]. Для этого нужно добавить несколько слов о широко развивающихся колхозных фондах взаимопомощи и фондах для инвалидов. Без этого иностранные крестьяне не увидят, что Конституция заботится о больных и инвалидах-колхозниках^[622].

Эта фраза о развитии колхозных фондов была скрытой просьбой о государственных вливаниях. На практике именно председатель сельсовета отвечал за аккумуляцию этих средств за счет отчислений членов колхоза.

Пропагандистам, в обязанности которых входило читать лекции и разъяснять конституцию, было трудно увязать фиктивные декларации с народными требованиями и жалобами крестьян. По свидетельству учителя-пропагандиста, колхозники часто спрашивали его:

«Вы говорите, что Конституция дает [народу] право на труд и отдых. А как насчет нас? Мы не отдыхаем, мы работаем каждый день. Никто не заботится о нас». Что я мог им сказать? Я мог только сказать: «Такова природа ваших занятий». Я больше ничего не мог им сказать. Или, например, пожилой инвалид спрашивал: «Какую пенсию они мне дадут, если у меня сломаны ноги?» Если я скажу что-то еще, кто-нибудь может донести на меня. Это были очень хорошие вопросы, но я не имел права отвечать [правдиво]^[623].

Многие требовали предоставления пенсий сиротам, ветеранам и другим малообеспеченным слоям населения. Нарком социального обеспечения населения РСФСР И. А. Наговицын поддержал эти массовые требования 2 октября 1936 года:

Считаю необходимым развить вторую часть 120 статьи Конституции, предусмотрев в ней, наряду с [государственным] обеспечением рабочих и служащих, также [государственное] обеспечение граждан, утративших трудоспособность при защите своей социалистической родины, кроме того [общественное обеспечение] колхозников, кооперированных кустарей и кооперированных инвалидов^[624].

Его письмо было направлено в Центральный комитет партии и ЦИК, как и любые другие внешние жалобы, что позволяет предположить, что комиссар, по-видимому, не имел внутренних рабочих каналов или возможности довести свое мнение до сведения правительства, например, устно. Комиссар по вопросам социального обеспечения, вероятно, был исключен из правительственного обсуждения конституции, что наводит на мысль о том, что его комиссариат был проигнорирован.

Вопиющее неравенство рабочих и крестьян, в противовес социалистической риторике равенства и братства, привело к тому, что в середине 1920-х годов, как показывают многочисленные жалобы крестьян, возникла серьезная социальная напряженность между городом и селом. Этот конфликт возник в результате продовольственной разверстки периода военного коммунизма и затем был усугублен чрезмерным налогообложением деревни, массовой миграцией сельского населения в города и безработицей в 1920-х годах. Нарратив неравенства стал популярным в 1920-х годах, когда крестьяне почувствовали себя обманутыми большевиками, которые ущемляли их политические и экономические интересы, несмотря на вклад и жертвы крестьянства в Гражданской войне. Их недовольство достигло кульминации в 1927 году с опубликованием Манифеста ЦИК в честь 10-летия революции. Последовал взрыв протестов и недовольства у крестьян, ущемленных тем, что манифест предоставил рабочим много привилегий, как они полагали, за их счет^[625].

Символической подачкой крестьянству стало обещание манифеста начать обсуждение закона о государственной социальной помощи пожилым людям старше 60 лет в бедных домохозяйствах. Эти обещания зависели от возможностей государственного бюджета и выполнялись постепенно почти 40 лет^[626].

Ущемление интересов крестьян и исключение их из системы социального обеспечения привело к тому, что они стремились найти орган по защите и отстаиванию своих интересов перед государством. Требования Крестьянского союза – некой политической партии или профсоюза – набирали силу на протяжении 1920-х годов вплоть до коллективизации и раскулачивания. Попытки организации местных крестьянских союзов предпринимались сельскими жителями, интеллигенцией и студентами в 1923–1928 годах, но под надзором и репрессиями ОГПУ это движение существовало в основном как дискурс. Насколько глубоко идея Крестьянского союза укоренилась в пробужденном крестьянском сознании, свидетельствует возрождение этой идеи в ходе обсуждения конституции: «Дать право всему колхозному и единоличному крестьянству организовать непосредственный Крестьянский союз при каждом сельсовете»^[627]. В то время как конституция удовлетворила десятилетнее политическое требование крестьян о равном избирательном праве и представительстве в правительстве, проблема материального и политического неравенства города и деревни оставалась жгучей, особенно в праве на передвижение. Дискуссия 1936 года все еще была сосредоточена на проблеме неравенства между рабочими и крестьянами. Вдова К. Ф. Шестакова из Свердловской области жаловалась на чрезмерное налогообложение и нищету. Двое ее сыновей не получали молока от своей коровы, потому что она отдавала все молоко государству в качестве обязательных поставок:

Почему у нас в СССР получилось, что два класса – один освобожденный, а другой угнетенный? От нас государство покупает все дешево, а нам продает все дорого... Мы все трудящиеся, как рабочие и служащие и колхозники – колхозник тоже человек, ему требуется также хорошее питание... а не так – своих детей оставлять голодными, а молоко сдавать, продавать

государству... Колхозница-вдова, полуголодная, пишу и слезами умываюсь^[628].

В 1936 году при обсуждении сталинской конституции наибольшую часть всех комментариев составляли требования социальных пособий для колхозников, наряду с санаторным лечением, семичасовым рабочим днем и оплачиваемым отпуском. Колхозники получили право на получение пенсий только в 1964 году. Не только скудость государственных резервов и военные приоритеты их распределения, но и сознательная дискриминационная политика привели к тому, что статьи конституции о системе социального обеспечения по-прежнему носили классовый и неравноправный (в отношении крестьян) характер в отличие от статей о всеобщих избирательных правах. Крестьяне чувствовали расхождение и воспользовались моментом дискуссии для переговоров и протеста.

Анализируя лексикон комментариев о социальном обеспечении, можно выделить два основных дискурса – гражданский и патриархальный. В потоке требований социальных льгот крестьяне использовали терминологию гражданских прав и социального равенства граждан – свидетельство растущей гражданской культуры. «Мы, колхозники, [должны] пользоваться не меньшими правами, чем городские рабочие»^[629]. Они употребляли социалистическую риторику равенства, сравнивая свой статус граждан второго сорта с привилегиями рабочих – тема, которая продолжалась с 1920-х годов, когда нарратив перерос в социальный конфликт или «антирабочие» настроения, как их определяли чекисты. Идея Крестьянского союза для защиты своих экономических и политических прав, озвученная наиболее предприимчивыми жителями деревень и поддержанная и середниками, и беднотой, явилась важным признаком политической зрелости. Политический язык широко использовался для того, чтобы поставить под сомнение социалистический и справедливый характер режима, оставаясь, таким образом, в рамках политического дискурса.

Однако многие требования социального обеспечения были лишены политической окраски и сосредоточены на повседневных лишениях. Они могли быть озвучены участниками, которых Сидни Верба и Норман Ни называли выразителями «приходских» или патриархальных настроений: как правило аполитичные, они охотно

связываются с должностными лицами по поводу своих конкретных, зачастую личных, проблем. Когда крестьяне массово требовали социальных льгот, которыми, по их мнению, пользовались рабочие, двигателем могли быть страдания и лишения или просто зависть к более привилегированному классу. Конечно, чувство несправедливости у крестьян вызывали тяжелые условия жизни в сельской местности. Помимо объективного экономического неравенства, на требования крестьян социальных гарантий оказывали влияние психологические факторы: старый антагонизм между городом и селом, социальная зависть. Кроме того, как отметила Фицпатрик, эти требования повторяли модель вековых патриархальных отношений дворянства и крепостных крестьян. Сельчане экстраполировали старую модель отношений клиент-патрон, типичную для крепостного права на советское государство, считая естественным, что «государство несет перед ними материальные обязательства»^[630].

Все эти факторы в совокупности способствовали необыкновенной популярности статей конституции о социальных пособиях. Несмотря на это, Сталин отверг их в своем заключительном докладе как не относящиеся к конституции, а скорее к текущей юридической практике. Статьи остались без изменений, требования крестьян игнорировались. Референдум не был обязывающим для организаторов; они выбирали то, что считали нужным принять в качестве поправок.

11.2. Недоверие

Предыдущие главы уже показали, что скептицизм и недоверие сопровождали почти каждую тему народного дискурса – разговоры о демократических выборах, религиозной свободе, свободе слова и другие темы. Какая бы статья конституции не обсуждалась, недоверие было главной темой, отражая массовый пессимизм в отношении улучшения жизни и заявлений властей.

Для нас не будет никакого улучшения. Свободы существуют только на бумаге;

Нет смысла обсуждать конституцию и предлагать поправки. В любом случае, они не сделают это по-нашему. Правительство работает в своих собственных интересах;

Свобода слова существует только на бумаге. Это ловушка: если вы скажете что-то неуместное, вас арестуют^[631].

Всеобщее социальное недоверие было характерно для советского общества в 1920–1930-х годах. Оно явилось результатом невыполненных политических обещаний, социальной травмы гражданской войны, резких колебаний государственной политики, отсутствия безопасности и расхождений между официальными декларациями и советской реальностью. Как это сочеталось с этатистской тенденцией в политической культуре и культом лидера? «Культура недоверия» не исключает «культуру доверия», как показал А. Тихомиров^[632]. Отношения между этими позициями были сложными. Легковерные полагались на государство, в то время как критически мыслящие граждане отказывались принимать новые обещания. Доверие к вождю сопровождалось недоверием к институтам власти. Социологические данные демонстрируют, что и в современном российском обществе сохраняется высокий уровень недоверия: россияне меньше всего доверяют политическим партиям, судебной системе, полиции, профсоюзам, Государственной Думе, прессе – основным институтам демократического общества – и больше всего доверяют президенту, правительству, губернаторам, ФСБ и

вооруженным силам — столпам централизованного режима и авторитаризма^[633].

Как свидетельствуют личные письма, политическое недоверие советских мечтателей прозвучало уже вскоре после революции и продолжало накапливаться к 1927 году. Серьезный кризис веры получил открытое выражение, когда в стране отмечалась 10-я годовщина Октябрьской революции. Отвергая официальные утверждения о достижениях социализма в СССР, значительная часть городского и сельского населения отрицала социализм как реальность или достижимую цель и открыто отказывалась защищать эти сомнительные достижения в случае войны. В 1927 году разочарование и недоверие стали главными темами общественного дискурса. Мобилизационная кампания, продвигавшая историю успеха, оказалась тогда безуспешной, поскольку большевики не смогли заручиться поддержкой населения в трансформации страны и создании новой советской идентичности^[634]. Крестовый поход за индустриализацию породил новые надежды, в основном среди молодежи и горожан, но коллективизация и голод вновь разрушили их, особенно в сельской местности. Основной причиной растущего социального недоверия стали провалившиеся обещания социалистического рая после революции и процветания после первого пятилетнего плана. «Социалистическое наступление» повлекло за собой смерть и голод в сельской местности, а в городах снижение реальной заработной платы, ухудшение условий труда и жилья и нормирование продуктов. Недоверие было оборотной стороной мобилизационных кампаний с циклами искусственного энтузиазма и неизбежного разочарования.

Листовка, найденная в Рубежанском химико-технологическом институте Донецкой области в 1935 году, обличала повседневные лишения студентов и рабочих и невыполненные обещания пятилетнего плана: «Улучшились ли экономические условия рабочего класса?» Таблица в листовке сравнивала цены и заработную плату 1930 и 1935 годов: цены на основные товары выросли на 400–2500 процентов, но средняя заработная плата выросла лишь на 300 процентов^[635]. «Что мы получили?» — это был общий нарратив листовок, определяемых чекистами как «антисоветские» в межвоенный период, особенно многочисленных во время празднования в 1927 году годовщины Октябрьской революции. Другая подпольная листовка из Западной

области РСФСР, написанная в 1939 году «Национальным рабочим союзом», повторила этот вопрос и отвечала:

Огромная ложь, лживые обещания, ужас и безысходная жизнь... Мы получили хорошую конституцию, но как она была реализована на практике? Все это осталось на бумаге, и мы были обмануты самым неслыханным образом. Где были тайные выборы? Кто был избран членами Верховного Совета? Ваньки-Встаньки, но не наши представители. Их назначают пособники Сталина. Мы не должны верить ни одному из их обещаний. Мы должны вновь бороться за свободу^[636].



Депутаты Верховного Совета в Кремле. Москва, 1937–1938 гг. Библиотека Конгресса США / Library of Congress, Prints and Photographs Division, [reproduction number: LC-USW33-024258-C]

Другой причиной недоверия были зигзаги государственной политики, особенно характерные для сталинизма. Такие события, как введение и отмена НЭПа, Большой террор 1937–1938 годов сразу после обещаний конституции, репрессии против НКВД в 1939 году, Германо-советский пакт о ненападении 1939 года, объявление и отмена заговора врачей в 1952–1953 году и осуждение сталинского культа в 1956 году, вызывали волны замешательства и разочарования среди членов партии и истинно верующих, которые следовали извилистой

официальной линии. К числу этих внезапных изменений курса относился демократический характер конституции, отменяющей прежнюю конфронтационную политику. Инерционность, характерная для массового сознания, приводила к недовольству резкими изменениями в политике: например, риторика мировой революции сохранялась в народном дискурсе еще долго после того, как она иссякла в официальном дискурсе после 1925 года^[637]. Многие авторы, такие как Достоевский, Фромм, Эткинд и Коткин, показали, что участие в государственном мифе и слияние с властью – добровольное и благодарное – обеспечивает маленькому человеку ощущение безопасности и комфорта, которые при определенных обстоятельствах помогают ему превратиться в тоталитарную личность. «Даже когда власть имущие сами отвергают его [государственный миф], носитель мифологии, подобно наркозависимым... придерживается своих привычных представлений о мире»^[638]. Неожиданные сдвиги в политическом курсе вызывали замешательство и «подрывали доверие к государству как производителю идеологического дискурса»^[639].

В то время как внезапное введение демократии озадачило истинно верующих сталинистов и бенефициаров диктатуры, на следующем витке надежды, связанные с конституцией, были еще раз сокрушены, когда Большой террор обрушился на страну. По мере уничтожения политической и культурной элиты граждане постоянно высказывали недоверие к руководству партии. В 1937 году газеты почти ежедневно объявляли об арестах на самом верху, что подрывало доверие:

Теперь я не доверяю ни одному члену Центрального Комитета.
Сегодня Гамарник застрелился, а завтра Калинина арестуют;

Трудно доверять Политбюро, когда ведущие фигуры Красной
Армии оказались шпионами;

Мы должны распустить весь ЦК и избрать новое
правительство^[640].

В конце концов Сталину пришлось уволить Ежова как козла отпущения, чтобы восстановить ту легитимность, которая была серьезно подорвана репрессиями^[641]. Военный атташе американского посольства сообщал в донесении от 25 января 1938 года об огромном ущербе легитимности режима и единству партии, нанесенном

репрессиями и массовыми исключениями из партии^[642]. Реакция населения на чистки элиты отражала хрупкость «принудительного доверия» и легитимности режима.

Дезориентация и страх в обществе нашли свое отражение в падении общего боевого духа Красной армии во второй половине 1930-х годов, по мере того как количество призывников быстро выросло – до 5,5 миллиона человек к середине 1941 года. О проявлениях пораженчества и недоверия сообщали политические работники. Чистки в армии в 1937 году и арест маршалов Тухачевского и Якира вызвали сомнения красноармейцев в командирах. «Кому же тогда доверять? Откуда мне знать, когда командир отдаст приказ, хороший он или плохой», – спрашивали дезориентированные солдаты. Еще одной причиной, как заключил Марк фон Хаген, был постоянно увеличивающийся социальный разрыв между представителями высшего командного состава, которые пользовались определенными привилегиями, и солдатами и младшими командирами. Чрезмерная секретность в Красной армии усугубляла замешательство. Все это привело к снижению дисциплины и увеличению числа чрезвычайных происшествий – до 400 тысяч за четыре месяца 1937 года, в том числе самоубийств. Наряду с пораженческими настроениями и недоверием к командирам политработники сообщали о проявлениях патриотизма, с его шовинистическим подтекстом и обычным принижением силы противника^[643].

Наряду с вертикальным недоверием в отношениях между обществом и правителями, горизонтальное недоверие снижало сплоченность общества внутри.

Люди перестают совсем доверять друг другу, работают и больше не шепчутся даже. Огромная «низовая» масса людей, поднятая теперь наверх, такого рода, что ей шептаться не о чем: ей все это: «так и надо». Другие за шопот идут в уединение, в науку молчания. Третьи научились молчать, —

записал Пришвин в дневнике^[644]. Член партии Ю. А. Зарецкий в Ленинграде, опасаясь партийной чистки, покончил жизнь самоубийством в 1935 году: «Для меня ситуация недоверия становилась такой, что я уже не мог даже представить себе жизни и

работы», – писал он в своем предсмертном письме^[645]. Мобилизации, с их лозунгами и обещаниями, пробуждали у легковверных людей новые циклы неоправданных ожиданий, что само по себе приводило к разочарованию, особенно у взрослого поколения, пережившего НЭП и его свертывание, обещания пятилетки и последующий голод. Здесь мы видим корни цинизма, который характеризовал поколение 1970-х годов, названное Александром Зиновьевым *Homo sovieticus*, окончательно размывшим советскую систему изнутри. Как показали интервью, именно несоответствие между официальными декларациями и советскими реалиями мотивировали новых российских демократов для противостояния советской политической системе в 1980-х годах^[646].

Теоретизируя «исследования доверия», Алексей Тихомиров указывает, что доверие является основой общественных отношений модерна, обычно ассоциируемых с демократическими западными странами. Напротив, недоверие является характерной чертой недемократических режимов и основным препятствием на пути развития демократии. Недоверие препятствует развитию взаимозависимости в обществе в целом и, как следствие, – формированию публичной сферы и гражданского общества. Доверие к другим людям является важной составляющей гражданской культуры^[647]. Отношения доверия/недоверия – это двусторонняя коммуникация с участием как правительства, так и общества. В случае с Советской Россией было логично, что большевистская партия, захватив власть в результате переворота и ввергнув страну в гражданскую войну, испытывала недоверие и страх перед населением. Партия классовой борьбы вела себя как захватчик на оккупированной территории и как колонизатор в советской деревне. Как мы видим, население – по крайней мере значительная его часть – отвечало той же подозрительностью. Недоверие разрушительно и, по мнению социологов, приводит к параличу человеческой активности в социальных отношениях, эрозии социального капитала, мобилизации оборонительных установок, враждебных стереотипов и слухов, отказу от индивидуализма в поиске альтернативных идентичностей^[648]. Недостаток доверия к неэффективным политическим институтам породил компенсирующую практику, когда люди, стремясь к безопасности и стабильности, полагались на персонализированные

клиентелистские сетевые структуры или сотрудничество на низовом уровне, традиционно сильное в России. Тихомиров заключил: «Недоверие стало культурной средой формирования коммунистической современности»^[649].

Недоверие продолжало накапливаться в общественном сознании во время обсуждения конституции, затем вновь после выборов 1937 года, которые оказались фикцией, а затем и во время репрессий^[650]. Дневники и особенно интервью с советскими беженцами после войны повторяют тему недоверия и разочарования в конституции.

Конституцию 1936 года ждали с большим нетерпением. Многие считали, что пришло время перейти к реальному социализму. Все люди были за это. Но в конце концов, конституция оказалась еще одной красивой бумажкой, которая так и не была реализована. Ничего не изменилось, и люди были сильно разочарованы^[651].

Однако политическое участие в обсуждении показало по крайней мере временный успех попыток режима обрести легитимность. Советские энтузиасты праздновали конституцию. Для тех, кто колебался, демократический характер конституции пробудил их надежды. Как выразился один рабочий: «Я был в основном скептически настроен, но все же я чувствовал, что, возможно, что-то изменится. Однако следует сказать, что мои надежды были слабыми»^[652]. Любовь Шапорина, всегда скептически и критически настроенная, отнеслась с любопытством к новым правилам голосования и принимала участие в выборах с интересом.

Значительная часть общества, особенно те, кто находился в относительно привилегированном положении – молодые рабочие в крупных городах, – охотно приняли принципы конституции на веру. Если в достижения социализма верила какая-либо группа кроме аппаратчиков, то это была молодежь. Ленинградский рабочий М. Герасимов в 1941 году добровольно вступил в народное ополчение. В ночь с 15 на 16 июля 1941 года он написал письмо под названием «Обращение к трудящимся всего мира» и в 6 часов утра передал его политическому комиссару для публикации во фронтовой газете. В обращении он призвал зарубежных трудящихся присоединиться к

советским рабочим в их борьбе против фашизма. Он гордился правами советских рабочих: «У нас система, в которой нет различий между национальностями... все имеют полные права, кто за ликвидацию эксплуататоров». Все имеют право на труд, отдых, образование и гарантию справедливости и благосостояния. «Такова наша конституция». Принадлежа к привилегированной группе молодых рабочих, он пользовался благами социализма, не подозревая о цене, заплаченной крестьянами, «бывшими» людьми и репрессированными. Он не видел противоречия между своим ограниченным миром и конституцией. Хотя его обращение было встречено начальством с сочувствием, политический комиссар не опубликовал письмо, по-видимому, поскольку призывы к международной революции противоречили новым отношениям с европейскими странами, от которых зависела военная помощь^[653]. Это письмо, написанное во фронтовых окопах, звучит искренне в выражениях патриотизма и пролетарского интернационализма и соответствовало чувствам тысяч молодых ополченцев^[654].

Другой молодой человек, потеряв старшего брата и отца во время репрессий 1927 и 1929 годов, а также свою работу как «социально чуждый», обвинял коммунистов в своих несчастьях и в массовой трагедии коллективизации. Но позже он стал инженером-экономистом с хорошей зарплатой и женился. Конституция 1936 года стала одним из факторов, способствовавших его примирению с режимом; он считал, что она знаменует собой начало новой эры. Он даже подумывал о вступлении в партию. Затем последовал страшный удар – 13 марта 1937 года (респондент сказал, что будет помнить эту дату до конца жизни) его тесть, коммунист, который был для него как отец, был арестован. Это событие вновь изменило его настроения.

Свидетельства недоверия многочисленны. Во время выборов в Верховный Совет в декабре 1937 года почти все государственные автомобили в Москве были реквизированы с целью доставки пожилых и больных на избирательные участки. В каждом автомобиле команда из двух молодых, образованных и чрезвычайно вежливых членов избирательных комиссий сопровождала пожилых людей и инвалидов на избирательные участки и возвращала их домой на автомобиле. Обходительность этих молодых людей казалась чрезмерной. Пожилые, неграмотные люди встретили такое неслыханное внимание и заботу с

величайшим подозрением и даже ужасом, приняв молодых комиссаров за работников НКВД. Государственные автомобили, которые прозвали «черными воронами», ассоциировались в массовом сознании с НКВД и ночными арестами^[655], поэтому люди думали, что их везут не на избирательные участки, а в застенки НКВД. Когда же после голосования не происходило ничего страшного, подозрения сменялись удивлением и истерической радостью. Запуганные люди не верили и боялись необычайно вежливых чиновников в государственных машинах^[656]. Они помнили прецеденты: это было обычной практикой ОГПУ во времена НЭПа и в последующие годы – выжимать ценности из богачей в пользу государства, применяя пытку жарой в небольшой переполненной камере (прозванной народом «парилкой»). Жертвы сообщали, что «сотрудники ОГПУ были очень вежливы. Благодарили их самым любезным образом», когда потерпевшие затем доставляли ценности ОГПУ^[657].

В долгосрочной перспективе невыполненные обещания подрывали легитимность режима, по крайней мере в глазах взрослого поколения, которое пережило череду надежд и разочарований. В то время как многие граждане полагались на государство, более критически настроенные склонялись к скептицизму и цинизму.

Глава 12

Итоги всенародной дискуссии: от политической умеренности к репрессиям

В ноябре ЦИК обобщил популярные предложения и направил их результаты в Редакционную комиссию. 43 тысячи комментариев, собранные ЦИК, многочисленные сообщения, направленные партийным лидерам газетами, местными органами и НКВД – как эти материалы были прочитаны и использованы руководством?

Если руководители СССР и были заинтересованы в предложениях трудящихся, то они не собирались следовать им. Подробный анализ итогов обсуждения не был обнародован. Помимо доклада Сталина на VIII съезде, основные направления полученных предложений были представлены только в одном обзоре, опубликованном в «Известиях» секретарем ЦИК и бывшим генеральным прокурором СССР И. А. Акуловым. Прочитав его статью, британские аналитики пришли к заключению: «Акулов уверяет, что большая часть общественного мнения не желает принимать такую „либеральную“ конституцию и предпочитает видеть отеческую заботу правительства, наделенного более эффективными полномочиями по подавлению опасных мыслей»^[658]. Акулов представил массив комментариев с необходимыми подробностями, но почти без количественной оценки. Он признал, что глава, посвященная правам и обязанностям граждан, вызвала больший интерес, чем любая другая, получив 23 тысяч из 43 тысяч замечаний. Он не удосужился объяснить реальные причины беспокойства участников дискуссии о правах, а именно отсутствие крестьян в системе социального обеспечения и пособий, но заявил: «Конституция должна ограничиваться фундаментальными принципами, детали же должны быть разработаны специальными законодательными мерами». Эта же уловка была использована Сталиным в его заключительной речи на VIII съезде. Это было расплывчатое обещание, предсказуемо неосуществленное. В обзоре Акулова с неожиданной открытостью были обозначены основные темы дискуссии: голоса за расширение понятия «враг народа», обеспокоенность публики по поводу использования конституционных

свобод врагами, права каждой республики на свободное отделение от СССР и, наконец, неприятие населением наделения правом голоса «бывших» людей.

Почему в атмосфере идеологической бдительности тех дней в статье была так ясно представлена сильная нелиберальная тенденция в обществе против основного идеала конституции – демократии? Вряд ли целью было объективное освещение общественного мнения, хотя в некоторых выводах статья отвечает моим находкам. Автор представлял результаты дискуссии определенным образом, формуя контент, наделяя его смыслом, влияя на восприятие представленной информации аудиторией. Может быть, причиной открытости Акулова было подчеркивание общественной поддержки нелиберальной реальности? Или Акулов хотел донести предупреждение о врагах и инакомыслии до главного читателя – Сталина? Эллен Вимберг^[659] считает, что личная позиция главного редактора газеты «Известия» Н. Бухарина отличала его газету в освещении дискуссии. Однако, по свидетельству А. М. Лариной-Бухариной, он номера своей газеты не подписывал с августа 1936 года^[660]. Обзор Акулова, хотя и не содержит количественной оценки соответствующих комментариев, но более точно отражает собранные данные, чем отчет Сталина перед съездом.

Народная дискуссия не предполагала голосования. Лишь небольшое число конституционных поправок, затрагивающих относительно незначительные аспекты, были приняты во внимание лидерами, которые просто делали вид, что мнения населения были учтены. 25 ноября И. В. Сталин рассмотрел отдельные предложения в своем докладе и высказал свое мнение по поводу всенародного обсуждения. Он объявил, что все предложения были опубликованы в прессе, хотя большая часть материалов была похоронена в архивах. Сталин избегал какой-либо оценки популярности статей. Самый острый вопрос народной дискуссии – вопрос социальных гарантий для крестьянства – был оставлен диктатором в стороне и отклонен как предмет рассмотрения будущими законодательными органами, а не конституцией. Эти самые многочисленные требования не были выполнены.

Уловкой в обход народных комментариев было искусственное разделение Сталиным предложений на три категории: касающиеся

«вопросов действующего законодательства» и потому неуместные в конституции; исторические ссылки, излишние для основного закона; и наконец, существенные вопросы, заслуживающие обсуждения. Докладчик одобрил комментарии к преимущественно процедурным статьям, не самым привлекательным для общественности, например, о формировании Наркомата оборонной промышленности^[661]. Сталин упомянул очень популярные предложения о запрете религиозных обрядов и избирательных прав для «бывших» граждан (статьи 124 и 135). Без рассуждений и аргументов он рекомендовал отклонить эти поправки «как противоречащие духу нашей конституции» и «подкрепил» отклонение цитатой из Ленина.

На заседании съезда 5 декабря Сталин сообщил, что 43 поправки внесены в окончательный текст конституции, изменены 32 статьи, остальные 114 статей остались без изменений. Сталин счел целесообразным объяснить съезду только семь принятых поправок к статьям 8, 10, 35, 40, 48, 49 и 77 (все обсуждали политически безопасные темы). Новая конституция была принята съездом единогласно поднятием рук. Заключительное заявление – «общенациональная дискуссия была чрезвычайно полезной в разработке и окончательном редактировании конституции»^[662] – было очевидным преувеличением. Вовсе не учет народного мнения был задачей дискуссии. Столь небольшое количество принятых предложений резко контрастировало с той пропагандистской бурей, которая будоражила прессу и всю страну в течение пяти месяцев. Гора родила мышь.

Что бы там ни говорил vox populi, это не повлияло на окончательную версию конституции. Комментарии к главе X «Основные гражданские права и обязанности», которые насчитывали 53,7 процента всех замечаний, не были учтены, и предложения к самым популярным статьям – 120 о пенсиях и 135 о всеобщем праве голоса – были отклонены Сталиным. Смысл дискуссии состоял в самом процессе – скоординированном упражнении в политической интеграции, а не в обещанной адаптации конституции к требованиям народа. Задачей устроителей было формирование культурного дискурса, а не удовлетворение запросов общественности.

Таблицы, составленные ЦИК для внутреннего пользования, суммируют типичные комментарии, но не раскрывают, «за» они или

«против».

Таблица 1. Распределение статей по количеству поступивших предложений

№ и название статьи	Количество предложений
120. Матер[иальное] обесп[ечение] в старости и на случай утраты работоспособности	4966
135. Всеобщность выборов	4716
119. Право на отдых	4060
121. Право на образование	3400
127. Неприкосновенность личности	3218
132. Всеобщая воинская повинность	2416
109. Порядок избрания нарсудов	1551
142. Об отчетах и порядке отзыва депутатов	1048
8. О закреплении земли за колхозами навечно	1026
131. Об обязанности граждан беречь общественную социалистическую собственность	942
122. О подлинном равноправии женщины и мужчины	888
1. Определение Союза ССР	877
143. О государственном гербе Союза ССР	675
133. О защите отечества и измене родине	654
77. Перечень общесоюзных наркоматов	630
118. О праве на труд	581
12. Об обязанности трудиться и осуществлении принципа социализма «От каждого по его способностям, каждому — по его труду»	475
95. О сроке полномочий советов депутатов трудящихся	395
78. Перечень союзно-республиканских наркоматов	366
130. Об обязанности гражданина соблюдать Конституцию, законы и трудовую дисциплину	332
Прочие статьи	10 211
Итого	43 427

Таблица составлена ЦИК по данным на 15 ноября 1936. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 160.

Таблица 2. Распределение глав по количеству поступивших предложений

№ и название главы	Количество предложений	%
10. Основные права и обязанности граждан	23 098	53,0
11. Избирательная система	6369	14,2
1. Общественное устройство	3412	7,9
9. Суд и прокуратура	3210	7,9
5. Органы государственного управления СССР	1243	2,9
3. Высшие органы государственной власти СССР	1214	2,8
8. Местные органы государственной власти	953	2,2
12. Герб, флаг, столица	903	2,1
2. Государственное устройство	675	1,6
4. Высшие органы государственной власти союзных республик	145	0,3
13. Порядок изменения Конституции	70	0,16
6. Органы государственного управления союзных республик	39	0,09
7. Высшие органы государственной власти автономных советских социалистических республик	22	0,05
Не распределено по главам	2074	4,8
Итого	43 427	100

Таблица составлена ЦИК по данным на 15 ноября 1936. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 159. Проценты подсчитаны автором.

Тем не менее, участники обсуждения довели до сведения правительства свои мнения, и их голоса были услышаны, хотя Сталин фильтровал то, что читал и слышал, в соответствии со своими предпочтениями и представлениями. С большой долей вероятности мы можем быть уверены, что Сталин больше внимания уделял предупреждениям о врагах, чем похвалам конституции. И вот то, что услышал Сталин, по-видимому, отличалось от его представления о достигнутой гармонии. Оспаривая в докладе «буржуазную [зарубежную] критику конституции», Сталин фактически опровергал основные темы *отечественных* скептиков: недоверие к новым свободам, боязнь демократизации и размывания большевистских принципов – например, классовой борьбы. Теперь диктатор узнал, что, несмотря на ожидания, общество все еще расколото, что врагов множество, что недовольство велико, он также узнал, что многие не противились репрессивной государственной политике. Я полагаю, что это подтолкнуло Сталина пересмотреть свои взгляды на советизацию общества и изменить политику на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года.

Сталин получал достаточно информации об общественных настроениях от ЦИК, НКВД и других источников. В докладе заметны

его колебания между привязанностью к ожиданиям социальной гармонии и предупреждениями от населения о многочисленных врагах. Эти предупреждения постепенно проникали в его сознание:

Поправки к 135 статье... предлагают лишить избирательных прав служителей культа, бывших белогвардейцев, всех бывших людей и лиц, не занимающихся общепольным трудом, или же, во всяком случае – ограничить избирательные права лиц этой категории, дав им только право избирать, но не быть избранными. Я думаю, что эта поправка также должна быть отвергнута. Советская власть лишила избирательных прав нетрудовые и эксплуататорские элементы не на веки вечные, а временно, до известного периода. Было время, когда эти элементы вели открытую войну против народа и противодействовали советским законам. Советский закон о лишении их избирательного права был ответом... на это противодействие. С тех пор прошло немало времени. За истекший период мы добились того, что эксплуататорские классы уничтожены, а Советская власть превратилась в непобедимую силу. Не пришло ли время пересмотреть этот закон? Я думаю, что пришло время.

От своих ожиданий автор перешел к полученным предупреждениям.

Говорят, что это опасно, так как могут пролезть в верховные органы страны враждебные Советской власти элементы... Но чего тут собственно бояться? Волков бояться – в лес не ходить. (Веселое оживление в зале, бурные аплодисменты.)

Каков был ответ Сталина на эти предупреждения? «Во-первых, не все бывшие кулаки, белогвардейцы и попы враждебны Советской власти». Здесь Сталин держится своего тезиса о новых социальных условиях. Но затем он признает существование «враждебных лиц» и их угрозы: «Во-вторых, если народ кое-где и избирет враждебных людей, то это будет означать, что наша агитационная работа поставлена из рук вон плохо». Это уже была скрытая угроза плохим организаторам. «Если же наша агитационная работа будет идти по-большевистски, то народ не пропустит враждебных людей в свои верховные органы». Эта фраза могла быть прочитана чиновниками

только одним способом: «Не позволять враждебным элементам на выборах пройти во власть». Затем Сталин обратился к чиновникам: «Значит надо работать, а не хныкать» – зловещий сигнал чиновникам, сообщавшим о множественных врагах, блокировать доступ врагов к власти.

Ученые заметили это изменение в сознании Сталина. Гетти писал: «Долгое время Сталин минимизировал угрозу [антисоветских элементов] в деревне... Но к июлю 1937 года убедился в опасности, передумал и лично запустил массовый террор». Леонид Максименков проанализировал недавно рассекреченные «Журналы регистрации исходящих документов со сталинскими резолюциями». Он отметил изменение характера сталинских резолюций в середине 1936 года от вялых и нерешительных к энергичным и карательным. Хлевнюк заметил усиление путанности и косноязычия в сталинских резолюциях и даже «взрывы ярости» в 1937–1938 годах^[663].

Гетти в основном фокусируется на саботаже конституционных свобод региональными элитами, но сама враждебность народа, о которой они сообщали и которую Сталин постепенно осмысливал, побудила его распространить репрессии не только на элиты и чиновников, но и на простых людей – верующих, кулаков, и на национальные группы. В 1937–1938 годах 767 тысяч из 1344 923 человек были осуждены в ходе операции против антисоветских элементов, которая нацеливалась в основном на широкие массы^[664].

Легко представить, как Сталин мог отреагировать на предупреждения граждан и чекистов, представленных в сводках ЦИК и НКВД. Он регулярно получал от НКВД предостережения о врагах^[665]. Но он знал, что чекисты склонны переоценивать опасность: «Чекисты преувеличивают некоторые вещи – это специфика их работы, но я не сомневаюсь в их честности»^[666], но те же самые предупреждения поступали от партийных и советских чиновников, озабоченных конкурентными выборами. Теперь, в дополнение к этому, народные комментарии о вездесущих врагах, представленные ЦИК, подтверждали сообщения НКВД и усиливали его ощущение опасности. На пленуме Сталин призвал слушать «голоса простых людей» (вероятно, тех, кто предупреждал о врагах)^[667].

Наконец, неутешительные результаты переписи населения были получены Сталиным 25 января и 14 марта 1937 года и подтвердили

необоснованность его представления о новом состоянии общества, например, о сохраняющейся религиозности (см. раздел 10.1). Вероятно, несоответствие прогресса в обществе прогнозам руководства, о чем свидетельствовали комментарии к дискуссии, заставило правительство засекретить данные переписи заранее – в декабре 1936 года: директива местным организаторам переписи требовала «Ни одной цифры из переписи нельзя публиковать». Поскольку задачей переписи было количественно оценить социальные изменения последнего десятилетия, включая «ликвидацию враждебных классов»^[668], две кампании – перепись и обсуждение конституции – фактически одновременно выполняли общую функцию: мониторинг общества^[669]. Обе кампании показали, что общество изменилось, «устойчивые структуры и социальные барьеры были разрушены», а элементы внутренней модернизации только формировались, но общество не было так однородно, как могло представляться руководству^[670].

Как мог бы Сталин интерпретировать социальную ситуацию, выявленную в 1936 – начале 1937 года, с таким подозрительным складом ума, как у него, с его склонностью принимать желаемое за действительное и неуважением к советским гражданам? Объявленное в конституции общественное примирение было преждевременным; враги были еще многочисленны и активны, общество было против примирения, прекращать борьбу еще рано, необходима окончательная чистка. Печально известный приказ 00447 от 30 июля 1937 года призывал к ликвидации антисоветских элементов «раз и навсегда» – то есть окончательно. На пленуме в феврале-марте И. В. Сталин подчеркнул: «надо покончить с оппортунистическим благодушием» и обывательским ротозейством, «ликвидировать свою собственную беспечность». Возможно, он имел в виду надежды на общественное примирение. Он вернулся к риторике об «озлобленности остатков разбитых эксплуататорских классов», которые могли служить резервом для троцкистских вредителей^[671]. Перед пленумом 15 февраля Сталин получил секретную записку с перечнем восемнадцати категорий антисоветских элементов: «бывшие» люди, кулаки, бывшие члены социалистических партий, более 1,5 миллионов исключенных членов ВКП(б)^[672], около 100 тысяч «чуждых» и «социально вредных» людей. Сталин тщательно подчеркнул цифры в записке. Стивен Коткин

отметил: «Внезапно число врагов оказалось колоссальным и они были повсюду»^[673]. Когда делегаты пленума обсуждали возможные угрозы в связи с предстоящими выборами, они упоминали те самые персонажи из дискуссионных комментариев и отчетов НКВД, особо выделяя верующих и кулаков, возвращающихся из ссылки, «бывших людей», бывших членов ВКП(б) и дореволюционных партий, и часто ссылались на результаты переписи. Реакция общества на конституцию разрушила «благодущие» Сталина. Он внимательно прочитал комментарии и получил впечатление, что общество еще недостаточно советизировано. Бумеранг социального раскола вернулся к метателю.

Зимой 1936–1937 г. осмысление Сталиным народных комментариев и результатов переписи населения может стать недостающим элементом в ребусе, почему относительная «умеренность» закончилась и государственное насилие распространилось на широкие слои населения. Стивен Коткин задается вопросом: «Не было никакой „динамики“, подталкивающей его к этому, никаких „фракционных“ столкновений, никакого усиления угрозы из-за рубежа. Террор не выходил из-под его контроля. Он просто принял решение об уничтожении целых категорий людей согласно квотам с помощью запланированного широкомасштабного террора». Хлевнюк также обратил внимание на признаки смещения направленных ударов от верхушечных к массовым чисткам в начале 1937 года^[674]. Фицпатрик заметила, что что-то изменилось в период с декабря 1936 года по февраль 1937 года. «Ранее был реальный импульс к демократизации, но к... февральско-мартовскому пленуму этот импульс почти полностью исчез»^[675]. Гетти вплотную подходит к объяснению поворота к массовым операциям: он был «вызван неожиданными опасностями, связанными с новой конституцией»^[676].

Декабрьский доклад Сталина, взятый в контексте разочарования диктатора результатами переписи населения января 1937 года и последовавшего за всем этим расширения репрессий, говорит в пользу его переоценки состояния общества. Хотя мы не найдем слов «я разочарован» в сталинских текстах, но сопоставление и интерпретация фактов, событий, которые прямо влияли на политику, динамика риторики и сравнение тона выступлений и резолюций Сталина в период с лета – осени 1936-го до февраля 1937-го позволяют толковать их как разочарование и раздражение.

Предоставление «врагам» и «бывшим» права голоса вытекало из марксистской максимы, что новые социалистические производственные отношения (в сочетании с соответствующей «чисткой» общества) должны определять новое сознание и новое советское единство «дружественных классов». Однако комментарии недовольного населения, активистов, предостерегающих о множестве врагов, высокие цифры религиозности и уровень грамотности ниже, чем ожидалось, показали, что это не так. Общество нуждалось в продолжении чисток, чтобы достичь желаемой однородности. Такая траектория мышления Сталина представляется правдоподобной. Это подтверждается рядом фактов: переходом его риторики от прежних «дружественных классов» и «перевоспитавшихся бывших людей» к «озлобленности разбитых классов» в докладе на пленуме; затем отменой в октябре 1937 года конкурентных выборов и других событий уже после Большого террора: восстановление тезиса о социальном единстве, устранение в 1939 г. в уставе Коммунистической партии классовых квот при приеме (хотя и не реализованное) и исключение термина «социально чуждые элементы» (например, в законах, регулирующих распределение жилья). Однако, как считает Брандербергер, пропагандистскому государству не удалось привить социалистическую идентичность обществу в целом и героический и патриотический настрой молодежи в частности в результате развенчания советского Олимпа в ходе Большого террора^[677].

События гражданской войны в Испании в августе – октябре 1936 года также могли способствовать переоценке Сталиным состояния советского общества и усугублению его подозрительности. Термин «пятая колонна», родившийся в Испании для определения повстанческого движения внутренней оппозиции во время войны, был с готовностью принят в официальном советском дискурсе, поскольку он соответствовал глубоко укорененному страху сталинистов перед предателями в осажденной крепости СССР. Сообщения о внутренних враждебных элементах могли звучать особенно пугающе в контексте испанского повстанческого движения.

Игнорирование предложенных поправок соответствовало модели контролируемой демократии, типичной для отношений сталинского режима с обществом в тот момент. Демократический механизм дискуссии сталинисты использовали в своих прагматических целях –

как инструмент мобилизации населения и госаппарата, чистки кадров среднего звена, но отнюдь не для ограничения диктатуры. Гибкость в процедуре выборов, манипулирование выдвижением кандидатур через квоты, запугивание и применение силы (аресты народных кандидатов или целых ненадежных групп, таких как священники в 1937 году) – эти приемы были использованы, чтобы сделать демократию комфортной для власти. Сама природа диктатуры не позволяла ей делить власть с населением. Высокомерное неуважение диктатора к политическому потенциалу советского населения (вспомним знаменитое высказывание Сталина «Им нужен царь») и готовность к манипуляциям в управлении позволяли ему успешно эксплуатировать демократию.

Примером может служить Всесоюзный форум на страницах «Крестьянской газеты» в 1927 году в рамках празднования десятой годовщины революции. Как и мобилизационная кампания 1936 года, форум пригласил читателей высказать свои мысли о советской власти и достижениях. Они ответили сотнями писем, в том числе и критическими. Во власти председателя форума Калинина было опубликовать эти письма или пренебречь ими. Помимо восхвалений советской власти, Калинин опубликовал на страницах газеты письмо крестьянина Н. Ф. Еlicheва с хорошо аргументированной критикой советской экономической политики, чем инициировал бурную кампанию осуждения диссидента. Негодующие крестьяне возражали против его аргументов: «Никто не жалуется на налоги»^[678]. Этот форум продемонстрировал модель контролируемого участия и формировал предписанную советскую идентичность. Другим примером контролируемой демократии стало обсуждение в 1935 году нового Устава колхозов (см. главу 9) Вторым съездом колхозников-ударников, который обеспечил форум для вертикальной коммуникации снизу вверх и выпуска пара^[679]. Общенациональная дискуссия 1936 года относилась к такой модели – контролируемой и фиктивной демократии.

Съезд Советов был частью мобилизационной кампании вокруг конституции. Выступление Сталина на съезде транслировалось по всему Советскому Союзу по радио, которое было основным источником новостей для населения, уступая только газетам^[680]. Технология, которая принесла живой голос Сталина в самые

отдаленные уголки огромной страны, произвела огромное впечатление на ее жителей – как интеллектуалов, так и обычных людей. Почти все дневники десятилетия отмечали эту речь на своих страницах. Философ-журналист-репатриант Николай Устрялов оставил эмоциональную запись передачи:

25 ноября. У радиоаппарата. Слушаю призывные звуки «Интернационала» – но в непривычном, единственном, историческом исполнении: поет VIII Съезд Советов! Калинин уже произнес вступительное слово. Сейчас будет говорить – Сталин! Звонок. Выборы исполнительных органов съезда. <...> Рукоплескания пока занимают большую часть времени – так и должно быть... <...> Тов. Сталин! Снова буря, крики, взрывы восторга, гул, неумолкаемая овация. Под этот гул, под этот восторг – хочется думать и хочется жить. Хочется, кажется, самому кричать... <...> Сталин. Буду слушать ^[681].

Далее автор подробно излагает основные моменты выступления Сталина: первый этап коммунизма – социализм – завершен, произошли изменения классовой структуры, падают противоречия между социальными группами. Пролетариат превратился в освобожденный рабочий класс, крестьянство вошло в социалистическую экономику, была сформирована новая советская интеллигенция и классовая война прекращена.

У нас есть свидетельство, как люди реагировали в частной обстановке. Репатриант князь Д. С. Святополк-Мирский, гвардейский офицер в царской России, офицер в годы Первой мировой и гражданской войн, эмигрировал, стал литературным критиком и историком, преподавал в Лондонском университете, написал непревзойденную «Историю русской литературы», в 1931 году стал коммунистом, через год вернулся в Москву, в 1937 году был арестован и в 1939 году погиб в лагере. Он внес свой вклад в кампанию, опубликовав статью «О Великой Хартии народов: Конституция победы», опубликованную 20 июля в «Литературной газете». Однако Вера Сувчинская вспоминала откровенную частную реакцию Мирского на выступление Сталина:

Я помню, как полтора часа сидела на полу у своего друга и слушала этот грузинский голос по радио, объяснявший всевозможные свободы, демократические права и так далее. ...Я ужинала с Мирским, его лицо было совершенно искажено, и он сказал: «Конечно, вы понимаете, что это дьявольская ложь!» Я была коммунисткой, понимаете, и наивной полной идиоткой. Я сказала ему, что ему должно быть стыдно, что он деморализован^[682].

В преддверии исторической речи Сталина были предприняты все усилия для расширения радиосети. В 1935 году в городах насчитывалось 50 радиоприемников на 1000 жителей и только 4 приемника на 1000 жителей сельских районов (к 1941 году их стало 8) – очень низкий уровень радиофикации по сравнению с Соединенными Штатами и Западной Европой. Но и эта сеть была несовершенной: к 1937 году в крупнейшей стране мира насчитывалось 2 946 тысяч проводных репродукторов и 650 тысяч обычных радиоприемников. К концу 1936 года Радиокomitee заявил, что 500 тысяч новых радиоприемников готовы к трансляции сталинского обращения, но на практике многие из них бездействовали из-за отсутствия электричества, ремонта или технической поддержки^[683]. Качество связи при трансляции речи во многих местах было очень низким – статический шум делал голос совершенно невнятным, но публика терпеливо слушала шум, боясь нарушить торжественный тон политического момента^[684]. В одном случае, когда статический шум заглушил речь, молодой слушатель весело воскликнул: «Сталин запел!», вызвав всеобщий смех. Имя нарушителя было записано бдительным осведомителем и сообщено НКВД.

Коллективное прослушивание выступления было заранее тщательно организовано, как, например, в Чудовском районе Ленинградской области, где партийные чиновники организовали шествие рабочих под знаменами с революционными песнями в клуб с радиоточкой. Во время коллективных прослушиваний в клубах и актовых залах слушатели нередко спонтанно присоединялись к делегатам, певшим на съезде партийный гимн «Интернационал», и к длительным аплодисментам в зале заседаний^[685]. В дотелевизионную эпоху прямая трансляция сталинского голоса по всему СССР имела сильный

спланируемый эффект и продемонстрировала советские технологические достижения. Речь легла в основу специального киножурнала с кадрами достижений.

День ратификации конституции – 5 декабря был объявлен национальным праздником. В то время как VIII съезд праздновал конституцию, жители провинций стояли в шести-восьмичасовых очередях за хлебом. НКВД сообщал об очередях в 300 человек в Кировском крае и других регионах. «К 6 [часам утра] сходил занял очередь за хлебом. Там уже стоят счастливые люди нашей страны, привыкают к социализму», – писал Аржиловский той зимой^[686]. Он, конечно же, имел в виду знаменитый сталинский девиз: «Жизнь стала лучше, товарищи! Жизнь стала веселее».

Глава 13

О российской политической культуре в двадцатом веке

Рассмотрев основные характеристики советской политической культуры в 1936 году, в этой главе я кратко представляю их в контексте недавних исследований русско-советской политической культуры, подкрепленных социологическими данными. На самом деле, современные социологические исследования часто ссылаются на исследования позднесоветских взглядов, настроений, ценностей и стереотипов, характерных для Homo sovieticus, независимо от того, насколько контролируемы и предвзяты были эти советские исследования. Особый характер любых оценок политической культуры 1930-х годов по сравнению с более поздними периодами подчеркивается в данной книге терминами «массовые восприятия / настроения / представления», а не устоявшимся социологическим термином общественного мнения. Термин «массовые мнения и настроения» подчеркивает особенности наших источников, которые исключают возможность количественной оценки и отражают политические, а не научные методы сбора информации в 1930-х годах. Несмотря на это, нельзя пренебрегать возможностью увязать качественные признаки политической культуры сталинизма с данными, собранными в менее репрессивных идеологических условиях позднего советского периода и в более свободных постсоветских исследованиях.

Социологические исследования в СССР начались только в 1960-х годах – изолированные от мира, контролируемые и направляемые партийными идеологами. Они проводились в условиях контроля и идеологически выстроенной программы, аналогичных тем, что были в 1930-х годах, хотя и менее репрессивных. Такие как есть, они использовались в более надежных и свободных постсоветских исследованиях в качестве отправной точки^[687]. Современные социологи часто приходят к выводу, что основные ценности российских граждан в 1990–2000-е годы не сильно отличались от ценностей позднесоветского периода^[688]. В сталинский период, когда

социология была объявлена «буржуазной» наукой, достоверных эмпирических исследований политической культуры советского народа не проводилось. В этой главе я сравниваю свои выводы о 1930-х годах с основными выводами отдельных, но репрезентативных социологических и исторических исследований о послевоенном советском периоде и современной России. Социологические исследования, даже с учетом их ограниченности, имеют большое значение в силу своей измеримости и точности данных. Недавние исторические труды, обсуждающие послевоенный период, дополняются обновленным методологическим арсеналом. Результаты моего исследования в целом подтверждают их выводы.

Даже когда мы изучаем такую огромную страну, да еще во время социальных преобразований, можно выдвинуть некоторые гипотезы. Эмпирическое исследование политической культуры, основанное на комментариях населения о конституции и других источниках и помещенное в контекст современных исследований, открывает возможность для обзора советской/российской политической культуры в долгосрочной перспективе. Сравнимые здесь периоды – это, во-первых, постреволюционное десятилетие 1920-х годов, изученное автором ранее; во-вторых, послевоенный период, отраженный в массиве мнений более позднего происхождения, изученных Еленой Зубковой (1945–1957) и Сергеем Екельчиком, в интервью Гарвардского проекта (1950–1951), а в-третьих, позднесоветский и постсоветский периоды с доступными социологическими данными. Однако вопросы, задаваемые современными социологами, не всегда напрямую совпадают с темами, обсуждаемыми участниками конституционной кампании. Анализ массовых комментариев 1936 года в более широком историческом контексте отражает эволюцию политической культуры с течением времени. Подробное изучение общественного мнения во второй половине XX века в России выходит за рамки данной книги, тем не менее интересно проследить, как основные характеристики политической культуры 1936 года развивались в другие периоды.

Некоторые общие черты советского массового сознания оставались достаточно постоянными на протяжении всех периодов: отсутствие социальной солидарности, недоверие, высокая степень неудовлетворенности материальными условиями и неспособностью режима выполнить свои обещания, парадигма «мы vs они», упование

на социальные льготы, почитание лидера, и миф осажденной крепости в поле внешней политики.

Обсуждение в литературе общих контуров политической культуры проходит по водоразделу традиционного и модерного. В XX веке силы модернизации положили начало сдвигу российского общества в сторону экономической и политической независимости, прав личности и многообразия. Элементы мировоззрения модерна существовали в обществе в течение всех периодов, но никогда не превалировали. Зачатки гражданский культуры делали демократические и общественные институты начала 1920-х годов – фабрично-заводские комитеты, профсоюзы, советы, культурные и политические ассоциации – относительно эффективными. Другим примером может служить движение Крестьянского союза в 1922–1929 годах, которое выявило зарождающееся среди активных, предприимчивых крестьян политическое сознание. Часть российского сельского населения перестала быть просто толпой покорных подданных и превратилась в политических агентов, которые быстро научались выражать свои интересы в политических терминах. Они стремились к классовой организации и требовали достойного места в системе властных отношений. Несмотря на то, что большинство крестьян по-прежнему принадлежали традиционному миру, у активной части населения был потенциал для модернизации, который выражался в ориентации на рынок, прибыль и представительство. Эти чаяния могли бы быть реализованы в благоприятных условиях или, по крайней мере, при отсутствии массовых репрессий со стороны государства^[689]. Элементы гражданской культуры, формировавшиеся среди крестьян в 1920-х годах, были, как мы видели, достаточно четко артикулированы в репрессивных 1930-х годах, особенно при обсуждении вопросов судебных, избирательных, административных и личных прав.

Непрерывность модернизационного влияния отражалась в комментариях беженцев из СССР в 1950–1951 годах, представляя постепенный сдвиг социальных ценностей и установок от традиционных крестьянских к распространенным в городских и промышленных обществах. Хотя вопросы интервью касались жизни корреспондентов в довоенном СССР, их комментарии были записаны десять лет спустя и, таким образом, окрашены их военным и послевоенным опытом. Аналитика Гарвардского проекта показала, что

в 1950-х годах ценности крестьянской семьи, уходящие корнями в локализм и религиозные ценности, претерпели огромную убыль, а городские ценности, связанные с доминированием работы в жизни человека, потребительской этикой и стремлением к успеху, стали более заметными. Бывшие советские специалисты критиковали отношение к неудачам в сталинской России, официально приписываемым политическому неповиновению или преступной халатности кадров (характерной для традиционного мировоззрения), и демонстрировали большее понимание безличных и других объективных факторов неудач^[690]. Как заключили авторы, эти изменения развивались, как и в любом индустриальном обществе, и имели больше общего с американским обществом, чем отличий.

Игорь Орлов проанализировал траекторию развития либеральных элементов политической культуры в постсоветский период. Он утверждает, что либеральный дискурс был наиболее выражен в обществе в середине 1990-х годов. По данным Института социологического анализа, 40 процентов респондентов в 1991–1995 годах отдавали приоритет «социальной справедливости» (достаточно умеренное число для периода экономического краха, лишений и появления новых российских олигархов), более 30 процентов – «радикально-либеральным» ценностям (больше в мегаполисах, меньше – в провинциях). В конце 1990-х годов опросы показали разочарование в демократических идеалах и рост патерналистских ожиданий. Авторы полагают, что в основе российской политической культуры по-прежнему лежит старая культура «покорности», в которой приоритет отдается роли государства^[691].

Все исследователи России подчеркивают традиционные элементы политической культуры. Исследования 1980-х годов отмечали присутствие нелиберальных взглядов и традиционных, дореволюционных форм взаимодействия граждан и государства. Они были усилены моделью советского социально-экономического развития и высокоцентрализованной и иерархической административной структурой, которая сама по себе являлась продолжением дореволюционной модели^[692]. Двадцать лет спустя социологическое исследование, проведенное Институтом социологических исследований с 2004 по 2007 год, показало преобладание взглядов в советском и постсоветском обществе и

устойчивость традиционных ценностей. Традиционалистская и патерналистски настроенная часть общества по-прежнему преобладала и даже увеличилась за три года с 41 до 47 процентов, а доля модернистов (определяемых как «приверженцы личных свобод, личной ответственности и прав человека, носители современного, инновационного мышления») снизилась с 26 до 20 процентов. Согласно другим параметрам, традиции патернализма доминируют в сознании большинства россиян (62 процента), что связано в первую очередь с низким уровнем доходов 60 процентов населения России, наиболее зависимого от государства^[693].

Помимо этих общих атрибутов политической культуры, в 1920-х, 1930-х, 1950-х и 2000-х годах сохранялись некоторые специфические культурные паттерны. Социальная интеграция, так страстно ожидаемая сталинистами, оставалась слабой на протяжении всех периодов советской и постсоветской истории. Глубоко расколотое послереволюционное поколение не смогло успешно залечить травму Гражданской войны. Комментарии к конституции в 1930-х годах также демонстрировали сохраняющуюся разобщенность и социальную напряженность, но Вторая мировая война создала ощущение единства общества и государства, что неудивительно перед лицом смертельной национальной угрозы. Однако эта консолидация носила лишь временный характер и быстро рассеялась по мере того, как массовые послевоенные надежды на либерализацию и обновление оставались нереализованными. Это преходящее чувство единства, отмеченное в комментариях беженцев, изолированных от родины после 1945 года, привело Инкелес и Бауэр к выводу, что в 1950-х годах общество достигло консенсуса и советская система, казалось, пользовалась поддержкой общественного мнения, хотя люди продолжали противопоставлять себя партийным чиновникам («мы vs они»)^[694].

Общество периода 1945–1957 годов, как показала историк Елена Зубкова, оставалось расколотым внутри и не доверяло партийному государству. В поисках новой национальной целостности после окончания мобилизации военного времени государство-партия начало новые мобилизационные кампании против внешнего врага (США в контексте холодной войны) и внутреннего врага (антисемитизм в связи с делом врачей). Чтобы заполнить духовный вакуум, правительство пыталось вдохновить граждан грандиозными целями восстановления

страны, а с 1947 года обещанием коммунизма. Как в 1936 году партия мобилизовала общество идеей достижения социализма, так и в 1947 году партийная программа поставила перед обществом цель построения коммунизма в СССР в течение следующих двадцати лет. Однако идея получила гораздо более ограниченное признание в обществе. В условиях социальной разобщенности, как утверждает Зубкова, главным звеном, объединяющим высшие и низшие слои, был культ Сталина. В отличие от Инкелеса и Бауэра, которые считали, что степень доверия в послевоенном обществе возросла, Зубкова утверждает, что общее недоверие было высоким: общество относилось скептически к профанации выборов и обещаниям коммунизма, а власти рассматривали ветеранов и репатриантов как потенциальную угрозу^[695]. Социальная напряженность внутри классов – конфликт между партией и непартийными массами, враждебность рабочих к стахановцам, горожан к приезжим из деревни – сохранялась и после войны^[696]. Социальная напряженность проявилась в возрождении дискриминируемых групп, численностью больше, чем в 1930-х годах: стигматизация охватывала репатриантов, военнопленных и жителей оккупированных территорий, подозреваемых в сотрудничестве с нацистами или не пользующихся доверием правительства как свидетелей жизни за рубежами страны. Миллионы депортированных крестьян были по-прежнему частично или полностью ущемлены в своих правах. Избирательный и правовой статус этих групп подвергался сомнению не только со стороны власти, но и со стороны населения^[697]. Официальный образ гармоничного и единого нового наднационального образования «советский народ» в 1930–1950-е годы был на самом деле пустой оболочкой. Исследование 1980-х годов – большой проект интервью среди советских евреев-эмигрантов – подтверждает сохраняющийся раскол между партийной элитой и населением и растущее раздражение по поводу неспособности партийного государства выполнить свои обещания^[698]. Даже в самые благополучные годы российской истории, 2004–2007, социологи отмечали «фрагментацию общества... на все меньшие и меньшие закрытые сообщества, построенные на отношениях только «между собой»^[699]. Культуролог Майя Туровская подтверждала это в интервью 2018 года: «Разобщение идет все дальше и одной России не о чем говорить с другой, причем количество этих расслоившихся групп

растет быстро»^[700]. Таким образом, социальная солидарность и общественный консенсус за последние сто лет российской истории измерялись низкими показателями.

Этатистский код, заметный у участников дискуссии в 1936 году, окрашивал политическую культуру и после войны. Многие беженцы, познакомившиеся с плюралистическим и демократическим капитализмом в США, по-прежнему продолжали демонстрировать приверженность государственному контролю над экономикой и его праву на вторжение в любые другие сферы жизни. Советские иммигранты, прибывшие в США в 1950-е годы, испытывали гордость за промышленные, военные и культурные достижения советского государства и подчеркивали его силу – важный фактор принятия власти в российском сознании^[701]. Большинство беженцев считали, что общие интересы должны превалировать над индивидуальными правами, и одобряли некоторые ограничения на свободу слова, собраний и печати^[702]. Опрос, проведенный в конце 1980-х годов в СССР, подтверждает тенденцию ограничения личных свобод в пользу интересов общества^[703]. Советские еврейские эмигранты в конце 1970-х и начале 1980-х годов и российские граждане в 1990-х, 2004 и 2007 годах демонстрировали такую же приверженность устоявшейся государственнической модели и одобряли доминирование государства в экономике, особенно в тяжелой промышленности^[704].

Недавние социологические исследования демонстрируют возросшее стремление граждан России к свободе и индивидуальной независимости. Они готовы отстаивать свои собственные права, однако они часто не видят необходимости в предоставлении таких же прав другим, например меньшинствам, что отличает понимание демократии как в России, так и в СССР, очевидное уже в ходе конституционной кампании. Оценки Гибсона и Дача, а также Всесоюзного центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ноябре 1989 года показали, что население рассматривает политические свободы и права как менее важные цели, чем улучшение материальных условий^[705].

В своем исследовании, основанном на интервью, Лукин показал, что субкультура советских демократов 1985–1991 годов, возглавлявших реформы 1990-х годов, унаследовала некоторые черты марксистской и устоявшейся бескомпромиссной российской позиции: представление о

демократии как о моральном и социальном идеале, близком к марксистскому утопизму, а не как о системе политических институтов. Демократы также продемонстрировали склонность к радикализму, когда рассматривали советское государство как абсолютное зло, противопоставляя его идеалу западной демократии. Они проявили слабую приверженность демократическим процедурам и законам, рассматривая их лишь в качестве инструмента для более эффективного достижения идеальной модели. Неспособность демократов к созданию единой политической партии свидетельствовало об отсутствии желания идти на компромиссы. Лукин делает вывод, что в России при Горбачеве не было необходимых культурных предпосылок для успешной демократизации^[706]. Таким образом, слабости демократического движения в постсоветском российском обществе отражали хрупкость демократических элементов советской политической культуры.

Еще одной характерной чертой сознания советских и постсоветских граждан был образ внешних сношений, пронизанный неизменной идеей осажденной крепости и «империалистического заговора» против СССР. Когда этот нарратив появился в официальном дискурсе в 1920-х годах, общественность в целом не разделяла этого представления. Официальная ксенофобия и космополитическая народная культура сосуществовали в 1920-х годах и пересекались друг с другом. После изматывающих восьми лет войн люди не приняли тему международной угрозы, навязанной сверху в 1927 году. В военной тревоге 1927 года они проявили нежелание воевать, выражали пораженческие настроения и даже ожидали освобождения от советской власти со стороны зарубежных стран^[707]. В 1930-х годах, с приходом нового поколения, массовое пораженчество ослабело, но оставалось заметным в разговорах о будущей войне. В отсутствие зарубежных путешествий и непосредственного личного опыта имидж внешнего мира сильно зависел от его репрезентации партийными средствами массовой информации. Официальный дискурс о международных и внутренних заговорах темных сил находил отражение в массовом сознании в 1930-х годах и во время холодной войны^[708]. Молодые патриоты принимали официальную картину враждебного мира, хотя автономные нарративы пронизывали общество: прогерманские и прогитлеровские настроения были

нередки. Одни не видели разницы между Гитлером и Сталиным, другие одобряли сильное гитлеровское руководство и антисемитизм. Некоторые люди говорили в 1941 году: «Русские не должны бояться нацистов. Они уничтожат только коммунистов и евреев»^[709].

Агрессивность и беспощадность в сталинском обществе, еще один культурный паттерн, были вызваны тяжелыми испытаниями гражданской войны, наступлением на крестьян в коллективизацию, ощущением онтологической опасности и незащищенности перед лицом продолжающихся репрессий – все это вызывало ответную реакцию у населения. Послереволюционное общество оставалось разобщенным ненавистью и страхами, о чем свидетельствуют взаимная враждебность рабочих и крестьян, нетерпимость к новым советским бизнесменам (нэпманам) и менталитет «мы – они»^[710]. Обсуждая конституционное примирение 1936 года, выступавшие отвергали идею мира с духовенством, реабилитированными кулаками, единоличниками и милосердие к «преступникам». И исследования Сергея Екельчика, и выводы Гарвардского проекта подтверждают высокий уровень общей враждебности в послевоенном обществе. Например, в 1950-х годах от 40 до 60 процентов беженцев выразили мнение, что в случае смены коммунистического режима его лидеры должны быть казнены^[711]. Нежелание прощать раскаявшегося преступника особенно распространено во всех слоях современных российских респондентов. Мораторий на смертную казнь в России в августе 1996 года не нашел широкой поддержки в обществе. Современные социологические исследования показывают снижение числа сторонников смертной казни – с двух третей в конце 1980-х годов до почти половины опрошенных россиян в 2007 году, что соответствует 52 процентам в среднем по миру^[712]. Терпимость, примирение и компромисс не относятся к распространенным российским ценностям. Поэт и философ Ольга Седакова говорит: «Прощение, примирение – теперь вещь абсолютно редкая у людей советского и постсоветского склада... [которые считают] мир по своей природе злым и недружественным»^[713].

Таким образом, исследования послевоенного периода и поддающиеся количественной оценке современные социологические данные подтверждают основные выводы, выявленные при анализе конституционных комментариев. Либеральные (в нашей

классификации) или демократические/модерные (в терминах социологических исследований) ценности и установки всегда были представлены в советской/российской массовой политической культуре, несмотря на авторитарный режим, подпитывавший нелиберальные ценности. Но они никогда не доминировали. Несмотря на трудности и риски обобщений, когда мы обсуждаем столь разнообразную и сложную тему, как советская и российская политическая культура, литература все же показывает, что такие характеристики, как приоритет государства, несклонность к компромиссу, недоверчивость, нетерпимость, патернализм и отсутствие социальной солидарности сохраняются в российском массовом сознании на протяжении XX века.

Глава 14

Заключение

Сталинская Конституция 1936 года стала ключевым моментом в отношениях между обществом и партией-государством. Что говорит нам конституция и всенародная дискуссия о политике и обществе?

Новые знания о происхождении конституционной реформы меняют наше понимание всего проекта. Центральная роль избирательной реформы в инициировании конституции подрывает традиционное толкование конституции как циничного трюка, в основном для международного потребления. Фокус на избирательном законе выдвигает на передний план внутренние идеологические и политические цели. Когда конституция объявила народу о достижении социализма, это имело пропагандистский и легитимационный смысл. Это также отражало догматическую веру сталинистов в то, что проводимые ими экономические, политические и социальные преобразования автоматически приведут к социализму и преобразованию общества. Однако дискуссионная кампания и результаты переписи показали Сталину, что общество не смогло в достаточной степени советизироваться. Голоса в ходе обсуждения не были единодушны в своем одобрении, как ожидалось^[714]. К разочарованию лидеров, общество, каким оно представилось руководству, не вписывалось в идеологический шаблон. Оно еще не научилось жить предписанным образом, но оставалось религиозным, разделенным, неуправляемым, патриархальным, часто враждебным и тормозило пришествие социализма.

При изменении конституции идеологические мотивы (достижение социализма) переплетались с политическими и управленческими целями для повышения эффективности управления через новый избирательный закон, с тем чтобы использовать демократические процедуры для мотивации и стимулирования административного аппарата, для отсеивания или чистки слабых, коррумпированных или неблагонадежных функционеров и врагов на всех уровнях. Боясь потерять должности в ходе демократических выборов, эти кадры тормозили осуществление избирательной реформы и сообщали об

оживлении врагов. По сталинской логике, как антисоветские элементы в обществе, воодушевленные новыми свободами, так и коррумпированные чиновники и саботажники нуждались в окончательной чистке («раз и навсегда») для достижения успеха в социалистических преобразованиях. Этой логикой можно объяснить политический поворот от относительной умеренности в 1933–1936 годах к репрессиям против партийно-советского аппарата и их распространению на широкие массы населения.

Богатый спектр мнений, высказанных в ходе конституционной дискуссии, свидетельствует о том, что общество было не пассивным реципиентом, а активным участником политических переговоров, внося вклад в формирование советской культуры своими интерпретациями снизу. Нонконформистские взгляды показали, что рядовые граждане стремились к самовыражению и были готовы делиться своими мыслями со своими согражданами и с правительством, даже в условиях диктатуры. Это означает, что острова альтернативных публичных сфер, действующих через неправительственные каналы коммуникации, существовали даже в 1930-х годах. Автономные, а иногда и либеральные голоса находила выражение в национальном обсуждении конституции даже в условиях инсценированной и контролируемой публичной сферы.

Уроки конституции были усвоены гражданами: ее принципы укоренились в их сознании, просвещая тех, кто никогда не слышал о гражданских правах. С одной стороны, многие освоили необходимые советские навыки выживания: мимикрию и послушание, например, когда попугайничали на собраниях. Но с другой стороны, граждане выучили новую лексику демократии и подвергли осмыслению те области, которые до этого ими не рассматривались. Например, два упомянутых случая, когда старшеклассники в Ленинграде и Москве в 1937 году создали конституции для своих классов на основе Конституции СССР, а также проекты Декларации прав школьников, демонстрируют интернализацию норм и языка права^[715]. Конституция служила ориентиром для бесправного населения на пути к осуществлению индивидуальных прав.

Другим уроком, извлеченным гражданами после 1936 года, было недоверие – оборотная сторона социальных мобилизаций с циклами энтузиазма и разочарований. Несоответствие между законом и

практикой привело к моменту истины для многих на пути к критической оценке режима. Но главным итогом принятия и бездействия конституции стало недоверие и скептицизм, которые порождает ее фиктивный характер у граждан, способствуя росту цинизма в обществе, который в долгосрочной перспективе подрывает легитимность политической системы.

Изученные свидетельства впервые дают нам возможность эмпирически проверить предположения, сделанные в литературе о советской массовой политической культуре. Прежде всего, обсуждение конституции, задуманное как мобилизационная кампания по формированию общественного мнения и консолидации общества вокруг советских ценностей, не принесло желаемых результатов. Мы не видим ни консенсуса, ни единства, ни устоявшейся идентичности, а видим расколотое, разнородное общество с несопоставимыми ценностями и менталитетом гражданской войны. Послание конституции о социальном мире встретило весьма ограниченную поддержку сообщества, насыщенного ненавистью и тревогой. Эта неоднородность, выявленная в дискуссии, была подтверждена в переписи 1937 года. «Общество, которое потеряло сцепление, структуру, единство или еще не обрело его, город [Москва], состоящий из миллионов людей, жизнь которых была нарушена и у которых не было ни одного места, где они могли бы чувствовать себя дома, такое общество было до крайности хрупким [и] остро нуждалось в чувстве принадлежности»^[716].

Голоса участников дискуссии продемонстрировали социальную напряженность и враждебность: колхозников к единоличникам и рабочим, беспартийных к членам партии, новоиспеченных атеистов к священникам, кулаков и депортированных к односельчанам, которые их раскулачили и жили теперь в их домах, рабочих к управленцам и стахановцам. Всеобщим было недоверие как к лишенцам (на одном конце спектра), так и к представителям власти (на другом). Это соперничество и зависть «подпитывали политическую культуру репрессий»^[717].

Помимо давления на граждан с целью обеспечения их участия, неожиданно демократический характер конституции и сдвиг в официальном дискурсе вызвали у граждан желание высказаться и позволили им выразить весь спектр как либеральных, так и

нелиберальных взглядов. В их комментариях мы обнаружили, что либеральный, демократический и примирительный дискурс уживался с революционными, конфронтационными, нетерпимыми или традиционалистскими формами восприятия мира. Либеральные ценности были четко сформулированы в дискуссии и в личных документах. Озабоченность многих граждан индивидуальными и гражданскими правами, эффективной работой советов, избирательной реформой и верховенством закона, а также их политическая активность – все это указывает на существование либеральной политической субкультуры с демократическими компонентами. Это была важная характеристика сталинского общества, которую подпитывали динамика модерна и дореволюционные либеральные традиции.

Либеральный характер новой конституции, однако, противоречил чаяниям другого сегмента участников дискуссии. Такие инновации, как плюрализм, распространение избирательных прав и индивидуальных свобод на «бывших людей», а также демократический судебный процесс, включая право на защиту для бывших отверженных, часто вызывали культурный дискомфорт, критику и неприятие. Каким бы ни был их генезис – наследие Гражданской войны, след от катастрофического опыта коллективизации и религиозной войны, влияние большевистской антагонистической классовой идеологии, предубеждения традиционной крестьянской психологии, – этот конфронтационный стиль был значительным элементом массовых реакций.

Источники демонстрируют нетерпимость, враждебность, радикализм, отсутствие сострадания и приемлемость насилия у населения. Такие черты общинного мышления, как зависть, эгалитаризм, тенденции к регулированию, приоритет коллективных ценностей над индивидуальными были четко обозначены. Традиционные тропы почтительности к власти и патримониализма, культ лидера, озвученные летом 1936 года, свидетельствуют о том, что сталинское общество унаследовало некоторые вековые привычки политического поведения^[718]. Эти глубокие и древние структуры народного менталитета получили закрепление в большевистской революционной классовой идеологии и авторитарной политике, обеспечившей распространение этого мировоззрения^[719].

Этот нелиберальный нарратив может быть косвенным результатом недобровольного характера политического участия, что вывело на политическую арену когорту только что овладевших грамотой и неискушенных в политике. Социологи считают эту обычно политически пассивную группу населения, малообразованную и нестабильную в своих ориентациях, более уязвимой для манипуляций, склонной к конформистскому голосованию и требованиям социального обеспечения и в целом более восприимчивой к популистским призывам. Когда это обычно молчаливое и пассивное большинство принуждается к участию, оно может привнести в политику местнические, патриархальные и нелиберальные взгляды. История знает два ярких примера: предоставление всеобщего мужского избирательного права в Германии в 1871 году и почти всеобщего мужского избирательного права – в Великобритании в 1882 году, которые были введены властями специально для того, чтобы облегчить манипулирование массами избирателей в целях перевесить либералов на выборах. Ранее ограниченное избирательное право помогало избирать городских либералов, которые критиковали монархию^[720]. Этот аргумент получает поддержку совсем из другой области: «Массовая публика, недавно освоившая грамотность, особенно подвержена манипулированию печатным словом»^[721]. Граждане, еще только осваивающие азы политики, составляли социальную основу сталинизма и предопределяли фальшивую природу конституционализма в России XX века.

Несмотря на авторитарные и традиционные унастроения, отразившиеся в дискуссии, элементы гражданской культуры у ее участников свидетельствуют о гораздо большей гибкости политической культуры, которая эволюционирует под давлением модернизации. Ученые-оптимисты подчеркивают изменчивость и гибкость политической культуры, чутко реагирующей на фундаментальный процесс модернизации: «Измените систему, и homo sovieticus скоро умрет»^[722]. В середине 1930-х годов взгляды советского народа не были однозначно антидемократическими. Наряду со стремлением регулировать жизнь и любовью «маленького человека» к власти, выраженной в обильных благодарностях лидерам, массовые представления 1936 года показали развитие индивидуальной субъектности и гражданского сознания, формировавшихся под

воздействием социальной мобильности, массового образования, массовой коммуникации и урбанизации. Наряду с архаичными элементами в политических отношениях и социальном развитии, в коммунистических обществах все же происходила модернизация на уровне индивидуумов, предполагающая выдвижение личности широких взглядов, гибкого творческого мышления, с ясным чувством личной эффективности^[723]. Даже крестьянская культура, в целом неблагоприятная для демократии^[724], вырабатывала под воздействием модернизации основы гражданского сознания, озвученные в требованиях крестьянской партии и гражданских прав. Однако условия острого кризиса и чрезвычайного положения в процессе модернизации не способствуют успешному формированию гражданской культуры. Последняя является «культурой умеренности», которая требует постепенного развития, сочетания, а не иссечения различных элементов культуры. «Во-первых, гражданская культура возникла на Западе в результате постепенного политического развития — относительно бескризисного, беспрепятственного и свободного от насилия. Во-вторых, она развивалась путем слияния: новые модели отношений не заменяли старые, а сливались с ними»^[725]. Это означает, что катастрофический ход российской модернизации мог помешать воспитанию гражданской культуры с ее парципаторными и демократическими элементами.

Обсуждение конституции 1936 года показало смешанную текучую культуру в процессе трансформации, с традиционными и современными, либеральными и нелиберальными элементами. Поскольку переход к модерну, по определению дестабилизирующий процесс, происходил в России в ходе череды катастроф и политического насилия, он привел к крайней дезориентации населения, кризисам коллективной и индивидуальной идентичности и пересмотру парадигм. Силы модерна, архетипичные элементы русской традиционной культуры, диктаторский режим, катастрофический характер общественной жизни — все это в совокупности обусловило формирование политической культуры сталинизма.

Глоссарий

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)

единоличник самостоятельный крестьянин, не входящий в колхоз

исполком исполнительный комитет областного или районного совета

колхоз коллективное хозяйство в советской деревне

Коминтерн Коммунистический Интернационал (1919–1943)

комсомол, ВЛКСМ Коммунистический союз молодежи, Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи

кулак предприимчивый зажиточный крестьянин

лишенец гражданин СССР, лишенный права голоса и ограниченный в других правах (в 1918–1936 годах)

НЭП Новая экономическая политика (1921–1928)

НКВД Народный комиссариат внутренних дел, до 1934 года ОГПУ, до 1922 – ВЧК

партком комитет Коммунистической партии на предприятиях и в учреждениях

Политбюро Политическое бюро ЦК ВКП(б) – руководящий орган партии

разнарядка *здесь*: система квот на советских выборах

самиздат самопубликации, подпольные публикации запрещенной в СССР литературы

сводки регулярные донесения советских органов безопасности и партийных комитетов по различным темам для центральных органов власти

СНК, Совнарком Совет народных комиссаров – правительство в СССР и союзных республиках в период 1917–1946 годов

тройка чрезвычайный внесудебный орган, действующий как трибунал; состоял из трех членов

трудодень мера труда в колхозе, оплачивался частично продуктами труда (натуральными продуктами), частично деньгами

ЦИК Центральный исполнительный комитет СССР

ЦК ВКП(б) Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)

чекист работник ВЧК, ОГПУ, НКВД
эсер член партии социалистов-революционеров

Архивы

- ГАРФ** Государственный архив Российской Федерации
РГАСПИ Российский государственный архив социально-политической истории
ЦГАИПД СПб Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга
ЦГАКФФД СПб Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
British F. O. British Foreign Office – Russia Correspondence, 1781–1945. Офис Внешних сношений Великобритании – Корреспонденция по России, 1781–1945
HPSSS Harvard Project on the Soviet Social System. Гарвардский проект по советской социальной системе
U. S. Military Intelligence Reports: Soviet Union, 1919–1941. Отчеты Военной разведки США: Советский Союз, 1919–1941

Ольга Великанова

КОНСТИТУЦИЯ 1936 ГОДА

библиотека
журнала

АНТРОПОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ИСТОРИЯ

неприкосновенный
запас

и массовая
политическая
культура
сталинизма



Примечания

1

Reisinger W. M. Conclusions: Mass Public Opinion and the Study of Post-Soviet Societies // Public Opinion and Regime Change: The New Politics of Post-Soviet Societies / Ed. by A. H. Miller, W M. Reisinger, and V. L. Hesli. Boulder, CO: Westview, 1993. P. 274; *Shlapentokh V.* Russian Citizenship: Behavior, Attitudes and Prospects for a Russian Democracy // Citizenship and Citizenship Education in a Changing World / Ed. by Orit Ichilov. London: Woburn, 1998. P. 28–52.

[Вернуться](#)

2

Rose R., Mishler W., Munro N. Popular Support for an Undemocratic Regime: The Changing Views of Russians. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 77.

[Вернуться](#)

3

Согласно советской статистике, в 1936 году 46 процентов населения были моложе 21 года. В соответствии с концепцией «молодежного навеса», этот демографический фактор, наряду с массовой миграцией населения в города, мог способствовать усилению радикальных настроений в обществе.

[Вернуться](#)

4

Sakwa R. Russian Politics and Society. London: Routledge, 2008. P. 456.

[Вернуться](#)

5

Среди множества работ см., например: *Tucker R.* The Soviet Political Mind: Stalinism and Post-Stalin Change. London: George Allen and Unwin, 1972; *van Ree E.* The Political Thought of Joseph Stalin: A Study in Twentieth-Century Revolutionary Patriotism. London: Routledge, 2002.

[Вернуться](#)

6

Getty J. A., Naumov O. V. The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven, CT: Yale University Press, 1999. P. 15–24.

[Вернуться](#)

7

Biryukov N., Sergeev V. Russia's Road to Democracy: Parliament, Communism, and Traditional Culture. Aldershot, UK: Edward Elgar, 1993; *Brown A.* Ideology and Political Culture // Politics, Society, and Nationality inside Gorbachev's Russia / Ed. by Seweryn Bialer. Boulder, CO: Westview, 1989; *White S.* Political Culture and Soviet Politics. London: Macmillan, 1979, и другие.

[Вернуться](#)

8

Sakwa R. Russian Politics and Society. P. 355; *Petro N.* The Rebirth of Russian Democracy: An Interpretation of Political Culture. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995; Politics, Work and Daily Life in the USSR: A Survey of Former Soviet Citizens / Ed. by Millar J. R. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

[Вернуться](#)

9

Figes O., Kolonitsky B. Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917. New Haven, CT: Yale University Press, 1999. P. 122–123, 189.

[Вернуться](#)

10

Lewin M. The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. London: Methuen, 1985. P. 274, 304–311, 314.

[Вернуться](#)

11

Seregny S. J. A Different Type of Peasant Movement: The Peasant Unions in the Russian Revolution of 1905 // *Slavic Review* 1988. № 47 (1). P. 51–67; *Куреньшев А. А.* Всероссийский Крестьянский Союз, 1905–1930 гг.: Мифы и реальность. М.: Дмитрий Буланин. 2004; *Великанова О.* Разочарованные мечтатели. Советское общество 1920-х гг. М.: РОССПЭН, 2017. Гл. 4.

[Вернуться](#)

12

Субъектность в философии и социологии – это способность человека выступать агентом (субъектом) действия, быть независимым от других людей. Поведение субъекта не полностью детерминировано условиями его непосредственного окружения и ассоциируется с самодетерминацией и личностной автономией.

[Вернуться](#)

13

Beetham D. Max Weber and the Theory of Modern Politics. Cambridge, UK: Polity, 1985. P. 194–198.

[Вернуться](#)

14

Medushevsky A. Russian Constitutionalism: History and Contemporary Development. Hoboken, NJ: Routledge, 2005. P. 156, 187, 241.

[Вернуться](#)

15

David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2015. P. 44, 94.

[Вернуться](#)

16

«Идеология как репрезентация» в терминологии Добренко. См. статью: *Dobrenko E., Savage J., Olson G.* Socialism as Will and Representation, or What Legacy Are We Rejecting? // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2004. Vol. 5. № 4. P. 675–708, и его работы о соцреализме. Об элементах перформанса в культуре также говорил Джеффри Брукс: *Brooks J.* Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.

[Вернуться](#)

17

Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005. P. 12, 21.

[Вернуться](#)

18

Rose R., Mishler W., Munro N. Popular Support for an Undemocratic Regime. P. 3–15.

[Вернуться](#)

19

Исследование демократического движения 1985–1991 годов, проведенное Лукиным на основе качественных методов, показывает, что в России эпохи Горбачева отсутствовали необходимые культурные предпосылки для успешной демократизации (см. главу 13): *Lukin A.* The Political Culture of the Russian ‘Democrats’. Oxford: Oxford University Press, 2000.

[Вернуться](#)

20

Bullard R. W. Inside Stalin’s Russia: The Diaries of Reader Bullard, 1930–1934 / Ed. by J. Bullard and M. Bullard. Charlbury, Oxon, 2000. P. 258.

[Вернуться](#)

21

Богатыренко З. С. Обзор документальных материалов по истории создания конституции СССР, 1936 г. // Исторический архив. 1959. № 2. С. 197–205; *Ронин С. А.* Конституция СССР 1936 года. М.: Госюриздат, 1957; *Третьяков Г. Ф.* Всенародное обсуждение проекта Конституции СССР // Вопросы истории. 1953. № 9. С. 97–102; *Кабанов В. В.* Из истории создания Конституции СССР 1936 года // История СССР. 1976. № 6. С. 116–127.

[Вернуться](#)

22

Siegelbaum L., Sokolov A. Stalinism as a Way of Life. New Haven, CT: Yale University Press, 2004; *Davies S.* Popular Opinion in Stalin's Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934–1941. Cambridge: Cambridge University Press, 1997; *Goldman W. Z.* Terror and Democracy in the Age of Stalin. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[Вернуться](#)

23

Getty J. A. State and Society under Stalin: Constitutions and Elections in the 1930s // *Slavic Review* 1991. № 50 (1). P. 18–35.

[Вернуться](#)

24

Almond G. A., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Boston: Little, Brown, 1965.

[Вернуться](#)

25

Nérard F.-X. Stalinism as Traditional Political Culture // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2016. № 17 (2). P. 475–482; *Martin T.* Modernization or Neo-Traditionalism? Ascribed Nationality and Soviet Primordialism // *Stalinism: New Directions* / Ed. by Sheila Fitzpatrick. London: Routledge, 2000. P. 348–76; *Lewin M.* The Making of the Soviet System; *Getty J. A.* Practicing Stalinism: Bolsheviki, Boyars, and the Persistence of Tradition. New Haven, CT: Yale University Press, 2013.

[Вернуться](#)

26

Almond G. A., Verba S. The Civic Culture. P. 19.

[Вернуться](#)

27

Ibid. P. 23.

[Вернуться](#)

28

Viola L. Popular Resistance in the Stalinist 1930s: Soliloquy of a Devil's Advocate // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Slavica Publishers. Vol. 1. № 1. Winter 2000. P. 45–69; Velikanova O. Berichte zur Stimmungslage: Zur den Quellen politischer Beobachtung der Bevölkerung in der Sowjetunion // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas 1999. № 47 (2). P. 227–243; Holquist P. 'Information Is the Alpha and Omega of Our Work': Bolshevik Surveillance in Its Pan-European Context // The Journal of Modern History. 1997. № 69 (3). P. 415–450; Fitzpatrick Sh. Popular Opinion in Russia under Prewar Stalinism // Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, and Communism / Ed. by Paul Corner. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 17–32.

[Вернуться](#)

29

Например: *Davies R. W. The Industrialisation of Soviet Russia. Vol. 6, The Years of Progress: The Soviet Economy, 1934–1936. London: Palgrave Macmillan, 2014; Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1934–1938 гг. М.: РОССПЭН, 2010.*

[Вернуться](#)

30

Р. В. Дэвис ссылается на доклад воронежского НКВД от 20 июля 1936 года о ситуации в области: *Davies R. W. The Industrialisation of*

Soviet Russia. P. 317; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. С. 278–280.

[Вернуться](#)

31

Applebaum A. Foreword / *The Gulag Archipelago, 1918–1956: An Experiment in Literary Investigation.* Translated by T. P. Whitney and H. Willets. New York: Harper Perennial Modern Classics, 2007. P. xix.

[Вернуться](#)

32

Максудов С. Демография «Великого перелома» 1929–1933 / интервью М. Соколову // *Эхо Москвы.* 2019. 2 июня. URL: <https://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/2435957-echo/>.

[Вернуться](#)

33

Analyzing Intelligence: Origins, Obstacles, and Innovations / Ed. by R. Z. George and J. B. Bruce Washington, DC: Georgetown University Press, 2008. P. 73.

[Вернуться](#)

34

В задачи американских разведчиков-аналитиков входит определение потребностей заказчика (правительства) и предоставление разведданных для удовлетворения этих потребностей (*Analyzing Intelligence*. P. 2). В советской практике, однако, это могло превратиться в дилемму, когда видение некоего события правительством не соответствовало тому, как это видел аналитик. Советские статистики в «репрессированной» переписи 1937 года

заплатили своими жизнями за статистику, которая не соответствовала взглядам Сталина на общество.

[Вернуться](#)

35

Тепляков А. Г. Машина террора. ОГПУ-НКВД Сибири в 1929–1941 гг. М.: Новый Хронограф, 2008. С. 22, 24, 204–205.

[Вернуться](#)

36

Bullard R. W. Inside Stalin's Russia. P. 116.

[Вернуться](#)

37

Siegelbaum L., Sokolov A. Stalinism as a Way of Life. P. 134; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 125. К 1 ноября 1936 года семь союзных республик представили отчет по 94 521 рекомендации.

[Вернуться](#)

38

Общество и власть. Российская провинция 1917–1980-е годы: В 3 т. / Под ред. Кулакова А. А., Сахарова А. Н. Т. 2: 1930 – июнь 1941 г. М.: ИРИ РАН, 2005. С. 389–435.

[Вернуться](#)

39

Getty A. State and Society under Stalin; *Fitzpatrick Sh.* Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 353.

[Вернуться](#)

40

Siegelbaum L., Sokolov A. Stalinism as a Way of Life. P. 134.

[Вернуться](#)

41

Например, «Крестьянская газета», см.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и материалы: В 5 т. М.: РОССПЭН, 1999–2006. Т. 4. С. 795–799, 804–809, 819–827.

[Вернуться](#)

42

Hellbeck J. Liberation from Autonomy: Mapping Self-Understandings in Stalin's Time // Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, and Communism / Ed. by P. Corner. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 53.

[Вернуться](#)

43

Fitzpatrick Sh. Popular Opinion in Russia under Prewar Stalinism. P. 25–26.

[Вернуться](#)

44

Peasants and Peasant Societies: Selected Readings / Ed. by T. Shanin. Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1971. P. 247.

[Вернуться](#)

45

Sorokin P. A. Hunger as a Factor in Human Affairs. Translated by Elena Sorokin. Gainesville: University of Florida Press, 1975.

[Вернуться](#)

46

Denzin N., Lincoln Y. The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, 2011.

[Вернуться](#)

47

Boyatzis R. Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998; *Braun V., Clarke V.* Using thematic analysis in psychology // Qualitative Research in Psychology. 2006. № 3(2). P. 77–101.

[Вернуться](#)

48

Price B. R. Notes on My Mixed Methods Approach to Rapid Assessment. 2017. Unpublished manuscript.

[Вернуться](#)

49

И. Б. Орлов и Е. О. Долгова писали: «Многие граждане СССР не заметили введения Конституции»; Медушевский и Бранденбергер в соответствующих исследованиях почти проигнорировали дискуссию 1936 года. См.: Орлов И.Б., Долгова Е. О. Политическая культура россиян в XX веке: Преемственность и разрывы. Сергиев Посад: СПГИ, 2008. С. 150; *Medushevsky A.* Russian Constitutionalism: History

and Contemporary Development; *Brandenberger D.* Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination, and Terror under Stalin, 1927–1941. New Haven: Yale University Press, 2011.

[Вернуться](#)

50

Хлевнюк О. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2010. С. 252–256.

[Вернуться](#)

51

Согласно предыдущей конституции 1924 года, один делегат представлял 25 000 рабочих и один делегат – 125 000 крестьян. В течение 1920-х годов крестьянство настойчиво требовало равенства.

[Вернуться](#)

52

РГАСПИ. Ф. 667. Оп. 1. Д. 10. Л. 15–21, 22–4.

[Вернуться](#)

53

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 152.

[Вернуться](#)

54

XVII Съезд ВКП(б). Стенограммы. 28 января 1934 // Хронос. URL: http://www.hrono.ru/dokum/1934vkpb17/5_2.php.

[Вернуться](#)

55

РГАСПИ. Ф. 667. Оп. 1. Д. 10. Л. 25–28.

[Вернуться](#)

56

Жуков Ю. Народная империя Сталина. М.: Эксмо, 2009. С. 63.

[Вернуться](#)

57

Хромов С. С. По страницам личного архива Сталина. М.: МГУ, 2009. С. 42.

[Вернуться](#)

58

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 249. Л. 12–13.

[Вернуться](#)

59

Протокол 20, Решения Политбюро 4–30 января 1935 // РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 10. Д. 130. Л. 13–15; Ф. 17. Оп. 3. Д. 958. Л. 38; Ф. 82. Оп. 2. Д. 249. Л. 1–3; Ф. 558. Оп. 1. Д. 3275. Л. 12.

[Вернуться](#)

60

Постановление VII съезда Советов // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 537. Л. 7; Декрет VII Съезда Советов. 6 Февраля 1935 // Конституция

Российской Федерации. URL: <http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1924/postanovleniya/3946696/>.

[Вернуться](#)

61

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 537. Л. 7.

[Вернуться](#)

62

Правда. 1935. 7, 8 февраля.

[Вернуться](#)

63

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 247. Л. 26–45.

[Вернуться](#)

64

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 247. Л. 26, 29, 39.

[Вернуться](#)

65

Жуков Ю. Народная империя Сталина. С. 106; *Жуков Ю.* Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933–1937 годах. М.: Вагриус, 2003. С. 46. URL: <http://www.litmir.me/br/?b=93055&p=26>.

[Вернуться](#)

66

Timasheff N. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. New York: E. P. Dutton, 1946.

[Вернуться](#)

67

Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001; *Hoffmann D. L.* Was There a ‘Great Retreat’ from Soviet Socialism? Stalinist Culture Reconsidered // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. № 5 (4). P. 651–674; *Lenoe M. E.* In Defense of Timasheff’s ‘Great Retreat’ // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2004. № 5 (4). P. 721–730.

[Вернуться](#)

68

Подробнее см.: *Velikanova O.* Stalinist Moderation and the Turn to Repression. Utopianism and Realpolitik in the Mid-1930s // *The Fate of the Bolshevik Revolution. Illiberal Liberation, 1917–1941* / Ed. by L. Douss, J. Harris and P. Whitewood. London: Bloomsbury Academic, 2020.

[Вернуться](#)

69

Циркуляры НКВД от 19 апреля 1935; 5 августа 1935; 20 июня 1936 // *Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 468–469, 560.*

[Вернуться](#)

70

Bullard R. W. Inside Stalin’s Russia. P. 52.

[Вернуться](#)

71

Романець Н. Кампанія 1934–1936 рр. щодо зняття судимості з селян, засуджених у період «великого перелому»: мета та способи реалізації // 3 архівів ВЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Київ. 2014. № 2 (43). С. 204; *Эллис Е.* Свидетелей нет: Воспоминания // Российская и советская деревня первой половины 20-го века глазами крестьян / Под ред. Н. Ф. Гриценко. М.: Русский Путь, 2009. С. 345–346.

[Вернуться](#)

72

Wheatcroft S. Towards Explaining the Changing Levels of Stalinist Repression in the 1930s: Mass Killing // Challenging Traditional Views of Russian History / Ed. by S. Wheatcroft. London: Palgrave Macmillan, 2002. P. 122.

[Вернуться](#)

73

Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. 1922–1936 / Сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. М.: Фонд «Демократия», 2003. С. 721.

[Вернуться](#)

74

Rose R., Mishler W., Munro N. Popular Support for an Undemocratic Regime. P. 8.

[Вернуться](#)

75

British Foreign Office–Russia correspondence, 1781–1945. 1975. Wilmington, DE: Scholarly Resources (British F. O.) 371. 1936. Vol. 20351. P.75.

[Вернуться](#)

76

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 553, 721.

[Вернуться](#)

77

Романець Н. Кампанія 1934–1936 рр. щодо зняття судимості... С. 210.

[Вернуться](#)

78

Хлевнюк О. Хозяин. С. 246.

[Вернуться](#)

79

Там же. С. 243.

[Вернуться](#)

80

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 752–753.

[Вернуться](#)

81

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 126–127.

[Вернуться](#)

82

Прокуратура надзирала за соответствием постановлений и распоряжений отдельных ведомств СССР и союзных республик и местных органов власти конституции.

[Вернуться](#)

83

Wheatcroft S. Towards Explaining the Changing Levels of Stalinist Repression. P. 123.

[Вернуться](#)

84

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 152–156.

[Вернуться](#)

85

Хлевнюк О. Хозяин. С. 242.

[Вернуться](#)

86

Shearer D., Khaustov V. Stalin and the Lubianka: A Documentary History of the Political Police and Security Organs in the Soviet Union, 1922–1953. New Haven, CT: Yale University Press. 2015. P. 118.

[Вернуться](#)

87

Lewin M. The Making of the Soviet System. P. 282–283.

[Вернуться](#)

88

Solomon P. H. Soviet Criminal Justice under Stalin. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 153–173.

[Вернуться](#)

89

Wheatcroft S. Towards Explaining the Changing Levels of Stalinist Repression. P. 125. Эти цифры будут еще уточняться. Например, Тепляков оспаривает цифру 2054 расстрелов, данную О. Б. Мозохиным, или 2154 (Виткрофт) на 1933 год, повышая ее на 3000 расстрелянных только в Сибири: *Тепляков А. Г.* Машина Террора. С. 344–345.

[Вернуться](#)

90

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 152–156; *Shearer D., Khaustov V.* Stalin and the Lubianka. P. 143–147.

[Вернуться](#)

91

Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. С. 748.

[Вернуться](#)

92

В ходе массовых операций по очистке приграничной территории в первой половине 1935 года было депортировано более 134 тыс. человек в Западной Украине, Ленинградской области, Карелии, на Северном Кавказе, в Азербайджане, в Западной Сибири и в Азово-Черноморском крае. Семьдесят процентов репрессированных были кулаки и лишенцы. Наряду с ними выселяли поляков, немцев, финнов, латышей и эстонцев (*Хлевнюк О. Хозяин. С. 240*). Социальное происхождение и статус были причиной арестов, изгнания и дискриминации на рабочем месте.

[Вернуться](#)

93

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 387–388, 417, 550, 339, 508–509, 550–551.

[Вернуться](#)

94

Shearer D. R. Policing Stalin's Socialism: Repression and Social Order in the Soviet Union, 1924–1953. New Haven, CT: Yale University Press, 2009. P. 10–11; Hagenloh P. Stalin's Police: Public Order and Mass Repression in the USSR, 1926–1941. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2009.

[Вернуться](#)

95

Priestland D. Review of Policing Stalin's Socialism: Repression and Social Order in the Soviet Union, 1924–1953, by David R. Shearer and Stalin's Police: Public Order and Mass Repression in the USSR, 1926–1941, by Paul Hagenloh. The American Historical Review. 2010. № 115 (5). P. 1553–1555.

[Вернуться](#)

96

Хлевнюк О. Хозяин. С. 317, 389–390.

[Вернуться](#)

97

Harris J. The Great Fear: Stalin's Terror of the 1930s. Oxford: Oxford University Press. 2016. P. 101, 139–140.

[Вернуться](#)

98

Хлевнюк О. Хозяин. С. 220, 231.

[Вернуться](#)

99

Getty A. State and Society. P. 34–35; Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 281.

[Вернуться](#)

100

Инструкция ЦК и СНК от 8 мая 1933 // Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 153.

[Вернуться](#)

101

Rees T. 1936 // The Oxford Handbook of the History of Communism / Ed. by S. Smith. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 130–131.

[Вернуться](#)

102

Khlevniuk O. V., Favorov N. S. Stalin: New Biography of a Dictator. New Haven, CT: Yale University Press, 2015. P. 135.

[Вернуться](#)

103

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1052. Л. 153. Курсив мой. – *О. В.*

[Вернуться](#)

104

Там же. Оп. 165. Д. 47. Л. 164. Курсив мой. – *О. В.*

[Вернуться](#)

105

Beetham D. Max Weber... P. 193.

[Вернуться](#)

106

Фирсов Ф. Секретные коды истории Коминтерна. 1919–1943. М.: АИРО-XXI. 2007. С. 554. Другие кампании см.: С. 537, 539.

[Вернуться](#)

107

Медушевский А. Н. Как Сталину удалось обмануть Запад: Принятие Конституции 1936 года с позиции политического пиара // Общественные науки и современность. 2016. № 3. С. 122–138.

[Вернуться](#)

108

Ватлин А. Коминтерн: Идеи, Решения, Судьбы. М.: РОССПЭН, 2009. С. 362.

[Вернуться](#)

109

Артамонова Ж. Каменев и Зиновьев на первом московском процессе // Эхо Москвы. 2016. 4 сентября. URL: <http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1829252-echo/>.

[Вернуться](#)

110

Stone L. The Causes of the English Revolution: 1529–1642. London: Routledge & Kegan Paul, 1972.

[Вернуться](#)

111

Getty A. Pre-election Fever: The Origins of the 1937 Mass Operations // The Anatomy of Terror. Political Violence under Stalin / Ed by J. Harris. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 217–218.

[Вернуться](#)

112

Bullard R. W. Inside Stalin's Russia. P. 211.

[Вернуться](#)

113

Viola L. Stalinism and the 1930s // A Companion in Russian History / Ed. by A. Gleason, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2009. P. 368.

[Вернуться](#)

114

Brandenberger D. National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002. P. 44.

[Вернуться](#)

115

Fritzsche P., Hellbeck J. The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany // Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared / Ed. by M. Geyer and Sh. Fitzpatrick. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 320.

[Вернуться](#)

116

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1119. Л. 8–10.

[Вернуться](#)

117

Там же. Оп. 1. Д. 5388. Л. 209–210; Письма И. В. Сталина В. М. Молотову, 1925–1936 гг. Сборник документов / Под ред. Кошелевой Л., Лельчук В. и др. М.: Молодая гвардия, 1996. С. 253–254.

[Вернуться](#)

118

Hoffmann D. Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011. P. 13–14, 286; *Idem.* Was There a ‘Great Retreat’ from Soviet Socialism? P. 661, 672.

[Вернуться](#)

119

Clark K. Petersburg: Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998. P. 208; *Laurson E.* Bad Words Are Not Allowed! Language and Transformation in Mikhail Bulgakov’s Heart of a Dog // Slavic and East European Journal. 2007. № 51 (3). P. 492.

[Вернуться](#)

120

Getty A., Naumov O. V. The Road to Terror. P. 20.

[Вернуться](#)

121

Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991. P. 166, 168.

[Вернуться](#)

122

Dobrenko E. Savage J., Olson G. Socialism as Will and Representation. P. 680, 690–692, 703.

[Вернуться](#)

123

Медушевский А. Н. Как Сталину удалось обмануть Запад. С. 122.

[Вернуться](#)

124

Getty A., Naumov O. V. The Road to Terror. P. 22, 26; *Davies S., Harris J. R.* Stalin's World: Dictating the Soviet Order. New Haven, CT: Yale University Press, 2014. P. 11; *Naiman E.* Discourse Made Flesh: Healing and Terror in the Construction of Soviet Subjectivity // Language and Revolution: Making of Modern Political Identities / Ed. by I. Halfin, London: F. Cass, 2002. P. 299; *Gaddis J. L.* We Know Now: Rethinking Cold War History. Oxford: Oxford University Press, 1994. P. 14; *Harris J.* The Great Fear. P. 108.

[Вернуться](#)

125

Правда. 1936. 13 июня, 7 июля, 15 января. В 1936 году потребление произведенной государством водки было 3,6 литра на душу населения в год в сравнении с 8,1 литрами перед войной (*Fitzpatrick Sh.* Stalin's Peasants. P. 61). По всей вероятности, самогон компенсировал снижение потребления государственной водки.

[Вернуться](#)

126

Brandenberger D. National Bolshevism. P. 43, 45; *Martin T.* The Affirmative Action Empire. P. 441.

[Вернуться](#)

127

Hoffmann D. Was There a 'Great Retreat' from Soviet Socialism?

[Вернуться](#)

128

Smith S. A. History of the Future. Imagining the Communist Future: The Soviet and Chinese Cases Compared // The Palgrave Handbook of the Mass Dictatorship / Ed. by P. Corner and J.-H. Lim, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2016. P. 9.

[Вернуться](#)

129

Osokina E. Our Daily Bread: Socialist Distribution and the Art of Survival in Stalin's Russia, 1927–1941. Armonk, NY: E. Sharpe, 2001. P. 161–162.

[Вернуться](#)

130

Hoffmann D. Cultivating the Masses. P. 62, 286.

[Вернуться](#)

131

Предсмертное письмо Бухарина Сталину, 10 декабря 1937. URL: <http://stalinism.ru/dokumentyi/predsmertnoe-pismo-buharina.html>.

[Вернуться](#)

132

Ларина-Бухарина А. М. О предсмертном письме Николая Ивановича Бухарина (октябрь 1992) // Узник Лубянки. Тюремные рукописи Николая Бухарина. Сб. документов / Введение Ст. Козна; под ред. Г. Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2008. С. 17.

[Вернуться](#)

133

Пришвин М. М. Дневники. 1950–1951. Санкт-Петербург: Росток, 2016. С. 69.

[Вернуться](#)

134

Апокрифические источники говорят, что в 20-е годы И. Е. Стен (1899–1937), знающий марксист, преподавал Сталину марксистскую философию. Кто-то спросил его, каков его ученик. «Туповат», – ответил Стен: *Чудаков А. Ложится мгла на старые ступени. М.: Время, 2012. С. 145; Боров Ю. Сталиниада // Подъём. 1990. № 1. С. 42–43.*

[Вернуться](#)

135

Правда. 1936. 4, 5 июля.

[Вернуться](#)

136

Правда. 1936. 4, 5 июля.

[Вернуться](#)

137

Коваль Н. Путь к нищете: Воспоминания // Российская и советская деревня первой половины XX века глазами крестьян / Под ред. Н. Ф. Гриценко. М.: Русский Путь, 2009. С. 238

[Вернуться](#)

138

Правда. 1936. 13 июня, 6 июля.

[Вернуться](#)

139

Хлевнюк О. Хозяин. С. 241–249; Hoffmann D. L. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003. P. 147–155; Жуков Ю. Народная империя Сталина; Siegalbaum L., Sokolov A. Stalinism as a Way of Life.

[Вернуться](#)

140

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 281.

[Вернуться](#)

141

Getty A. State and Society under Stalin. P. 33–34.

[Вернуться](#)

142

Getty A. Practicing Stalinism. P. 206.

[Вернуться](#)

143

Goldman W. Z. Terror and Democracy. P. 111; Siegalbaum L., Sokolov A. Stalinism as a Way of Life. P. 130

[Вернуться](#)

144

Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press, 1993. P. 414.

[Вернуться](#)

145

Goldman W. Z. Terror and Democracy. P. 128, 134

[Вернуться](#)

146

Fitzpatrick Sh. Signals from Below: Soviet Letters of Denunciation of the 1930s // Accusatory Practices: Denunciation in Modern European History, 1789–1989 / Ed. by Sh. Fitzpatrick and R. Gellately. Chicago: University of Chicago Press, 1997. P. 87.

[Вернуться](#)

147

Van Ree Erik. The Political Thought of Joseph Stalin. New York: Routledge, 2002.

[Вернуться](#)

148

Правда. 1936. 5 марта.

[Вернуться](#)

149

Сталин И. В. Речь на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) // Лубянка: Сталин и Главное Управление Госбезопасности НКВД, 1937–1938 / Под ред. В. Н. Хаустова и др. М.: РОССПЭН, 2004. С. 107.

[Вернуться](#)

150

Правда. 1935. 6 февраля; 1936. 30 ноября.

[Вернуться](#)

151

Правда. 1936. 5 ноября, 28 ноября.

[Вернуться](#)

152

Viola L. Stalinism and the 1930s. P. 372–373.

[Вернуться](#)

153

Хлевнюк приводит цифры 301 000 исключенных и 30 600 вновь принятых в 1935 г. Чистка партии продолжилась в 1937 г., когда 22 мая и 8 июня Политбюро приказало выслать из шести городов всех бывших членов партии, ранее участвовавших в партийной оппозиции, вместе с их семьями: Москва, Ленинград, Киев, Ростов, Таганрог и Сочи. *Хлевнюк О. Хозяин. С. 235–236.*

[Вернуться](#)

154

Getty A., Naumov O. V. The Road to Terror. P. 198, 232, 275; *Хаустов В., Самуэльсон Л.* Сталин, НКВД и репрессии. С. 61.

[Вернуться](#)

155

Getty A., Naumov O. V. The Road to Terror. P. 274.

[Вернуться](#)

156

Документы июньского Пленума см. в: Ibid. P. 231–238, 242–243, 275;
Хлевнюк О. Хозяин. С. 236.

[Вернуться](#)

157

Schloegel K. Moscow, 1937. Cambridge: Polity Press, 2012. P. 195–196.

[Вернуться](#)

158

Правда. 1936. 11 июня.

[Вернуться](#)

159

Там же. 3 ноября.

[Вернуться](#)

160

Goldman W. Z. Terror and Democracy. P. 65, 67, 86, 72, 91, 95, 120.

[Вернуться](#)

161

Известия ЦК КПСС. 1989. № 8. С. 100–115; *Getty A., Naumov O. V.* The Road to Terror. P. 250–255; *Goldman W. Z.* Terror and Democracy. P. 70–72.

[Вернуться](#)

162

Solomon P. H. Soviet Criminal Justice under Stalin. P. 179, 183, 400–402.

[Вернуться](#)

163

ГАРФ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 473.

[Вернуться](#)

164

РГАСПИ. Ф. 667. Оп. 1. Д. 10. Л. 25–28; *Кукушкин Ю. С., Тимофеев Н. С.* Самоуправление крестьян России (19 – начало 20 века). М.: МГУ, 2004. С. 68.

[Вернуться](#)

165

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1755. Л. 118, 136–137, 140–141.

[Вернуться](#)

166

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 33.

[Вернуться](#)

167

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 33–34, 36–37; *Getty J. A. Practicing Stalinism*. P. 210.

[Вернуться](#)

168

Goldman W. Z. Terror and Democracy. P. 86–91.

[Вернуться](#)

169

Правда. 1936. 17 июня.

[Вернуться](#)

170

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 38–39; Правда. 1936. 13 сентября.

[Вернуться](#)

171

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 381–386.

[Вернуться](#)

172

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 44, 51–52; Правда. 1936. 13 сентября. «Правда» опубликовала краткий отчет Бабинцева, упоминая только плохую каталогизацию предложений.

[Вернуться](#)

173

Правда. 1936. 19, 25 сентября.

[Вернуться](#)

174

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 51–52, 136, 138; *Getty J. A., Naumov O. V. The Road to Terror*. P. 229.

[Вернуться](#)

175

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2059. Л. 128; Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 442.

[Вернуться](#)

176

Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades: Celebrations in the Time of Stalin. Bloomington: Indiana University Press, 2000. P. 199–200.

[Вернуться](#)

177

Дневник А. Аржиловского. 29 марта, 9 апреля 1937 года. Здесь и далее цит. по: Прожито: корпус дневников. URL: <http://prozhito.org/person/248>. Дневник Аржиловского был также опубликован в сборнике: *Intimacy and Terror: Soviet Diaries of the 1930s* / Eds. by V. Garros, N. Korenevskaya and T Lahusen. New York: New Press, 1997.

[Вернуться](#)

178

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 346.

[Вернуться](#)

179

Там же. С. 346–354.

[Вернуться](#)

180

ГАРФ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 46; Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 204; Правда. 1936. 1 ноября; Коммуна (Воронеж). 1936. 17 октября.

[Вернуться](#)

181

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 105. Л. 1; Оп. 8. Д. 222. Л. 125; Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 536.

[Вернуться](#)

182

Goldman W. Z. Terror and Democracy. P. 86–92.

[Вернуться](#)

183

Там же. P. 7–8.

[Вернуться](#)

184

Секретная инструкция ЦК и СНК от 8 мая 1933. Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 154.

[Вернуться](#)

185

Getty J. A. Practicing Stalinism. P. 207.

[Вернуться](#)

186

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 297–307.

[Вернуться](#)

187

Там же. P. 310.

[Вернуться](#)

188

DiFranceisco W., Gitelman Z. Soviet Political Culture and 'Covert Participation' in Policy Implementation // The American Political Science Review. 1983. № 78 (3). P. 603, 607.

[Вернуться](#)

189

Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Oakland: University of California Press, 1997.

[Вернуться](#)

190

Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More. P. 16, 23, 25.

[Вернуться](#)

191

Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades. P. 209.

[Вернуться](#)

192

Радиорепродукторы на улицах городов и сел работали весь день с 6 утра до полуночи и стали фоновым шумом эпохи. *Bullard R. W.* Inside Stalin's Russia. P. 176.

[Вернуться](#)

193

Scott J. Behind the Urals: An American Worker in Russia's City of Steel. Bloomington. Indiana University Press, 1989. P. 5.

[Вернуться](#)

194

Almond G. A., Verba S. The Civic Culture. P. 9.

[Вернуться](#)

195

Pirani S. Mass Mobilization versus Participatory Democracy: Moscow Workers and the Bolshevik Expropriation of Political Power // *A Dream Deferred: New Studies in Russian and Soviet Labor History* / Ed. by D. A. Filtzer et al., Bern: Peter Lang, 2008. P. 95–96.

[Вернуться](#)

196

См.: *Великанова О.* Разочарованные мечтатели. Гл. 4.

[Вернуться](#)

197

Miller F. J. Folklore for Stalin: Russian Folklore and Pseudofolklore of the Stalin Era. New York: M. E. Sharps, 1991.

[Вернуться](#)

198

Alexopoulos G. Soviet Citizenship, More or Less: Rights, Emotions, and States of Civic Belonging // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2006. № 7 (3). P. 523.

[Вернуться](#)

199

Шапорина Л. Дневники. Т. 1. С. 94.

[Вернуться](#)

200

Barber J. Working-Class Culture and Political Culture in the 1930s // *The Culture of the Stalin Period*, edited by Hans Guenther. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 1990. P. 10; *Максудов С.* Демография «Великого перелома» 1929–1933.

[Вернуться](#)

201

Неизвестная Россия. 20 век. Т. 2 / Под ред. В. А. Козлова. М.: Историческое наследие, 1992. С. 274; *Дневник И. Д. Фролова* // *Intimacy and Terror...* P. 40.

[Вернуться](#)

202

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 78; *Siegelbaum L., Sokolov A.* Stalinism as a Way of Life. P. 128–129.

[Вернуться](#)

203

Г. К. Орджоникидзе, член Политбюро, министр тяжелой промышленности, совершил самоубийство в феврале 1937 года.

[Вернуться](#)

204

Здесь саркастичный Аржиловский намекает на режим экономии ресурсов.

[Вернуться](#)

205

Дневник А. Аржиловского. 19 февраля 1937 года.

[Вернуться](#)

206

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 345.

[Вернуться](#)

207

HPSSS. Schedule A. Vol. 11. Case 143. P. 30; Schedule A. Vol. 36. Case 431. P. 17.

[Вернуться](#)

208

Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 163.

[Вернуться](#)

209

Например, «Я, орденоносец Гаврилов А. А., прочитал проект Конституции. Все указанные пункты с великой радостью одобряю... Еще раз спасибо нашей великой партии и правительству, вождю народов т. Сталину за избавление от ига капитализма». Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 804–805.

[Вернуться](#)

210

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 52.

[Вернуться](#)

211

Трудодень – мера труда в колхозах, оплачивался частично деньгами, частично натуральными продуктами.

[Вернуться](#)

212

Совершенно секретно. Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). Спецсообщение об отрицательных проявлениях в ходе отчетной кампании советов и обсуждении проекта Конституции СССР в Саратовской области. 15 ноября 1936 года // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 7–8.

[Вернуться](#)

213

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 355.

[Вернуться](#)

214

Шапорина Л. Дневники. Т. 1. С. 92, 182.

[Вернуться](#)

215

Kotkin S. Magnetic Mountain.

[Вернуться](#)

216

HPSSS. Schedule B. Vol. 16. Case 358. P. 3.

[Вернуться](#)

217

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 125; РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 232. Л. 53; *Берхин И. Б.* К истории разработки Конституции СССР, 1936 г. // *Строительство Советского государства* / Под ред. Е. Н. Городецкого и др. М.: Государственное издательство, 1972. С. 63–80.

[Вернуться](#)

218

РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 232. Л. 83.

[Вернуться](#)

219

Hellbeck J. Liberation from Autonomy. P. 49–63.

[Вернуться](#)

220

После Гражданской войны белогвардейцы бежали за границу.

[Вернуться](#)

221

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 2059. Л. 47–48, 61, 63.

[Вернуться](#)

222

Стародубцев А. Ф. Отклики населения Ленинграда на заключение советско-германского договора о ненападении в августе 1939 г. Миф и реальность // Политическая история России: прошлое и современность: исторические чтения. Вып. IX. «Гороховая, 2» – 2011. СПб.: Норма, 2012. С. 94.

[Вернуться](#)

223

HPSSS. Schedule A. Vol. 34. Case 494. P. 28.

[Вернуться](#)

224

ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 8; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 284.

[Вернуться](#)

225

Hellbeck J. Speaking Out. P. 83.

[Вернуться](#)

226

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 16, 259; *Fitzpatrick Sh.* Supplicants and Citizens: Public letter-writing in Soviet Russia in the 1930s // *Slavic Review*. Vol. 55. № 1. Spring 1996. P. 78–105.

[Вернуться](#)

227

Rittersporn G. T., Rolf M., Behrends J. C. Open Spaces and Public Realm: Thoughts on the Public Sphere in Soviet-Type Systems // *Public*

Spheres in Soviet-Type Societies / Ed. by G. T. Rittersporn, M. Rolf and J. C. Behrends. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. P. 423–452.

[Вернуться](#)

228

Osterhammel J. The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014. P. 596–597.

[Вернуться](#)

229

НКВД сообщало: «В станице Новомысской хором руководит бывший белогвардеец, эмигрант, псаломщик Меркулов... Меркулов завербовал в хор почти исключительно белогвардейцев и церковников. Наиболее близким кружковцам Меркулов заявляет: „Я умею с ‘ними’ обходиться, надо уметь с этой сворой жить и это иго переживать. Я вот управляю хором, танцую, на меня смотрят как на советского человека, но у меня все дрожит от злости“» (Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 319).

[Вернуться](#)

230

Viola L. Popular Resistance in the Stalinist 1930s. P. 45–69.

[Вернуться](#)

231

Шкаровский М. В. Феномен Александро-Невского братства. 1918–1932 // Александро-Невское братство. URL: <http://www.anbratstvo.ru/content/m-v-shkarovskiy-fenomen-aleksandro-nevskogo-bratstva>.

[Вернуться](#)

232

Ленин В. И. Письмо И. В. Сталину. 26 августа 1921 г. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 141–142.

[Вернуться](#)

233

Марков О. Екатерина Павловна Пешкова и ее помощь политзаключенным // Память: Исторический сборник. 1976. № 1. С. 314–319.

[Вернуться](#)

234

Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. С. 752.

[Вернуться](#)

235

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 52.

[Вернуться](#)

236

Miller F. J. Folklore for Stalin; *Пясковский А. В.* Ленин в русской народной сказке и восточной легенде. Ленинград, 1930; Ленин в фольклоре. Памяти В. И. Ленина. 1924–1934 / Под ред. М. К. Азадовского. М.: Государственное издательство, 1934.

[Вернуться](#)

237

Almond G. A., Verba S. The Civic Culture. P. 164.

[Вернуться](#)

238

См.: *Waterlow J.* It's only a joke, Comrade! Humour, Trust and Everyday Life under Stalin, Oxford: Oxford University Press, 2018; особенно гл. 2 об анекдотах.

[Вернуться](#)

239

Fitzpatrick Sh. Popular Opinion in Russia. P. 24–25; *Davies S.* Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 183.

[Вернуться](#)

240

Fitzpatrick Sh., Lüdtke A. Energizing the Everyday. On the Breaking and Making of Social Bonds in Nazism and Stalinism // Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared / Ed. by M. Geyer and Sh. Fitzpatrick. New York: Cambridge University Press, 2009. P. 266–301.

[Вернуться](#)

241

Rittersporn G. T., Rolf M., Behrends J. C. Open Spaces and Public Realm. P. 448–450.

[Вернуться](#)

242

Fitzpatrick Sh. Popular Opinion under Communist Regimes // The Oxford Handbook of the History of Communism / Ed. by S. A. Smith. New

York: Oxford University Press, 2014. P. 379–380.

[Вернуться](#)

243

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 209, 210; опубликовано в: Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925–1936 гг. Сб. док. / Сост. Л. Кошелева, В. Лельчук, и др. М.: Молодая Гвардия, 1996. С. 253–254. Подчеркнутое выделено Сталиным.

[Вернуться](#)

244

Velikanova O. Popular Perceptions of Soviet Politics in the 1920s. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. P. 172–175.

[Вернуться](#)

245

Соколов А. К. Конституция 1936 года и культурное наследие сталинского социализма // Социология истории. СПб.: Алитея, 2009. С. 137–163; *Getty A.* State and Society under Stalin. P. 23.

[Вернуться](#)

246

Getty A. State and Society under Stalin. P. 23; *Fitzpatrick Sh.* Everyday Stalinism. New York: Oxford University Press, 1999. P. 178.

[Вернуться](#)

247

Медушевский А. Н. Как Сталину удалось обмануть Запад. С. 113.

[Вернуться](#)

248

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 153–154; *Shearer D., Khaustov V.* Stalin and the Lubianka. P. 143–147.

[Вернуться](#)

249

Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959. P. 285.

[Вернуться](#)

250

Solomon P. H. Soviet Criminal Justice under Stalin. P. 191–194.

[Вернуться](#)

251

Великанова О. Образ Ленина в массовом восприятии советских людей по архивным материалам. Lewiston, NY: Edwin Mellen, 2001. С. 51–52, 67–89.

[Вернуться](#)

252

По словам Роуз, в долговременных системах поддержка становится привычкой, потому что это единственное, что знают люди: *Rose R., Mishler W., Munro N.* Popular Support for an Undemocratic Regime. P. 16.

[Вернуться](#)

253

Hoffman D. L. Cultivating the Masses. P. 207; *Velikanova O.* The First Stalin Mass Operation (1927) // The Soviet and Post-Soviet Review. 2013. № 40 (1). P. 73, 88; *Getty A.* State and Society under Stalin. P. 34.

[Вернуться](#)

254

Пришвин обыгрывает слово «осанна» (используемое в хвалебных молитвах и небуквально переводимое как благодарное «славься!») и цитату из песни Симеона Богоприимца: «Ныне отпускаеши с миром раба твоего» (Лука 2:29).

[Вернуться](#)

255

Пришвин М. Дневники, 1936–1937. Санкт-Петербург: Росток, 2010. С. 298, 382.

[Вернуться](#)

256

Priestland D. Stalinism and the Politics of Mobilization: Ideas, Power, and Terror in Inter-War Russia. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 35.

[Вернуться](#)

257

Социальная мобилизация в сталинском обществе (конец 1920 – 1930 годы) / Под ред. С. Красильников. Новосибирск: НГУ, 2013. С. 20; *Тольц М.* Семья в Советской России: аборт и разводы // Эхо Москвы. Цена революции. 2016. 25 сентября. URL: <http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1843808-echo/>.

[Вернуться](#)

258

Brooks J. Thank You, Comrade Stalin! P. 74.

[Вернуться](#)

259

de Jasay A. The State. Ch. 4.5. URL:
<https://oll.libertyfund.org/titles/jasay-the-state>.

[Вернуться](#)

260

Дневник Н. В. Устрялова. Цит. по: Прожито: корпус дневников.
URL: <https://prozhito.org/person/70>.

[Вернуться](#)

261

Schloegel K. Moscow, 1937. P. 226.

[Вернуться](#)

262

Запись от 8 декабря 1936 г. Дневник Г. В. Штанге цит. по: *Intimacy and Terror...* P. 181. Муж Штанге был арестован и отсидел срок в тюрьме в 1928 году, поэтому она, возможно, была очень осторожна в дневнике. В ее записях мы находим в основном нейтральные и позитивные слова о повседневной жизни и скудные заметки о политике.

[Вернуться](#)

263

Дневник А. Аржиловского. 8 декабря 1936 года. Аржиловский имеет в виду навешивание ярлыков и стигматизацию определенных групп населения.

[Вернуться](#)

264

Schloegel K. Moscow, 1937. P. 224.

[Вернуться](#)

265

Дневник А. Аржиловского. 1 февраля 1937 года.

[Вернуться](#)

266

Там же. 1 декабря 1936; 9 апреля 1937.

[Вернуться](#)

267

Хлевнюк О. Хозяин. С. 248–249.

[Вернуться](#)

268

British F. O. 371. 1936. Vol. 20351. P. 30.

[Вернуться](#)

269

Davies R. W. The Industrialisation of Soviet Russia. P. 321.

[Вернуться](#)

270

Дневник Г. В. Штанге. Р. 209.

[Вернуться](#)

271

Manning R. T. The Soviet Economic Crisis of 1936–1940 and the Great Purges // *Stalinist Terror: New Perspectives* / Ed. by J. A. Getty and R. T. Manning. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 132; *Harrison M., Davies R. W.* The Soviet Military-Economic Effort during the Second Five-Year Plan (1933–1937) // *Europe-Asia Studies*. 1997. № 49 (3).

[Вернуться](#)

272

Davies R. W. The Industrialisation of Soviet Russia. P. 321, 326.

[Вернуться](#)

273

Manning R. T. The Soviet Economic Crisis. P. 135, 141.

[Вернуться](#)

274

Там же. P. 118, 120; *Davies R. W.* The Industrialisation of Soviet Russia. P. 353.

[Вернуться](#)

275

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 374–376; ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 41; *Хаустов В., Самуэльсон Л.* Сталин, НКВД и репрессии. С. 159.

[Вернуться](#)

276

Дневник А. Аржиловского. Записи от 4, 6 декабря 1936 года, 28 января, 2, 10, 11, 18, 23 февраля, 1, 6 марта 1937 года.

[Вернуться](#)

277

Davies R. W. The Industrialisation of Soviet Russia. P. 353. Урожай был хорошим на юге и в Западной Сибири.

[Вернуться](#)

278

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 367–381; *Хаустов В., Самуэльсон Л.* Сталин, НКВД и репрессии. С. 158.

[Вернуться](#)

279

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 592. Л. 33. 12 апреля 1937.

[Вернуться](#)

280

Запись допроса, 25 февраля 1937 // Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 317–319. Речь идет о госзакупках зерна у крестьян.

[Вернуться](#)

281

По неполным данным колхозов, в 1935 году было собрано 571,3 млн центнеров зерна и бобов, в 1936 году – 464,8 млн центнеров (Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 27).

[Вернуться](#)

282

Там же; *Davies R. W.* The Industrialisation of Soviet Russia. P. 365.

[Вернуться](#)

283

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 30; *Хлевнюк О.* Хозяин. С. 632, 639, 648, 674, 696; *Davies R. W.* The Industrialisation of Soviet Russia. P. 370–381.

[Вернуться](#)

284

Osokina E. Our Daily Bread. С. 162.

[Вернуться](#)

285

Davies R. W. The Industrialisation of Soviet Russia. P. 364.

[Вернуться](#)

286

Manning R. T. The Soviet Economic Crisis. P. 122–123, 131; *Davies R. W.* The Industrialisation of Soviet Russia. P. 352, 422.

[Вернуться](#)

287

Osokina E. Our Daily Bread. С. 164.

[Вернуться](#)

288

Osokina E. Our Daily Bread. С. 161; Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 794.

[Вернуться](#)

289

Davies R. W. The Industrialisation of Soviet Russia. P. 347, 349.

[Вернуться](#)

290

Письма во власть, 1928–1939 // Под ред. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов, и О. В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2002. С. 312–313. Беседа с французским журналистом Шастенэ была опубликована в «Известиях» 24 марта 1936 года.

[Вернуться](#)

291

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 280, 332; ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1850. Л. 49; *Fitzpatrick Sh.* Stalin's Peasants. С. 145–148.

[Вернуться](#)

292

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 69.

[Вернуться](#)

293

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 279, 292;
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1850. Л. 63, 258.

[Вернуться](#)

294

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 592. Л. 57–60.

[Вернуться](#)

295

Там же.

[Вернуться](#)

296

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 111–113.

[Вернуться](#)

297

Davies R. W. The Industrialisation of Soviet Russia. P. 353.

[Вернуться](#)

298

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 27.

[Вернуться](#)

299

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 61.

[Вернуться](#)

300

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 327.

[Вернуться](#)

301

Там же. С. 307, 322–327.

[Вернуться](#)

302

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 75, 78.

[Вернуться](#)

303

Там же. Д. 1852. Л. 132.

[Вернуться](#)

304

Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии. С. 157–158.

[Вернуться](#)

305

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 845, 848.

[Вернуться](#)

306

Viola L. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 218.

[Вернуться](#)

307

Луддизм были социальным движением британских текстильщиков начала XIX века – они уничтожали механизированные станки, которые, по их мнению, оставляли их без работы.

[Вернуться](#)

308

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 141.

[Вернуться](#)

309

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1850. Л. 136, 238, 39; *Коваль Н.* Путь к нищете. С. 237.

[Вернуться](#)

310

Там же. Л. 161, 204.

[Вернуться](#)

311

Правда. 1936. 5 августа.

[Вернуться](#)

312

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 277, 275, 313;
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1850. Л. 136.

[Вернуться](#)

313

Viola L. Peasant Rebels under Stalin. P. 218.

[Вернуться](#)

314

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1850. Л. 48.

[Вернуться](#)

315

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 303, 309.

[Вернуться](#)

316

Правда. 1936. 6 ноября.

[Вернуться](#)

317

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 345.

[Вернуться](#)

318

Орлов и Долгова предлагают следующие категории при анализе советской политической культуры: традиционный, западно-модернистский и советский элементы. К последнему относятся коммунистическая эсхатология, культ лидера (вождизм), конфликтное сознание и эгалитаризм. См.: Орлов И. Б., Долгова Е. О. Политическая культура россиян в XX веке.

[Вернуться](#)

319

Hoffmann D. L. Stalinist Values. P. 45–47.

[Вернуться](#)

320

Harvard Project on the Soviet Social System (HPSSS). Harvard College Library Digital Collection. URL: <http://library.harvard.edu/collections/hpsss/index.html>. Schedule A. Vol. 1. Case 5. P. 53.

[Вернуться](#)

321

HPSSS. Schedule A. Vol. 34. Case 109. P. 34.

[Вернуться](#)

322

Ibid. Vol. 25. Case 494. P. 49.

[Вернуться](#)

323

Solomon P. H. Soviet Criminal Justice under Stalin. P. 274, 297.

[Вернуться](#)

324

Getty A. State and Society under Stalin. P. 25.

[Вернуться](#)

325

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 389–435.

[Вернуться](#)

326

HPSSS. Schedule A. Vol. 34. Case 109. P. 34; Vol. 29. Case 633. P. 25;
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 232. Л. 57, 86.

[Вернуться](#)

327

Solomon P. H. Soviet Criminal Justice under Stalin. P. 185–191.

[Вернуться](#)

328

British F. O. 371. 1936. Vol. 20351. P. 122–123; *Solomon P. H.* Soviet Criminal Justice under Stalin. P. 186.

[Вернуться](#)

329

Ibid. P. 185.

[Вернуться](#)

330

См., например: ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 207. Л. 146.

[Вернуться](#)

331

Палибин Н. В. Записки советского адвоката. 20-е – 30-е годы. Paris: YMCA-Press, 1988. С. 12.

[Вернуться](#)

332

Советская Юстиция. 1936. 26 сентября.

[Вернуться](#)

333

Solomon P. H. Soviet Criminal Justice under Stalin. P. 286–297.

[Вернуться](#)

334

Советская Юстиция. 1936. 5 ноября.

[Вернуться](#)

335

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 225. Л. 93.

[Вернуться](#)

336

Burbank J. Russian Peasants Go to Court: Legal Culture in the Countryside, 1905–1917. Bloomington: Indiana University Press, 2004. P. 72.

[Вернуться](#)

337

«Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по решению суда или с санкции прокурора».

[Вернуться](#)

338

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 226. Л. 131.

[Вернуться](#)

339

Там же. Л. 75.

[Вернуться](#)

340

Чудаков А. Ложится мгла на старые ступени. С. 106.

[Вернуться](#)

341

Getty A. State and Society under Stalin. P. 25.

[Вернуться](#)

342

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 207. Л. 191; Д. 147. Л. 67; Оп. 40. Д. 40. Л. 20; Ф. 1235. Оп. 76. Д. 153. Речь идет о праве на «гражданский арест», узаконенном в юрисдикциях англосаксонских стран. Понятие задержания не уполномоченными на то лицами существует в Российской Федерации, оно регулируется Уголовным Кодексом.

[Вернуться](#)

343

Письма во власть. 1928–1939 / Под ред. А. Я. Лившин и др. М.: РОССПЭН, 2002. С. 321.

[Вернуться](#)

344

HPSSS. Schedule A. Vol. 9. Case 118. P. 23–24.

[Вернуться](#)

345

HPSSS. Schedule A. Vol. 36. Case 492. P. 54.

[Вернуться](#)

346

Dubin B. The Worth of Life and the Limits of Law: Russian Opinions on the Death Penalty, Russian Laws, and the System of Justice // Russian Social Sciences Review. 2010. № 51 (3). P. 83.

[Вернуться](#)

347

ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 6. Д. 6916. Л. 80.

[Вернуться](#)

348

Izmozik V. S. Voices from the Twenties: Private Correspondence Intercepted by the OGPU // *Russian Review*. 1996. № 55 (2). P. 289.

[Вернуться](#)

349

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 529. Л. 280; ГАРФ. Ф. 396. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.

[Вернуться](#)

350

Там же. Оп. 84. Д. 916. Л. 2–7.

[Вернуться](#)

351

Там же. Оп. 21. Д. 3075. Л. 20; Оп. 85. Д. 354. Л. 14; Крестьянские истории / Под ред. С. Крюковой. М.: РОССПЭН, 2001. С. 208–209; Трагедия советской деревни. Т. 2. С. 577; *Климин И. И.* Российское крестьянство в годы новой экономической политики (1921–1927). Т. 1. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2007. С. 180.

[Вернуться](#)

352

Male D. J. Russian Peasant Organization before Collectivization: A Study of Commune and Gathering, 1925–1930. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. P. 99.

[Вернуться](#)

353

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 175–184.

[Вернуться](#)

354

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1755. Л. 118, 136–137, 140–141.

[Вернуться](#)

355

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 226. Л. 162.

[Вернуться](#)

356

Там же. Ф. 1235. Оп. 76. Д. 161. Л. 230; Правда. 1936. 27 сентября.

[Вернуться](#)

357

Там же. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 207. Л. 172; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. P. 346.

[Вернуться](#)

358

British F. O. 371. 1936. Vol. 20351. P. 48.

[Вернуться](#)

359

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1858. Л. 230; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 73; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 340–341, 346, 350, 364.

[Вернуться](#)

360

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 226. Л. 162.

[Вернуться](#)

361

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 83–85; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 226. Л. 160; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 216.

[Вернуться](#)

362

Курляндский И. Сталин, власть, религия. М.: Кучково Поле, 2011. С. 488.

[Вернуться](#)

363

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1858. Л. 156; Д. 2664. Л. 270.

[Вернуться](#)

364

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 158.

[Вернуться](#)

365

Организационный отдел Президиума ЦИК СССР. Цифровая сводка. Количество предложений к Проекту Конституции СССР [полученных до 15 ноября 1936 года]. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 156–160. См. таблицы 1 и 2 в главе 12.

[Вернуться](#)

366

Конституция РСФСР. 1918. Статья 4, глава 13, № 65. URL: <https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/>.

[Вернуться](#)

367

Сталин И. В. Доклад о проекте конституции СССР. М.: ОГИЗ, 1947. С. 31.

[Вернуться](#)

368

Smith S. A. The Russian Revolution: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 131.

[Вернуться](#)

369

Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism. P. 249; *Красильников С.* На изломах социальной структуры: Маргиналы в послереволюционном

российском обществе (1917 – конец 1930-х годов). Новосибирск: НГУ, 1998. Таблица 1 и далее; РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 247. Л. 29.

[Вернуться](#)

370

Добкин А. Лишенцы, 1918–1936 // Звенья: Исторический альманах. Т. 2. М.: Феникс-Атенеум, 1992. С. 606.

[Вернуться](#)

371

Alexopoulos G. The Ritual Lament: A Narrative of Appeal in the 1920s and 1930s // Russian History. 1997. № 24 (1–2). P. 127.

[Вернуться](#)

372

Дневник А. Аржиловского. 9 апреля 1937 года, 31 октября 1936 года.

[Вернуться](#)

373

Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии. С. 66. 52, 68.

[Вернуться](#)

374

ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 9.

[Вернуться](#)

375

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 86; ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1858. Л. 167; Общество и власть. 1930-е годы / Под ред. А. Соколова. М.: РОССПЭН, 1998. С. 137.

[Вернуться](#)

376

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 81. Л. 53, 67.

[Вернуться](#)

377

Там же. Оп. 76. Д. 153. Л. 328; Ф. 3316. Оп. 8. Д. 225. Л. 3; Ф. 3316. Оп. 41. Д. 81. Л. 53; ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1772. Л. 51.

[Вернуться](#)

378

Политбюро и крестьянство: Высылка, Спецпоселение, 1930–1940 / Под ред. Н. Покровского, В. Данилова, С. Красильникова и Л. Виолы. Т. 2. М.: РОССПЭН, 2006. С. 47, 310, 532, 797.

[Вернуться](#)

379

Там же. С. 22; *Viola L. The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin's Special Settlements*. Oxford: Oxford University Press, 2007. С. 155–159.

[Вернуться](#)

380

Политбюро и крестьянство. Т. 2. С. 569, 1041, 579. Массовый выезд спецпоселенцев начался после Постановления ЦИК от 27 мая 1934 года «О порядке восстановления в гражданских правах высланных

кулаков», принятого в связи с приближением пятилетнего срока высылки.

[Вернуться](#)

381

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 283;
Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 240–241.

[Вернуться](#)

382

Пришвин М. Дневники. 2010. С. 622–623.

[Вернуться](#)

383

Политбюро и крестьянство. Т. 2. С. 83, 89, 99, 561.

[Вернуться](#)

384

Там же. С. 506, 508, 569–572.

[Вернуться](#)

385

Докладная записка полномочного представителя ОГПУ по Уральской области Г. П. Матсона начальнику СОУ (Секретного оперативного управления) ОГПУ Е. Г. Евдокимову «О состоянии кулацкой ссылки». 19 декабря 1930 г. // Политбюро и крестьянство. Т. 2. С. 506.

[Вернуться](#)

386

Там же. С. 508, 561.

[Вернуться](#)

387

Там же. С. 661, 579, 36.

[Вернуться](#)

388

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 123.

[Вернуться](#)

389

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 40. Д. 14. Л. 33.

[Вернуться](#)

390

Geldern J. von, Siegelbaum L. The Second Kolkhoz Charter // Seventeen Moments in Soviet History. URL: <http://soviethistory.msu.edu/1936-2/second-kolkhoz-charter/>.

[Вернуться](#)

391

Разъяснение ГУЛАГ местным органам о применении положений Устава сельхозартели к трудпоселенцам, восстановленным в избирательных правах, август 1935 года // Политбюро и крестьянство. Т. 2. С. 581.

[Вернуться](#)

392

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 365.

[Вернуться](#)

393

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 49, 51; Ф. 5. Оп. 1. Д. 232. Л. 51;
Общество и власть. 1930-е годы. С. 139.

[Вернуться](#)

394

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 40. Д. 14. Л. 57.

[Вернуться](#)

395

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 283, 285.

[Вернуться](#)

396

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 86. Л. 2а, 2а об., 2б, 2б об.; Ф. 3316. Оп.
40. Д. 14. Л. 33, 57.

[Вернуться](#)

397

Разъяснения к конституции, декабрь 1936 – январь 1937 // ГАРФ.
Ф. 3316. Оп. 29. Д. 793. Л. 11, 17, 32, 45, 59, 73.

[Вернуться](#)

398

Политбюро и крестьянство. Т. 2. С. 591.

[Вернуться](#)

399

Хлевнюк О. Хозяин. С. 244.

[Вернуться](#)

400

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 29. Д. 793. Л. 71–73.

[Вернуться](#)

401

Политбюро и крестьянство. Т. 2. С. 593.

[Вернуться](#)

402

Там же. С. 21–22, 38.

[Вернуться](#)

403

Общее число спецпоселенцев к 1 октября 1938 года было 859,366:
Ивницкий Н. А. Судьба раскулаченных в СССР. М.: Собрание, 2004. С.
143, 147; Политбюро и крестьянство. Т. 2. С. 603.

[Вернуться](#)

404

Viola L. The Unknown Gulag. P. 163–164.

[Вернуться](#)

405

HPSSS. Schedule A. Vol. 36. Case 142. P. 45.

[Вернуться](#)

406

Хлевнюк О. Хозяин. С. 245–247; Политбюро и крестьянство. Т. 2. С. 111.

[Вернуться](#)

407

Политбюро и крестьянство. Т. 2. С. 1010, 1013.

[Вернуться](#)

408

Ивницкий Н. А. Судьба раскулаченных в СССР. С. 149.

[Вернуться](#)

409

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 7–8, 18–20, 63; Д. 2664. Л. 232, 270.

[Вернуться](#)

410

Reynolds D. U. S. Military Intelligence Reports: Soviet Union, 1919–1941. Frederick, MD: University Publications of America, 1984. Reel X. P. 0366, 0439; HPSSS. Schedule A. Vol. 36. Case 1705. P. 68.

[Вернуться](#)

411

HPSSS. Schedule A. Vol. 13. Case 167. P. 3.

[Вернуться](#)

412

Goldman W. Z. Terror and Democracy. P. 20, 31.

[Вернуться](#)

413

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 426.

[Вернуться](#)

414

Дневник А. Аржиловского. 26 ноября 1936 года.

[Вернуться](#)

415

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 364.

[Вернуться](#)

416

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2685. Л. 1–2.

[Вернуться](#)

417

Там же. Д. 1860. Л. 19–20.

[Вернуться](#)

418

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 354–355, 363–364.

[Вернуться](#)

419

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 3, 14-5; Д. 2664. Л. 231;
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 354–355, 365.

[Вернуться](#)

420

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 354.

[Вернуться](#)

421

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2664; Общество и власть.
Российская провинция. Т. 2. С. 447.

[Вернуться](#)

422

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 385, 447;
Yekelchuk S. Stalin's Citizens: Everyday Politics in the Wake of Total War.
Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 199–202.

[Вернуться](#)

423

Сообщение председателя Горьковского крайисполкома Ю. М.
Кагановича о подготовке чрезвычайных съездов советов на X Пленуме
крайкома ВКП(б) 28 сентября 1936 года // Общество и власть.
Российская провинция. Т. 2. С. 384–385.

[Вернуться](#)

424

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 346–358.

[Вернуться](#)

425

Там же. С. 340–341, 346, 350.

[Вернуться](#)

426

Getty A. State and Society. P. 29; *Getty A.* Practicing Stalinism. Ch. 7.

[Вернуться](#)

427

В указе подчеркивалась подготовка церковников и верующих к выборам в соответствии с конституцией. Из 31 359 арестованных в августе – ноябре 1937 года в ходе массовых операций против церковников верующие составляли 64 процента, остальные – служители церкви.

[Вернуться](#)

428

Goldman W. Z. Terror and Democracy. P. 147–148.

[Вернуться](#)

429

Getty A. Pre-election Fever. P. 229.

[Вернуться](#)

430

История выборов в Верховный Совет в 1937 году заслуживает дальнейшего изучения с тщательным анализом октябрьского Пленума

ЦК. См.: *Getty A. Pre-election Fever; Brandenberger D. Propaganda State in Crisis; Павлова И. В. 1937. Выборы как мистификация, террор как реальность // Вопросы истории. 2003. № 10.*

[Вернуться](#)

431

Шапорина Л. Дневники. Т. 1. С. 219. Открыто смеяться было опасно, учитывая полицейский надзор.

[Вернуться](#)

432

«В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самостоятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества...»

[Вернуться](#)

433

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 52; ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 7.

[Вернуться](#)

434

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 52.

[Вернуться](#)

435

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 207. Л. 195; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 52; Ф. 5. Оп. 1. Д. 232. Л. 79.

[Вернуться](#)

436

Великанова О. Разочарованные мечтатели. С. 140–185; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 79, 83; Ф. 5. Оп. 1. Д. 232. Л. 74, 79; ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 8; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 40. Д. 14. Л. 69–70; Общество и власть. 1930е годы. С. 14.

[Вернуться](#)

437

Beetham D. Max Weber... P. 188.

[Вернуться](#)

438

Известия. 1936. 24 марта.

[Вернуться](#)

439

Письма во власть. С. 314; Правда. 1936. 1, 4, 6 ноября.

[Вернуться](#)

440

Сталин И. В. Доклад о проекте конституции СССР. С. 21.

[Вернуться](#)

441

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 52.

[Вернуться](#)

442

Правда. 1936. 14 июня.

[Вернуться](#)

443

РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 232. Л. 49; Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 49.

[Вернуться](#)

444

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 76. Д. 153. Л. 73 оборот; Ф. 3316. Оп. 8. Д. 225. Л. 73, 114; Д. 226. Л. 152.

[Вернуться](#)

445

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 822; Крестьянская газета. 1936. 17 августа.

[Вернуться](#)

446

Gibson J. I., Duch R. M. Emerging Democratic Values in Soviet Political Culture // Public Opinion and Regime Change: The New Politics of Post-Soviet Societies / Ed. by A. H. Miller, W. M. Reisinger and V. L. Hesli. Boulder, CO: Westview, 1993. P. 88; *Zorkaia N.* 'Nostalgia for the Past,' or What Lessons Young People Could Have Learned and Did Learn / Russian Social Science Review. 2010. № 51 (2). P. 24.

[Вернуться](#)

447

Lukin A. The Political Culture of the Russian «Democrats». P. 265.

[Вернуться](#)

448

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 207. Л. 191; Д. 81. Л. 84; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 83–85.

[Вернуться](#)

449

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 592. Л. 25.

[Вернуться](#)

450

Селищев А. М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком (1917–1926). М.: Работник просвещения, 1928. С. 74, 80.

[Вернуться](#)

451

Дневник А. Аржиловского. 27 февраля 1937 года.

[Вернуться](#)

452

Hoffmann D. L. Stalinist Values. P. 42–43, 67; *Clark K.* Petersburg: Crucible of Cultural Revolution. P. 208; *Smith S. A.* The Social Meaning of Swearing: Workers and Bad Language in Late Imperial and Early Soviet

Russia // Past and Present. 1998. № 160 (1). P. 167–202; Комсомольская правда. 1925. № 162; *Laursen E.* Bad Words Are Not Allowed! P. 491–513.

[Вернуться](#)

453

Rittersporn G. Anguish, Anger, and Folkways in Soviet Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2014. P. 228.

[Вернуться](#)

454

Шапорина Л. Дневник. Т. 2. С. 33.

[Вернуться](#)

455

Rittersporn G. Anguish, Anger, and Folkways in Soviet Russia. P. 205.

[Вернуться](#)

456

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 76. Д. 153. Л. 126; Ф. 3316. Оп. 8. Д. 225. Л. 75; Оп. 41. Д. 207. Л. 16; Оп. 40. Д. 40. Л. 13.

[Вернуться](#)

457

Там же. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 225. Л. 75, 135; Оп. 41. Д. 85. Л. 42–43, 45–46; Д. 86. Л. 19; Оп. 40. Д. 15. Л. 117; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 56, 87.

[Вернуться](#)

458

Dubin B. The Worth of Life and the Limits of Law. P. 86.

[Вернуться](#)

459

Идея естественной автономии личности и достоинства занимает центральное место в современном западном самосознании.

[Вернуться](#)

460

Taylor Ch. Sources of the Self: The Making of Modern Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 211.

[Вернуться](#)

461

Smith S. A. Revolution and the People in Russia and China: A Comparative History. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 105–106; *Figes O., Kolonitsky B.* Interpreting the Russian Revolution. P. 115–116.

[Вернуться](#)

462

Alexopoulos G. Soviet Citizenship, More or Less. P. 514.

[Вернуться](#)

463

Добкин А. Лишенцы, 1918–1936 год. С. 620, 1928 год; С. 622, 1929 год.

[Вернуться](#)

464

Меерович М. Наказание жилищем: Жилищная политика в СССР как средство управления людьми (1917–1937 годы). М.: РОССПЭН, 2008. С. 196–197, 294–295.

[Вернуться](#)

465

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 29. Д. 793. Л. 12–14.

[Вернуться](#)

466

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 225. Л. 75, 149; Оп. 41. Д. 207. Л. 17; Д. 85. Л. 4, 11, 13–14, 18.

[Вернуться](#)

467

Разъяснения ЦИК по конституции // ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 29. Д. 793. Л. 11, 22, 30, 90, 119, 133.

[Вернуться](#)

468

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 82. Л. 1–2.

[Вернуться](#)

469

Reynolds D. U. S. Military Intelligence Reports. Приложение к отчету 10516 от 26 октября 1939 г.

[Вернуться](#)

470

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2487. Л. 61–62; *Petrone K.* Life Has Become More Joyous, Comrades. P. 200.

[Вернуться](#)

471

Fitzpatrick Sh. Tear off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005; *Tikhomirov A.* The Regime of Forced Trust: Making and Breaking Emotional Bonds between People and State in Soviet Russia, 1917–1941 // Slavonic and East European Review. 2013. № 91 (1). P. 117–118. Письма во власть, по словам А. Тихомирова, показали, что советские люди осознавали себя не только как просители и подданные, но и как индивидуумы и граждане.

[Вернуться](#)

472

Krylova A. The Tenacious Liberal Subject in Soviet Studies // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. № 1 (1). P. 119–146.

[Вернуться](#)

473

Dobrenko E. A., Savage J., Olson G. Socialism as Will and Representation. P. 700.

[Вернуться](#)

474

Almond G. A., Verba S. The Civic Culture. P. 25.

[Вернуться](#)

475

Getty A. Practicing Stalinism. P. 210; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 123.

[Вернуться](#)

476

Getty A. Practicing Stalinism. P. 210; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 123.

[Вернуться](#)

477

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 428; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 126. Л. 147.

[Вернуться](#)

478

Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism. P. 179; *Getty A.* State and Society under Stalin. P. 26–27; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 184. Л. 63.

[Вернуться](#)

479

К. Е. Порхоменко, Западная область, Гордеевский район // ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 40. Д. 14. Л. 33.

[Вернуться](#)

480

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 40. Д. 14. Л. 57; РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 593. Л. 138, 139. Калинин отдал распоряжение КПК проверить эти факты, неявно поддерживая Залещенко.

[Вернуться](#)

481

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 285, 287.

[Вернуться](#)

482

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 307.

[Вернуться](#)

483

К такому доносу со стороны спецпоселенца следует подходить критически, поскольку письма депортированных прочитывались комендантами. Эти письма часто использовались авторами для демонстрации лояльности и получения некоторых привилегий в жестоких условиях ссылки. Тем не менее, предупреждений о скрытых врагах было в избытке в комментариях. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 86. Л. 2а, 2а об., 2б, 2б об.

[Вернуться](#)

484

Известия. 1936. 23 ноября.

[Вернуться](#)

485

Там же. 6 июля.

[Вернуться](#)

486

Сталин И. В. Доклад о проекте конституции СССР. С. 30.

[Вернуться](#)

487

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 664. Л. 29.

[Вернуться](#)

488

Известия. 1936. 6 августа.

[Вернуться](#)

489

Dubin B. The Worth of Life and the Limits of Law. P. 80.

[Вернуться](#)

490

HPSSS. Schedule A. Vol. 12. Case 145. P. 59.

[Вернуться](#)

491

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 207. Л. 197, Воронежская область, с. Васильевка; РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 232. Л. 50, 65–67, 73.

[Вернуться](#)

492

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 76. Д. 158. Л. 11.

[Вернуться](#)

493

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 12–13; *Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants*. С. 125.

[Вернуться](#)

494

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 476, 560–564.

[Вернуться](#)

495

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 207. Л. 180, 197; Д. 147. Л. 52; Оп. 40. Д. 40. Л. 31, 94; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 50; Ф. 5. Оп. 1. Д. 232. Л. 50, 65–67; ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1772. Л. 17, 54.

[Вернуться](#)

496

Mironov B. Peasant Popular Culture and the Origins of Soviet Authoritarianism // Cultures in Flux: Lower-Class Values, Practices, and

Resistance in Late Imperial Russia / Ed. by S. Frank and M. D. Steinberg.
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. P. 54.

[Вернуться](#)

497

Председатель Горьковского райисполкома 28 сентября 1936 //
Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 386.

[Вернуться](#)

498

Сталин И. В. Доклад о проекте конституции СССР. С. 24.

[Вернуться](#)

499

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 26 оборот, 58.

[Вернуться](#)

500

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 425.

[Вернуться](#)

501

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 226, Л. 154, 120–176.

[Вернуться](#)

502

Там же. Оп. 41. Д. 207. Л. 152.

[Вернуться](#)

503

Panchenko A. Popular Orthodoxy' and Identity in Soviet and Post-Soviet Russia: Ideology, Consumption and Competition // Soviet and Post-Soviet Identities / Ed. by M. Bassin and C. Kelly. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 336.

[Вернуться](#)

504

Freeze G. L. The Stalinist Assault on the Parish, 1929–1941 // Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg: Neue Wege der Forschung / Ed. by M. Hildermeier, 208–232. Munich: Oldenburg Verlag, 1998. P. 215, 219.

[Вернуться](#)

505

Одинцов М. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма, 1917–1953. М.: РОССПЭН, 2014. С. 211–213; *Fitzpatrick Sh.* Everyday Stalinism. P. 119.

[Вернуться](#)

506

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 34.

[Вернуться](#)

507

Freeze G. L. The Stalinist Assault on the Parish. P. 214.

[Вернуться](#)

508

Максудов С. Демография «Великого перелома» 1929–1933.

[Вернуться](#)

509

Rittersporn G. Anguish, Anger, and Folkways in Soviet Russia. P. 156;
Rittersporn G., Rolf M., Behrends J. C. Sphären von Öffentlichkeit in Gesellschaften sowjetischen Typs: Zwischen partei-staatlicher Selbstinszenierung und kirchlichen Gegenwelten. Frankfurt am Main: P. Lang, 2003. P. 442.

[Вернуться](#)

510

Freeze G. L. The Stalinist Assault on the Parish. P. 210, 212, 227, 232.
Органы безопасности и профсоюзы регулярно сообщали о всплесках религиозности и сектантства в 1920-х годах, религиозной оппозиции и сопротивления в 1930–31 и 1935 годах, которые в основном были обусловлены систематическим закрытием церквей или приближением Пасхи.

[Вернуться](#)

511

ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 9; *Пришивин М.* Дневники, 1936–1937. С. 384, 388.

[Вернуться](#)

512

ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 84, 89, 91.

[Вернуться](#)

513

Freeze G. L. The Stalinist Assault on the Parish. P. 228.

[Вернуться](#)

514

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 285, 341–342.

[Вернуться](#)

515

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 139.

[Вернуться](#)

516

Там же. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 9–11, 83–86.

[Вернуться](#)

517

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 960.

[Вернуться](#)

518

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 342, 351, 274, 280–281, 322; ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 8.

[Вернуться](#)

519

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 225. Л. 92–93; Ф. 3316. Оп. 40. Д. 40. Л. 103; Д. 15. Л. 121; РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 4. Д. 55. Л. 19; Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 71; ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 7. Д. 1176. Л. 13, 24.

[Вернуться](#)

520

Там же. Ф. 1235. Оп. 76. Д. 153. Л. 124; Ф. 3316. Оп. 8. Д. 225. Л. 72.

[Вернуться](#)

521

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2486. Л. 36–37, 62, 83.

[Вернуться](#)

522

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 29. Д. 793. Л. 27, оборот.

[Вернуться](#)

523

Schloegel K. Moscow, 1937. P. 113.

[Вернуться](#)

524

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 664. Л. 1.

[Вернуться](#)

525

Дневник А. Аржиловского. 15 декабря 1936 года, 1 января 1937 года.
См. также: Дневник И. Д. Фролова // *Intimacy and Terror...* Р. 23.

[Вернуться](#)

526

Политбюро и крестьянство. С. 54, 924.

[Вернуться](#)

527

HPSSS. Schedule A. Vol. 1. Case 6. P. 38–40; Vol. 23. Case 470. P. 41–42; Vol. 14. Case 240. P. 40.

[Вернуться](#)

528

Шапорина Л. Дневники. Т. 2. С. 323.

[Вернуться](#)

529

Смит С. Небесные письма и рассказы о лесе: «суеверия» против большевизма // *Антропологический форум*. 2005. № 3. С. 300–302.

[Вернуться](#)

530

Курляндский И. Сталин, власть, религия. С. 486.

[Вернуться](#)

531

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 205.

[Вернуться](#)

532

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 859–861.

[Вернуться](#)

533

Freeze G. L. The Stalinist Assault on the Parish. P. 223, 225.

[Вернуться](#)

534

ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 77; Ф. 1235. Оп. 76. Д. 58. Л. 23; В сентябре 1937 года информационный бюллетень о подготовке к выборам информировал М. И. Калинина о 30 тысячах религиозных организаций в СССР, насчитывавших 600 тысяч членов.

[Вернуться](#)

535

Правда. 1937. 6 января.

[Вернуться](#)

536

Медушевский А. Сталинизм как модель социального конструирования // Российская история. 2010. № 6. С. 10.

[Вернуться](#)

537

ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 2, 5, 18.

[Вернуться](#)

538

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 954; *Torstensen T. V. Elder Sebastian of Optina. Platina, CA: St. Herman of Alaska Brotherhood, 1999. P. 46–47*; ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 1.

[Вернуться](#)

539

ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 103.

[Вернуться](#)

540

РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 4. Д. 121. Л. 1–2, 6, 9, 11; ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 111.

[Вернуться](#)

541

ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 32. Л. 7, 103–104, 110.

[Вернуться](#)

542

HPSSS. Schedule A. Vol. 12. Case 145. P. 60–61.

[Вернуться](#)

543

РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 4. Д. 80. Л. 36.

[Вернуться](#)

544

Дневник С. Подлубного // *Intimacy and Terror...* P. 293–333; *Hellbeck J. Liberation from Autonomy.* P. 49–63.

[Вернуться](#)

545

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 160; Д. 225. Л. 2.

[Вернуться](#)

546

Fitzpatrick Sh. Popular Opinion in Russia under Prewar Stalinism. P. 21–22.

[Вернуться](#)

547

Этот сложный процесс обсуждают Шейла Фицпатрик, Анна Крылова, Йохен Хелбек и другие в рамках исследований по советской субъектности.

[Вернуться](#)

548

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 859–861; *Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants.* P. 35, 205; *Кошелева А. Образ православных священнослужителей в светской и церковной периодической литературе во второй половине XIX века // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион: Гуманитарные науки.* 2014. № 2. С.

14–21; *Shkarovsky M.* The Russian Orthodox Church // Critical companion to the Russian Revolution. 1914–21 / eds. by E. Acton, V. Cherniaev, W. Rosenberg. London: Arnold, 1997. P. 427.

[Вернуться](#)

549

Panchenko A. ‘Popular Orthodoxy’ and Identity... P. 328.

[Вернуться](#)

550

Дневник Г. В. Штанге. P. 199.

[Вернуться](#)

551

Дневник А. Аржиловского. 15 декабря 1936 года.

[Вернуться](#)

552

Крапивин М. Ю. Непридуманная церковная история: Власть и церковь в Советской России (октябрь 1917 – конец 1930 годов). Волгоград: Перемена, 1997. С. 237; *Freeze G. L.* The Stalinist Assault on the Parish. P. 212.

[Вернуться](#)

553

Сталин И. В. Доклад о проекте конституции СССР. С. 30.

[Вернуться](#)

554

Синицын Ф. Л. Конституционные принципы свободы совести. С. 89.

[Вернуться](#)

555

Общество и власть. Российская провинция. Т. 2. С. 323–325.

[Вернуться](#)

556

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 347, 357, 365.

[Вернуться](#)

557

О процессе выдвижении кандидатов говорил Молотов в выступлении на Пленуме ЦК в октябре 1937 года. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 625. Л. 7.

[Вернуться](#)

558

Курляндский И. Сталин, власть, религия; *Хаустов В., Самуэльсон Л.* Сталин, НКВД и репрессии. С. 68.

[Вернуться](#)

559

Яковлев А. Н. По мощам и елей. М.: Евразия, 1995. С. 94–95; По другим оценкам в 1937–1938 годах 150 тысяч были арестованы «за веру», среди них 80 тысяч расстреляны.

[Вернуться](#)

560

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 225. Л. 75.

[Вернуться](#)

561

Yekelchik S. Stalin's Citizens. P. 11.

[Вернуться](#)

562

Solomon P. H. Soviet Criminal Justice under Stalin. P. 221–227.

[Вернуться](#)

563

Джорж Мосс выдвинул гипотезу, что окопный опыт немецких солдат в Первую мировую войну и их ожесточение, как результат, были причиной повышенного уровня политического насилия в Веймарской республике. Это ожесточение вымостило путь к нацизму и геноциду. Историки Советской России согласны, что опыт революции и гражданской войны был формирующим для большевистской партии, ее политики, но и, как видим, для всего населения. См.: *Mosse G. L.* Two World Wars and the Myth of the War Experience // *Journal of Contemporary History*. 1986. Vol. 21. № 4; *Bolshevik Culture: Experiment and Order in the Russian Revolution* / Ed. by A. Gleason, P. Kenez, R. Stites. Bloomington: Indiana University Press, 1989.

[Вернуться](#)

564

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 83–84; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 85. Л. 32.

[Вернуться](#)

565

Хлевнюк О. Хозяин. С. 243.

[Вернуться](#)

566

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 301.

[Вернуться](#)

567

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 85, Л. 38, 55, 60; Д. 147. Л. 67; Ф. 3316. Оп. 40. Д. 40. Л. 49, 101–102.

[Вернуться](#)

568

Rittersporn G. Anguish, Anger, and Folkways in Soviet Russia. P. 139.

[Вернуться](#)

569

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 82. Л. 13–15.

[Вернуться](#)

570

Выражение С. Екельчика. «Мы (школьники 1930-х годов. – О. В.) их должны были заочно ненавидеть, этих врагов трудового народа»: *Мирский Г.* Жизнь в трех эпохах. СПб.: Летний сад, 2001; цит. по: ЛитМир: электронная библиотека. URL: <https://www.litmir.me/bd/?b=239628>, стр. 1.

[Вернуться](#)

571

Историк Георгий Мирский вспоминал о 1930-х годах: «В мои школьные годы, например, такие понятия, как благородство, великодушие, благожелательность, воспитанность, милосердие, сострадание, терпимость, учтивость, деликатность были неизвестны в о о б щ е, эти слова можно было найти в дореволюционных книгах. Господствовал бесцеремонный и беспардонный стиль общения (так называемый рабоче-крестьянский), в противовес дворянско-интеллигентскому» (*Мирский Г.* Отвали, пасть порву! // Эхо Москвы: Блоги. 2015. 2 февраля. URL: https://echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1485400-echo/).

[Вернуться](#)

572

Правда. 1936. 27 октября.

[Вернуться](#)

573

Мирский Г. И все же – почему их расстреливали? // Эхо Москвы: Блоги. 2013. 9 марта. URL: https://echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1027608-echo/.

[Вернуться](#)

574

Письма во власть. С. 311.

[Вернуться](#)

575

Bailey F. G. The Peasant View of the Bad Life // *Peasants and Peasant Societies: Selected Readings* / Ed. by T. Shanin. New York: Blackwell, 1987. P. 314.

[Вернуться](#)

576

Письма во власть. С. 302–311.

[Вернуться](#)

577

Mosse G. L. Two World Wars and the Myth of the War Experience;
Булдаков В. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 1997.

[Вернуться](#)

578

Dubin B. The Worth of Life and the Limits of Law. P. 76, 85–86.

[Вернуться](#)

579

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2659. Л. 109.

[Вернуться](#)

580

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 207. Л. 163; Д. 126. Л. 46; Д. 136, Л. 12, 21.
[Вернуться](#)

581

Правда. 1936. 3 декабря.
[Вернуться](#)

582

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 136. Л. 5.
[Вернуться](#)

583

Verdery K. What Was Socialism and What Comes Next? Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. P. 63.
[Вернуться](#)

584

Siegelbaum L. H. ‘Dear Comrade, You Ask What We Need’: Socialist Paternalism and Soviet Rural ‘Notables’ in the Mid-1930s // *Slavic Review*. 1998. № 57 (1). P. 108.
[Вернуться](#)

585

HPSSS. Schedule A. Vol. 12. Case 145. P. 60; Schedule A. Vol. 13. Case 159. P. 74–76.
[Вернуться](#)

586

Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 381.

[Вернуться](#)

587

Великанова О. Образ Ленина в массовом восприятии советских людей... С. 215–225.

[Вернуться](#)

588

Тип экономики, основанный на неформальном обмене услугами, льготами или товарами, в отличие от бартерной экономики или рыночной экономики. Теоретические основы представлены в книге М. Мосса «Дар», впервые изданной в 1925 году: *Mauss M. The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. Eastford, CT: Martino Fine Books, 2011.* Советская и постсоветская практика обсуждалась в: *Ledeneva A. V. Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.*

[Вернуться](#)

589

Brooks J. Thank You, Comrade Stalin! P. xvi, 97, 105; Siegelbaum L. H. 'Dear Comrade, You Ask What We Need'. P. 118.

[Вернуться](#)

590

Коммуна (Воронеж). 1936. 2 июля.

[Вернуться](#)

591

Lewin M. The Making of the Soviet System. P. 43, 256, 274.

[Вернуться](#)

592

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 207. Л. 68.

[Вернуться](#)

593

Reese R. Why Stalin's Soldiers Fought: The Red Army Military Effectiveness in World War II. Lawrence: University Press of Kansas, 2011. P. 312–313. Риз отмечает: «Вне войны женщины не служили бы в вооруженных силах в большом количестве», но, по крайней мере, они выразили это желание в 1936 году.

[Вернуться](#)

594

*Krylova A. Stalinist Identity from the Viewpoint of Gender: Rearing a Generation of Professionally Violent Women-Fighters in 1930s Stalinist Russia // Gender and History 2004. № 16 (3). P. 627. Культурное влияние женщин-пилотов в 1930-е годы обсуждает Карен Петроне: *Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades.**

[Вернуться](#)

595

Великанова О. Разочарованные мечтатели. С. 107–115.

[Вернуться](#)

596

Brandenberger D. National Bolshevism. P. 112.

[Вернуться](#)

597

Шапорина Л. Дневник. Т. 1. С. 249; историк Веселовский записал 27 февраля 1918 года: «Самых различных чинов люди, несмотря на позор, неизвестность и возможные притеснения, не скрывают своей радости по поводу предстоящего прихода немцев. Большевистский террор, анархия и голод довели всех до того, что иноземное порабощение считают благом, освобождением от рабства, голода и т. д. На улицах, в трамваях, на жел. дорогах можно слышать простонародные вариации на тему: ну, что ж – не выгорело; нам все равно на кого работать; у хорошего хозяина (а немец считается таким) и скотине жить хорошо» (*Веселовский С. В.* Дневники, 1915–1923, 1944 // Вопросы истории. 2000. № 3. С. 103). То же мы слышим и в 1927 году: «Под властью поляков или англичан будет не хуже». РГАСПИ. Ф.17. Оп. 85. Д. 289. Л. 56.

[Вернуться](#)

598

Политбюро и крестьянство. С. 498, 507; ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2065. Л. 8, 63, 197; Д. 2064. Л. 46; Д. 2064. Л. 46; Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 752–753; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 299, 304, 313–314, 323, 333, 337–338, 360–361, 365; *Пришвин М.* Дневники, 1936–1937. С. 538.

[Вернуться](#)

599

British F. O. 371. 1936. Vol. 20351. P. 86 verso.

[Вернуться](#)

600

Общество и власть, 1930 годы. С. 158; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 82. Л. 3.

[Вернуться](#)

601

Yarskaia-Smirnova E., Romanov P. The Rhetoric and Practice of Modernization: Soviet Social Policy, 1917–1930s // *Amid Social Contradictions: Towards a History of Social Work in Europe* / Ed. by G. Hauss and D. Schulte. Opladen, Germany: Barbara Budrich, 2009. P. 10.

[Вернуться](#)

602

Almond G. A., Verba S. The Civic Culture. P. 22; *Gozman L., Etkind A.* The Psychology of Post-Totalitarianism in Russia. London: Centre for Research into Communist Economies, 1992. P. 41.

[Вернуться](#)

603

Mironov B. Peasant Popular Culture. P. 66–67; *Эллис Е.* Свидетелей нет. Воспоминания // *Российская и советская деревня первой половины XX века глазами крестьян.* М.: Русский Путь, 2009. С. 243–255, 321; *Dobrowolski K.* Peasant Traditional Culture // *Peasants and Peasant Societies.* P. 291.

[Вернуться](#)

604

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 226, л. 135; Оп. 40. Д. 40. Л. 3, 101; Оп. 41. Д. 136. Л. 12, 69; Ф. 1235. Оп. 76. Д. 153. Л. 136; ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1772. Л. 205-6; British FO. 371. 1936. Vol. 20351. P. 146. Британские дипломаты знали, что их частная переписка «неуклюже открывалась на почте».

[Вернуться](#)

605

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 225. Л. 79, 137; Д. 226. Л. 136; Оп. 41. Д. 207. Л. 165.

[Вернуться](#)

606

Там же. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 85. Л. 28; Д. 207. Л. 3, 66; Оп. 40. Д. 40. Л. 38; Ф. 1235. Оп. 76. Д. 153. Л. 102.

[Вернуться](#)

607

Hellbeck J. Liberation from Autonomy. P. 54.

[Вернуться](#)

608

Kopelev L. The Education of a True Believer. New York: Harper & Row, 1980.

[Вернуться](#)

609

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 8. Д. 222. Л. 160; *Getty A.* State and Society under Stalin. P. 25; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 127–129. Гетти проанализировал 2627 письма из Ленинградской и 474 – из Смоленской области.

[Вернуться](#)

610

Madison B. A. Social Welfare in the Soviet Union. Stanford, CA: Stanford University Press, 1968; *Caroli D.* Bolshevism, Stalinism, and Social Welfare (1917–1936) // *International Review of Social History*. 2003. № 48 (1). P. 27–54; *Hoffmann D. L.* Cultivating the Masses; *Yarskaia-Smirnova E., Romanov P.* The Rhetoric and Practice of Modernization. P. 150–164; *George V., Manning N.* Socialism, Social Welfare, and the Soviet Union. London: Routledge, 1980.

[Вернуться](#)

611

Kotkin S. Modern Times. The Soviet Union and the Interwar Conjuncture // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2001. № 2 (1). P. 145–146; *Madison B. A.* Social Welfare in the Soviet Union.

[Вернуться](#)

612

Hoffmann D. L. Cultivating the Masses. P. 57-8, 62; *Caroli D.* Bolshevism, Stalinism, and Social Welfare. P. 46.

[Вернуться](#)

613

Ibid. P. 29, 48.

[Вернуться](#)

614

Ibid. P. 47; *Yarskaia-Smirnova E., Romanov P.* The Rhetoric and Practice of Modernization. P. 6.

[Вернуться](#)

615

Caroli D. Bolshevism, Stalinism, and Social Welfare. P. 39

[Вернуться](#)

616

Декрет от 28 апреля 1919 // Декреты советской власти. Т. 5. М.: Издательство политической литературы, 1957. С. 118–122.

[Вернуться](#)

617

Информация И. А. Наговицина Секретарю Ленинградского Губкома партии Н. К. Антипову 6 августа 1927 // ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д.

8485. Л. 164–165 об.

[Вернуться](#)

618

Примерный устав сельскохозяйственной артели 1935 г.: URL:
[http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=5994#06232406073827881)
[req=doc&base=ESU&n=5994#06232406073827881](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=5994#06232406073827881).

[Вернуться](#)

619

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 806–807.

[Вернуться](#)

620

Фонды комитетов взаимопомощи (ККОВ) составлялись из
отчислений колхоза и индивидуальных взносов.

[Вернуться](#)

621

Правда. 1936. 14 июня.

[Вернуться](#)

622

Там же. 3 июля.

[Вернуться](#)

623

HPSSS. Schedule A. Vol. 9. Case 111. P. 2.

[Вернуться](#)

624

Трагедия советской деревни. Т. 4. С. 839–840.

[Вернуться](#)

625

Трагедия советской деревни. Т. 1. С. 124–125, 131, 134; *Великанова О.* Разочарованные мечтатели. С. 207.

[Вернуться](#)

626

Правда. 1927. 16, 18, 19 октября; 3, 5 ноября.

[Вернуться](#)

627

Письмо И. А. Тюшина, Ярославская область // РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 232. Л. 79; Общество и власть. 1930-е годы. С. 149.

[Вернуться](#)

628

РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 232. Л. 80; Общество и власть. 1930-е годы. С. 134.

[Вернуться](#)

629

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 232. Л. 74.

[Вернуться](#)

630

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 130, 151.

[Вернуться](#)

631

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 4. С. 356–357.

[Вернуться](#)

632

Tikhomirov A. The Regime of Forced Trust: Making and Breaking Emotional Bonds between People and State in Soviet Russia, 1917–1941 // The Slavonic and East European Review. 2013. № 91 (1). P. 84, 86.

[Вернуться](#)

633

Gorshkov M. K. The Sociological Measurement of the Russian Mentality // Russian Social Science Review. 2010. № 51 (2). P. 44–51.

[Вернуться](#)

634

Великанова О. Разочарованные мечтатели. С. 216.

[Вернуться](#)

635

Getty A., Naumov O. V. The Road to Terror. P. 215.

[Вернуться](#)

636

Донесение американской разведки от 31 октября 1939 // U. S. Military Intelligence Reports: Soviet Union, 1919–1941. Reel RX.

[Вернуться](#)

637

Velikanova O. Popular Perceptions of Soviet Politics in the 1920s. P. 93.

[Вернуться](#)

638

Gozman L., Etkind A. The Psychology of Post-Totalitarianism in Russia. P. 17.

[Вернуться](#)

639

Yekelchik S. Stalin's Citizens. P. 33.

[Вернуться](#)

640

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2664. Л. 2, 7, 207–209, 217.

[Вернуться](#)

641

Hosking G. Trust and Distrust in the USSR: An Overview // *The Slavonic and East European Review*. 2013. № 91 (1). P. 1–25.

[Вернуться](#)

642

U. S. Military Intelligence Reports: Soviet Union, 1919–1941. Reel X, Report 2115–3020.

[Вернуться](#)

643

Hagen M. von. Soviet Soldiers and Officers on the Eve of the German Invasion: Toward a Description of Social Psychology and Political Attitudes // *The People's War: Responses to World War II in the Soviet Union* / Ed. by R. W. Thurston and B. Bonwetsch. Urbana: University of Illinois Press, 2000. P. 189–197.

[Вернуться](#)

644

Пришвин М. Дневник. 1936–1937. С. 762.

[Вернуться](#)

645

Getty A., Naumov O. V. The Road to Terror. P. 217.

[Вернуться](#)

646

Lukin A. The Political Culture of the Russian 'Democrats'. P. 137.

[Вернуться](#)

647

Almond G. A., Verba S. Civic Culture. P. 366.

[Вернуться](#)

648

Sztompka P. Trust, Distrust and the Paradox of Democracy. Berlin: WZB, 1997.

[Вернуться](#)

649

Tikhomirov A. The Regime of Forced Trust.

[Вернуться](#)

650

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2664. Л. 2, 200, 202, 207, 217;
Brandenberger D. Propaganda State in Crisis. P. 184–188, 192.

[Вернуться](#)

651

HPSSS. Schedule A. Case 433. P. 50; Vol. 12. Case 149; *Шапорина Л.*
Дневник. Т. 1. С. 219.

[Вернуться](#)

652

HPSSS. Schedule A. Vol. 28. Case 540. P. 45.

[Вернуться](#)

653

Dzeniskevich A. R. The Social and Political Situation in Leningrad in the First Months of the German Invasion: The Social Psychology of the Workers // *The People's War: Responses to World War II in the Soviet Union* / Ed. by R. W. Thurston and B. Bonwetsch. Urbana: University of Illinois Press, 2000. P. 79–80.

[Вернуться](#)

654

Мой отец Валентин Сергеевич Великанов (1922–1987) был бойцом ленинградского народного ополчения.

[Вернуться](#)

655

Velikanova O. The Myth of the Besieged Fortress: Soviet Mass Perception in the 1920s–1930s // Working paper Stalin-Era Research and Archives Project. Toronto: CREES, 2002. № 7. P. 4.

[Вернуться](#)

656

Донесения военного атташе американского посольства в Москве 14 декабря 1937. Reynolds 1984. Reel RX. Report 1077.

[Вернуться](#)

657

Bullard R. W. Inside Stalin's Russia. P. 88; *Шапорина Л.* Дневник. Т. 1. С. 129.

[Вернуться](#)

658

Донесение 24 ноября 1936 г. // British F. O. 371. 1936. Vol. 20351. P. 117.

[Вернуться](#)

659

Wimberg E. Socialism, Democratism and Criticism: The Soviet Press and the National Discussion of the 1936 Draft Constitution // Soviet Studies. 1992. № 44 (2). P. 313–332.

[Вернуться](#)

660

Узник Лубянки. Тюремные рукописи Николая Бухарина. Сб. документов / Введение Ст. Коэна; под ред. Г. Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2008. С. 19. В августе на него обрушились волны партийных обвинений и критики.

[Вернуться](#)

661

Статья 77, получившая 630 комментариев.

[Вернуться](#)

662

Правда. 1936. 6 декабря.

[Вернуться](#)

663

Getty J. A. Pre-election Fever. P. 224; Хлевнюк О. Хозяин. С. 300; Максименков Л. Резолюция как система // Kommersant.ru. 2017. 03.07. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3336286?from=doc_vrez.

[Вернуться](#)

664

Хлевнюк О. Хозяин. С. 320.

[Вернуться](#)

665

Среди многих сообщений, в октябре 1936 года Северо-Кавказское УНКВД предоставило информацию о протестах, вдохновленных конституцией и направленных против колхозов, несправедливых налогов, требований открытия церквей, социальных льгот, а также призывов «изучать конституцию и готовиться к выборам» для сокрушения большевиков. См.: Лубянка: Сталин и ВЧК-ГПУ-ВГПУ-НКВД. С. 773–776.

[Вернуться](#)

666

Февральско-мартовский Пленум 1937. 23 февраля 1937 // Вопросы истории. 1992. № 4–5. С. 33–34.

[Вернуться](#)

667

Правда. 1937. 29 марта.

[Вернуться](#)

668

Правда. 1937. 2 января.

[Вернуться](#)

669

Merridale C. The 1937 Census and the Limits of Stalinist Rule // The Historical Journal. 1996. № 39 (1). P. 226, 232.

[Вернуться](#)

670

Schloegel K. Moscow 1937. P. 118–119.

[Вернуться](#)

671

Лубянка: Сталин и Главное Управление Госбезопасности НКВД. С. 96, 104, 108.

[Вернуться](#)

672

ВКП(б) насчитывала около 2 миллионов активных членов.

[Вернуться](#)

673

Kotkin S. Stalin: Waiting for Hitler, 1929–1941. New York: Penguin Press, 2017. P. 383, 391. Коткин цитирует РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 71. Д. 43, 44, 45, 46.

[Вернуться](#)

674

Kotkin S. Stalin. P. 433; Хлевнюк О. Хозяин. С. 307.

[Вернуться](#)

675

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 281.

[Вернуться](#)

676

Getty J. A. Pre-election Fever. P. 234.

[Вернуться](#)

677

Меерович М. Наказание жилищем. С. 208. Brandenberger D. Propaganda State in Crisis. P. 197.

[Вернуться](#)

678

Великанова О. Разочарованные мечтатели. С. 200–203.

[Вернуться](#)

679

Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. P. 118.

[Вернуться](#)

680

Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 162–163.

[Вернуться](#)

681

Дневник Н. В. Устрялова. 25 ноября 1936 года.

[Вернуться](#)

682

Smith G. S. D. S. Mirsky: A Russian-English Life, 1890–1939. Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 286.

[Вернуться](#)

683

Inkeles A. Public Opinion in Soviet Russia: A Study in Mass Persuasion. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950. P. 247, 250–251.

[Вернуться](#)

684

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 5. Д. 3195. Л. 19.

[Вернуться](#)

685

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 5. Д. 3195. Л. 18–26.

[Вернуться](#)

686

Там же. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 79; Дневник А. Аржиловского. 10 февраля 1937 года.

[Вернуться](#)

687

Slapentokh V. Soviet Public Opinion and Ideology: The Interaction between Mythology and Pragmatism. New York: Praeger, 1986.

[Вернуться](#)

688

Zorkaia N. 'Nostalgia for the Past'. P. 6; *Gorshkov M. K.* The Sociological Measurement of the Russian Mentality. P. 32, 34.

[Вернуться](#)

689

Velikanova O. Popular Perceptions of Soviet Politics in the 1920s. P. 159.

[Вернуться](#)

690

Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 381.

[Вернуться](#)

691

Орлов И. Б., Долгова Е. О. Политическая культура россиян в XX веке. С. 208–210.

[Вернуться](#)

692

DiFranceisco W., Gitelman Z. Soviet Political Culture and 'Covert Participation'. P. 603; *Fitzpatrick Sh.* Popular Opinion under Communist Regimes. P. 378.

[Вернуться](#)

693

Gorshkov M. K. The Sociological Measurement of the Russian Mentality. P. 44, 49.

[Вернуться](#)

694

Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 301, 397.

[Вернуться](#)

695

Zubkova E. Russia after the War: Hopes, Illusions, and Disappointments, 1945–1957. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1998. P. 25, 75, 107, 141, 204.

[Вернуться](#)

696

Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 307.

[Вернуться](#)

697

Zubkova E. Russia after the War. P. 76, 106.

[Вернуться](#)

698

Politics, Work and Daily Life in the USSR.

[Вернуться](#)

699

Dubin B. The Worth of Life and the Limits of Law. P. 82.

[Вернуться](#)

700

Туровская Майя: «Россия любит силу, это компенсация всех унижений».Интервью Д. Быкову // Новая Газета. 2018. 08 октября.
URL: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/08/78124-mayya-turovskaya-eto-ne-rossiya-putinskaya-eto-putin-rossiyskiy>.

[Вернуться](#)

701

Zubkova E. Russia after the War. P. 86; *Johnston T.* Identity, Rumour, and Everyday Life under Stalin, 1939–1953. New York: Oxford University Press, 2011. P. 160–165; *Inkeles A., Bauer R.* The Soviet Citizen. P. 382.

[Вернуться](#)

702

Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 248, 461.

[Вернуться](#)

703

Gibson J. L., Duch R. M. Emerging Democratic Values in Soviet Political Culture. P. 87–88.

[Вернуться](#)

704

Politics, Work and Daily Life in the USSR. P. 105; *Gorshkov M. K.* The Sociological Measurement of the Russian Mentality. P. 46; *Dubin B.* The Worth of Life and the Limits of Law. P. 74; *Орлов И.Б., Долгова Е. О.* Политическая культура россиян в XX веке. С. 209: «Престиж государства в массовом сознании оказался достаточно высоким (почти 70 % опрошенных)», – отмечают Орлов и Долгова.

[Вернуться](#)

705

Советский простой человек / Под ред. Ю. А. Левада. М.: Мировой Океан, 1993. С. 280–281.

[Вернуться](#)

706

Lukin A. The Political Culture of the Russian ‘Democrats’. P. 274, 277, 298.

[Вернуться](#)

707

Velikanova O. Popular Perceptions of Soviet Politics in the 1920s. P. 117.

[Вернуться](#)

708

Inkeles A. Bauer R. The Soviet Citizen. P. 382; *Johnston T.* Identity, Rumour, and Everyday Life under Stalin. P. 160–165; *Velikanova O.* The Myth of the Besieged Fortress. P. 11–19.

[Вернуться](#)

709

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 5. Д. 180. Л. 134; Д. 74. Л. 75; Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2704. Л. 120; Д. 2487. Л. 58; Д. 2486. Л. 182; Д. 1772. Л. 265; *Barber J.* Popular Reactions in Moscow to the German Invasion of June 22, 1941 // *Soviet Union/Union Sovietique*. 1991. № 18 (1–3). P. 10–11.

[Вернуться](#)

710

Velikanova O. Popular Perceptions of Soviet Politics in the 1920s. P. 129–136.

[Вернуться](#)

711

Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 433; *Yekelchik S.* Stalin's Citizens. Гл. 1.

[Вернуться](#)

712

Dubin B. The Worth of Life and the Limits of Law. P. 80, 85; Gallup Organization International Opinion Poll. 2000. Gallup. URL: <http://www.gallup.com/poll/1606/death-penalty.aspx>.

[Вернуться](#)

713

Барышников В. Похвала злу. Интервью О. Седаковой // Радио Свобода. 2017. 6 января. URL: <https://www.svoboda.org/a/28209420.html>. Писатель Д. Быков также считает, что в сегодняшней России нет запроса на свободу: «...Те люди, которые сегодня общественно активны... они преимущественно хотят ужесточения, а не свободы»: *Быков Д.* Один: авторская передача // Эхо Москвы. 2020. 28 мая. URL: <https://echo.msk.ru/programs/odin/2650005-echo/>.

[Вернуться](#)

714

Писатель Пришвин считал дискуссию своего рода тестом на советскость, после которого свобода будет предоставлена населению: *Пришвин М. Дневники, 1936–1937. С. 298, 382.*

[Вернуться](#)

715

Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades. P. 200.

[Вернуться](#)

716

Schloegel K. Moscow, 1937. P. 51, 53, 118–119.

[Вернуться](#)

717

Goldman W. Z. Terror and Democracy. P. 7.

[Вернуться](#)

718

Mironov B. Peasant Popular Culture...; Kollman N. S. Muscovite Political Culture // A Companion to Russian History / Ed. by A. Gleason. Chichester, UK: Wiley-Blackwell. 2009. P. 99; Daniels R. V. Russian Political Culture and the Post-Revolutionary Impasse // The Russian Review. 1987. № 46 (2). P. 165–175.

[Вернуться](#)

719

Медушевский А. Н. Сталинизм как модель социального конституирования. С. 6–7.

[Вернуться](#)

720

Zakaria F. The Future of Freedom. P. 61–62.

[Вернуться](#)

721

Lovell S. The Russian Reading Revolution: Print Culture in the Soviet and Post-Soviet Eras. London: Palgrave Macmillan, 2000. P. 13.

[Вернуться](#)

722

Sakwa R. Russian Politics and Society. 191, 344; *Almond G. A., Verba S.* The Civic Culture. P. 373.

[Вернуться](#)

723

Smith S. A. Revolution and the People in Russia and China. P. 235; *Inkeles A., Smith D. H.* Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.

[Вернуться](#)

724

Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. P. 420.

[Вернуться](#)

725

Almond G. A., Verba S. The Civic Culture. P. 368–370.

[Вернуться](#)